

Библиотека серии

❖ **Повседневная жизнь** ❖
петербургской сыскной полиции

**НЕПАРАДНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ**

**в очерках
дореволюционных
писателей**

Составление и комментарий:

**Валерий Введенский,
Иван Погонин, Николай Свечин**

Том 3



Николай Свечин
Повседневная жизнь петербургской
сыскной полиции. Том 3

Предисловие

Этот сборник – для тех, кто хочет оказаться «на дне» дореволюционного Петербурга: «похристрадничать» в рубище нищего, покопаться крюком в помойных ямах, прокатиться на козлах извозчиком, подкрепиться в Обжорном ряду, по пьянствовать в трактире, заночевать в ночлежном доме, попасться полицейским во время облавы и после заключения в съезжем доме отправиться этапом на родину.

В первом томе «Повседневной жизни» петербургскому «дну» – мазурикам, ворам, нищим и т. д. – посвящена глава «География зла». Но из-за ограничений по объему книги мы были вынуждены опускать многие известные нам сведения, которые, мы уверены, интересны нашим читателям. Поэтому и собрали этот небольшой сборник. Как и в предыдущих томах, мы попытались, насколько возможно, снабдить текст культурологическими и топонимическими комментариями.

Коротко об авторах произведений, включенных в сборник:

Николай Николаевич Животов (19 (31) августа 1858 года — 26 июня (08 июля) 1900 года). Происходил из дворян. В 1877 году сдал экзамен на звание учителя начальных училищ. С начала 80-х годов начал работать в петербургских газетах, считался одним из самых умелых репортеров столицы. Некоторые его очерки, в том числе публикуемые здесь «Петербургские профили», после публикации в газетах выходили отдельными изданиями. В 90-х годах Н.Н.Животов, кроме репортажей, писал также криминальные романы. Похоронен на Смоленском кладбище Петербурга;

Николай Платонович Карабчевский (29 ноября (11 декабря) 1851 года – 22 ноября 1925 года). Сын полкового командира. В 1868 году окончил Николаевскую реальную гимназию, в 1875 году – юридический факультет Санкт-Петербургского университета. С 1879 года служил присяжным поверенным. Был защитником обвиняемых в самых громких дореволюционных судебных делах: «процессе 193-х»; «деле И.И. Мироновича»; «деле Ольги Палем»; «деле мултянских вотяков»; «деле М.Бейлиса». Кроме публицистических и юридических

статей, сочинял и беллетристику. После 1917 года жил в эмиграции. Умер и похоронен в Риме;

Николай Иванович Свешников (16 (28) августа 1839 года – 25 июня (7 июля) 1899 года). Сын мещанина, торговца холстом. Окончил приходское и уездное училища в городе Углич. В 1852 году был отправлен отцом в Петербург, где сперва служил «мальчиком» в свечной лавке, трактире и булочной, затем сторожем в балагане, печником и т. д. С 1859 года торговал книгами в разнос. Из-за пристрастия к алкоголю, постепенно «опустился». В 1870 году за кражу со взломом был приговорен к заключению в работном доме, где начал писать воспоминания. В 1899 году их фрагмент под своим именем опубликовал Н.С.Лесков (очерк «Спиридоны-повороты»). В 1896 году книга Свешникова «Воспоминания пропадающего человека» уже под именем автора была напечатана полностью в журнале «Исторический вестник». После смерти Н.И. Свешникова отдельным изданием вышел сборник его очерков «Вяземские трущобы», которые размещен в данном издании;

Анатолий Александрович Бахтиаров (3 (15) июля 1851 года – 23 ноября (16 декабря) (или 21 сентября ([4 октября](#))) 1916 года). Сын чиновника. Окончил Московскую учительскую семинарию военного ведомства. Сужил преподавателем русского языка в Петербургской военно-фельдшерской школе. С 1884 года параллельно стал писать статьи для газет и журналов. Затем его репортажные очерки по физиологии Петербурга были изданы в сборниках: «Брюхо Петербурга» (1887 год), «Пролетариат и уличные типы» (1895 год), «Отпетые люди» (1903 год) и др.;

Всеволод Владимирович Крестовский (11 (23) февраля [1839](#) года — 18 (30) января [1895](#) года). Дворянин польского происхождения. Учился в 1-ой Санкт-Петербургской гимназии и на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Литературную славу Крестовскому принес его дебютный роман «Петербургские трущобы». В жанре физиологического очерка написал три книги: «Петербургские типы», «Петербургские золотопромышленники», «Фотографические карточки петербургской жизни» (1865). Могила В.В. Крестовского ныне находится на Литературных мостках Волковского кладбища.

Основные источники, использованные составителями для комментариев:

- Адресные книги города С. – Петербурга под редакцией П.О. Яблонского» (1892–1902 гг.);
- Адресные и справочные книги «Весь Петербург – Весь Петроград» (1894–1917);
- Большая Топонимическая Энциклопедия Санкт-Петербурга: 15000 городских имен / [под ред. А.Г. Владимировича]. – Санкт-Петербург: ЛИК, 2013;
- Алянский Ю.Л. Увеселительные заведения старого Петербурга / Юрий Алянский. – СПб.: Аврора: Стройиздат СПб., 2003;
- Демиденко Ю. Б. Рестораны, трактиры, чайные..: из истории общественного питания в Петербурге XVIII – начала XX века / Юлия Демиденко. – Москва: Центрполиграф: Санкт-Петербург: Русская тройка-СПб, 2011;
- Векслер А. Ф., Крашенинникова Т. Я. Такая удивительная Лиговка / Аркадий Векслер, Тамара Крашенинникова. – Изд. 2-е, дораб. и доп. – Москва: Центрполиграф; Санкт-Петербург: Русская тройка-СПб, 2012;
- Город С.-Петербург с точки зрения медицинской полиции: Сост. по распоряжению г. С.-Петерб. градонач. ген. – майора Н.В. Клейгельса врачами Петерб. столич. полиции при участии и под ред. ст. врача И. Еремеева. 1897 г. – Санкт-Петербург: тип. Ломковского, 1897;

Николай Николаевич Животов
«Петербургские профили»^[1]

1. Среди бродяжек – шесть дней в роли оборванца

1

Я достал старые дырявые тиковые^[2] шаровары, такую же рубашку, весь в дырах засаленный сюртучишко, опорки^[3] без подошв, портянки... В таком наряде, подмазав физиономию и надвинув ветхий картуз с разъехавшимся козырьком на глаза, вышел из своей квартиры по чёрной лестнице...

Мне предстояло ознакомиться с закулисной внутренней стороной жизни бродяжек, число которых определяется в Петербурге тысячами. В одну ночь нас, оборванцев, полиция забрала при обходе ночлежных домов более тысячи человек. Я в число арестованных не попал, во-первых, потому что у меня "безупречный" паспорт находился при себе, а во-вторых, чиновник сыскной полиции, руководивший обходом, знал меня лично... Впрочем, этих наблюдений за шестидневное скитание по притонам и трущобам подпольного Петербурга у меня накопилось довольно. Я почти не касался внешности притонов, с такой полнотой описанных до меня, не касался и грязи, вони трущоб, составляющей заботу санитарных комиссий... Меня исключительно интересовала *жизнь* бродяжек, их быт, прошлое, настоящее и будущее.

Ведь каждый бродяжка – человек не из глины и песочка, а из тела и души, как все мы с вами, читатель. Скажу более. Большинство из нас, ожиревших, равнодушных ко всему, кроме собственной утробы, представляют серую картину будничного прозябания: вчера как сегодня, завтра как вчера и так вся жизнь от купели до гроба. Между тем, среди бродяжек, что ни субъект, то драма, трагедия или, по меньшей мере, ряды поучительных злоключений, о которых можно сказать, что это было бы смешно, если бы не было грустно!

Что вы скажете, например, о чиновнике, дошедшим до большого чина и служебного положения, который такой же бродяжка как и я, обнял меня и со слезами расцеловал за... за... один стаканчик водки! Эти дрожащие, чёрные от грязи руки, когда-то писали предписания и

распоряжения, а теперь протягиваются только за копейкой и за стаканчиком... Неужели это не драма? Разве не интересно проследить, как этот субъект совершил своё превращение, к ужасу всех своих близких? А вот купец-гостинодворец, имевший свои кладовые, лавки и дома... Он дрожит, не попадая зуб на зуб, от холода, а сквозь дырья одежды просвечивает старческое тело...А сколько таких «перекувырнувшихся» богачей, когда-то спаивавших целые орды прихлебателей в «Зимних садах»^[4], «Палекристаллах»^[5] и других веселых уголках... Если бы тогда им показать их теперешнюю фотографию?

Да, среди бродяжек много **жизни** гораздо более интересной, чем мы видим на театральной сцене, в гостиных знакомых, в салонах, клубах и собраниях! И эта жизнь стоит наблюдения, но наблюдения не в монокль или с высоты бельэтажа. Так вы ничего не увидите, и ни один бродяжка не станет с вами говорить! У каждого из них есть свое самолюбие, кладущее холодную печать равнодушия, когда он встречается с «господином»...Вот почему только в роли оборванца можно сойтись с бродяжками как с людьми и увидеть близко их **жизнь**. Бывший начальник сыскной полиции И.Д. Путилин отлично знал эту особенность быта бродяжек и потому, когда он хотел что-либо узнать, его чиновники переряжались в арестантов и «подсаживались» к бродяжкам; результаты всегда получались удовлетворительные. А на официальном допросе этот бродяжка был только «арестант за номером таким-то», с лаконичными ответами на вопросном листе.

2

Было холодное осеннее утро, когда я вышел из дома в своем новом наряде.

– Но где можно достать прямо рваный наряд? – спросит читатель.

Бродяжки имеют всё свое собственное: поставщиков, биржи, рестораны, отели, клубы и все прочее. Есть специальные лавочки и маклаки, которые переодевают бродяжек. Например, бродяжка куда-нибудь отправился: оделся более или менее прилично, но ему хочется выпить, а выпить не на что... Он идет к маклаку. Здесь с него снимают костюм, одевают лохмотья и разницу выдают наличными деньгами, на

которые он может хорошо выпить. А костюм? На что бродяжке костюм? Он и голым вышел бы, если бы не забирали нагих в полицию. Ему решительно всё равно, в чем он одет, если только на дворе не лютая стужа, а в кармане есть один или два пятака на выпивку. Вот последнее обстоятельство нередко доводит бродяжку до преступления, не исключая грабежа, потому что честным трудом достать гривенник бродяжке почти невозможно: на место служить его не возьмут; в поденщину его бракуют как слабосильного; рабочих домов у нас нет; нищенство запрещено... А голод ведь не тетка, особенно если душа требует стаканчика. Требуется так сильно, что подвернись случай – бродяжка мог бы совершить геройский подвиг; но подвертывается чаще всего случай стянуть что-нибудь, не исключая дубинки у приятеля...

Десятки раз я наблюдал воспаленные глаза бродяжки, трясущиеся руки, стучащие зубы и губы, шепчущие мольбы... Он бросается, мечется по сторонам, лихорадочно хватается за окружающее, забывает все на свете и готов идти на каторгу за стаканчик в эту минуту. Скажите ему: «на, выпей», и он заплачет от радости, бросится вам в ноги и исполнит всякое ваше приказание. Зато, если надежда на стаканчик исчезает и «душа» не удовлетворена, он становится страшным! В такие минуты он способен на всё, и, мне кажется, большинство преступлений совершается именно при таком состоянии. Все лицо бродяжки искривляется, кулаки сжимаются, глаза застывают в состоянии не то гнева, не то ужаса... Смотреть в такие глаза жутко.

Попробовал и я однажды пригубить предмет страсти бродяжки, то есть стаканчик в питейном доме на углу Лиговки и Обводного канала^[6]! Боже правый! Что за водка? Это какая-то отравка, дурман, нечто совсем невозможное! Очень вероятно, что питейные дома просто отравляют своих посетителей, медленно приучая их к отраве, как приучают себя морфинисты? Это положительно **не водка**.

Первый день своего интервью я посвятил Обводному каналу с его чайными, кабаками, ночлежными приютами. Второй день – Лиговка, ночлежный дом Общества благотворителей и чайная Общества трезвости^[7]. Третий день – Сенная, Таиров^[8] переулок, Никольская площадь. Четвертый день – Выборгская сторона и Петербургская. Пятый – застава, и шестой – гавань с «Дерябинскими казармами». Я приобрел до ста «друзей» среди бродяжек, записал более двухсот

бытовых историй, осмотрел несколько сот трущобных заведений! Никогда я не думал, что размеры бродяжного Петербурга так велики, что так много людей, живущих без пристанища, в рубище.

Разве этот мир не заслуживает нашего внимания, не стоит описания и не представляет бытового интереса?

3

В первый день моего «интервью в роли «оборванца» я больше всего страдал от холода... Буквально зуб на зуб не попадал, а согреться рюмкой водки я не мог: в кабаке водку пить невозможно – это, как я сказал, отравы, мутящая душу и дурманящая голову, а в сносный трактир меня не пускают. И странное это обращение! Прямо за плечи и в шею! В самом деле, почему же с бродяжкой нельзя иначе разговаривать, как по шее? Только приоткрыл я дверь и вошел в полугрязный трактир на Обводном, как «услужаящий» бежит навстречу, берет за плечо и толкает обратно в дверь... Я открыл рот для протеста и... бежит другой «услужаящий»... Готовилась формальная выставка и пришлось от греха уходить...

Очень странное чувство испытываешь, когда идешь бродяжкой по улице... Вот уж воистину по костюму встречают! Городовой зорким взглядом осматривает с головы до ног и провожает долгим взглядом, раздумывая: «взять его или не стоит?» За что взять? Вот ещё вопрос! Мало ли за что бродяжку можно взять? Он, наверное, что-то сотворил, а если не сотворил, наверное, сотворит... Уже одно то, что бродяжка – говорит за нелегальное его существование в столице.

Но ещё более тяжелое чувство вызвали встречи с «господами»... Какой-то барин в цилиндре окинул меня презрительно гневным взглядом и обозвал «дрянью», хотя я ровно никому ничего не сделал и каждому смиренно спешил дать дорогу. Каждая встречная дама испуганно от меня сторонилась и крепко прижимала к себе свою ридикюль, точно я собирался броситься на неё грабить! Неужели в самом деле довольно выйти в оборванном костюме, чтобы от тебя как от чумы или прокаженного все бегали? Неужели все бедняки непременно воры, грабители, убийцы?

С такими мыслями дошел я до скрещения Лиговки с Обводным каналом, где Лиговка перестает носить честное название улицы-бульвара^[9] и превращается в вонючий канал... Тут я вздохнул свободнее, почувствовал себя как рыба в воде... Тут не встретишь ни важного барина, ни благотельного купца 1-й гильдии, ни шикарной дамы, слабые нервы которой не переваривают бродяжек... Тут *наш* квартал, квартал оборванцев, пропойцев и бесприютных бродяжек. Мы встречаемся тут друг с другом без антагонизма. Я не только перестал сторониться, но не боялся даже заговорить со встречающимися, тогда как заговори я с «барином» на Невском, он, наверное, отправил бы меня в участок за покушение на грабеж, а «барыня», если бы не упала в обморок, то заорала бы на всю улицу: «Караул!»

Впрочем, самый отвратительный для нас, бродяжек, народ – это «рвань-баре», как мы зовем швейцаров, дворников, лакеев. Это положительные гроза и мучители бедняков, перед которыми они считают себя важными особами! Я, например, за шесть дней не слышал ни одного бранного слова от городских (мимо них я всегда семенил мелкой рысью; с одной стороны это почтительно, с другой стороны – ускорительно, то есть, скорее минует опасность), не имел ни одной неприятности или столкновения с прохожей публикой, а швейцары, дворники и лакеи не пропускали меня без глумлений, издевательства и чуть ли не побоев, решительно без малейшего с моей стороны повода! Например, такие случаи. Иду я по Загородному около Подольской... Дворник стоит в тулупе с бляхой на груди и руки в кармане. Я дрожу, не попадая зуб на зуб...

– Стой- с...! – раздается команда.

Я не обращаю внимания и продолжаю идти.

– Ты не слышишь? – кричит дворник.

Я обернулся и посмотрел на «собаку» (так у нас зовут дворников).

– Ты куда пошел? – обращается дворник, поднося грязный кулак к самой моей физиономии.

Я не знал, что ответить, не желая заводить скандала; если бы я вломился в амбицию, то раньше, чем моё инкогнито было бы раскрыто, я рисковал потерять несколько ребер...

– Я тебя...

И опять непечатная ругань. Я всё молчу и именно поэтому «собака» утихла....

– Пошел назад! – сказал он мягче и отвернулся.

Я вернулся.

В другой раз я шел по Разъезжей. Жирный с наглой физиономией швейцар схватил меня за рукав, и без того рваного сюртучишка; добрая половина рукава осталась у него в руках. Раздался веселый смех... Швейцар бросил в меня лоскутом, и, гогоча, проговорил:

– Эй, ты, бархатный барин, давно ли с Казачьего плаца^[10]?

Я не стал, разумеется, защищать свои права, и продолжил путь...

По Невскому проспекту, Морской улице и другим людным местам дворники не только ворчали меня с криком: «Вон, рвань!», но нередко «травили», то есть гнали с кулаками, заставляя бежать от греха.

В *нашем* квартале нет дворников и швейцаров: последние совсем отсутствуют, а первые относятся к нам, как к местным обывателям, довольно снисходительно. Здесь, после путешествий по Загородному и Разъезжей, мне даже вонь Лиговки мила, а грязь улиц и дворов показалась чем-то родным. На откосе Обводного канала лежало человек 15 бродяжек и я направился к ним. Внизу по обмелевшему каналу двигалась барка, копошились рабочие, бабы полоскали белье, свесившись над водой, а на высоком зеленом берегу лежали бродяжки.

Все они лежали на спине, с плохо прикрытой наготой и подложив под головы руки. Среди них было три женщины и десять мужчин. Когда я стал приближаться, некоторые повернули головы, но сейчас же, приняв прежние позы, не обращали больше на меня внимания. «Нет», – услышал я короткое замечание и больше ни звука. Прежде чем приблизиться к компании, я осмотрел их издали. Среди мужчин было большинство бородатых, заросших волосами и грязью стариков, но два-три совсем молодые парни. Женщин с трудом можно было отличить от мужчин только вблизи. Это какая-то пародия на женщин: сухие, беззубые, с корявыми лицами, в коротких рваных юбках на голом теле...

Минут пять я простоял, не будучи в состоянии дать себе отчета в мыслях. Отвращение, жалость, брезгливость и холод все вместе заставляло меня дрожать и у меня появилась мысль бежать, снять с себя «мундир» и отказаться совсем от «интервью». Что это: малодушие, трусость или просто нервное состояние? Однако «взялся за гуж – не говори, что не дюж!» Я сделал над собой усилие и подошел совсем близко к компании. В одном кармане у меня была запасенная

бутылка столовой водки, а в другом хлеб и колбаса. Я сел рядом с компанией и, доставая провизию, сказал громко:

– Не хотите ли, братцы, могу поделиться?

Если бы в эту минуту там, внизу, перевернулось бы вверх дном несколько барок, впечатление, наверное, не было бы сильнее. Все бродяжки, мужчины и женщины, вскочили с травы и мигом меня окружили.

– Э...э... да у него «поповка»^[11], – закричал старик, – ты это из каких же, милый человек, что «поповку» пьешь?

– Это у него бутылка только «поповская», – заметил другой, – смотри, не вода ли там?

– Ну, соси^[12] сам сначала и передай нам, – скомандовал один из них.

Раньше я не мог рассмотреть его физиономии, а теперь он стоял к лицу передо мной. Я взглянул и...бутылка вывалилась у меня из рук. Этот бродяжка, этот несчастный оборванец – старый литератор, автор нескольких прекрасных идейных романов и недавно ещё газетный сотрудник. Я уставил на него глаза и не слышал хохота кругом.

– Ты ли это? – назвал я его по фамилии.

– Да, я, а ты откуда меня знаешь?

Через полчаса мы сидели с Иван Ивановичем (псевдоним) в одной из «рестораций» в деревянном домике с цветными ставнями, как в провинции. «Ресторация» состояла из буфетной комнаты и двух небольших каморок со столами без скатертей и табуретами; в одной из каморок полулежали на столе и спали двое бродяжек. Мы сели в смежной каморке и Иван Иванович заказал «двоим чаю на шесть копеек». Впрочем, в чашки мы налили вместо чая моей водочки и, «пропустив», закусили колбаской. Вид моего собеседника сразу принял радужное выражение, глаза сделались масляными, губы сложились как-то умильно, голова склонилась немного на сторону и он тихо начал:

– Да, вот где нам довелось встретиться! Ну, я-то пьяница запоем, забулдыга, одинокий, а ты, ты-то как дошел до этого вида? Ведь у тебя семья была!

Я рассмеялся и успокоил его на свой счет.

– Нехорошо! Зачем издеваться над нашим несчастьем?

– Да кто же тебе говорит, что я издеваюсь? Вовсе нет! Напротив! Я хочу испытать на себе ваше положение и рассказать в печати свои

впечатления, чтобы установить правильный взгляд на вас, бродяжек. Публика считает вас мазуриками, мошенниками, тогда как вы в большинстве случаев глубоко несчастные люди и только! Ты вот сам пишешь, а рассказать свое положение не можешь, потому что сжился с ним, не замечаешь его; все равно, как мы, петербуржцы, живя здесь, не замечаем красот города, а придет провинциал и сейчас все осмотрит, восторгается. Если же я пошел бы в своем костюме, я ничего не увидел бы и не услышал... Вот чем объясняется мой маскарад! Неужели ты думаешь, что мне очень приятно переживать эти дни?

– Ну, Бог тебе судья! А я вот шестой год наслаждаюсь прелестями Обводного канала и ночлежным домом Кобызева^[13]...

– Ты, я думаю, можешь быть моим проводником по трущобам?

– О, нет! За шесть лет я не был нигде, кроме здешних трущоб. Даже в Вяземской лавре^[14] не был, а про острова и заставы даже не слышал ничего...

– Постой, что же ты, однако, делаешь, чем питаешься?

– Как тебе сказать... Птица небесная... В прошлом году напечатал рассказ в ... Получил 120 рублей и в неделю их спустил, долги заплатил; весной тут на барке работал, дрова катал, но большей частью ничего не делаю и живу надеждой...

– На что?

– Напиться. Другой цели у меня нет. Сегодня я напьюсь?

– Пей, что ж, я могу поделиться...

Пока мы говорили, Иван Иванович успел четыре раза подлить себе в чашку и бутылка почти осушилась... Он проделывал это так искусно, что я ни разу не заметил его маневра...

– У меня, брат, чистота в карманах, да и бутылочка того...

Я достал рублевую бумажку, и Иван Иванович шмыгнул как на крыльях из «ресторации»... Через минуту он вернулся ликующий...

– Я полштофа^[15] взял, прости, ведь и ты выпьешь?

– Так рассказывай же ещё про себя.

– А ты написать не вздумай. Ещё чего доброго кому-нибудь до меня дело окажется, помогать вздумают; ради всего прошу – ни слова!

– Фамилии твоей я не напечатаю, а про встречу расскажу.

– Ну, это можешь. Пиши – Иван Иванович.

– Это твой псевдоним.

– Э... плевать. Мне теперь на всё плевать.

– Что же, тебе, пожалуй, можно позавидовать! Ты, как Диоген, не имеешь никаких привязанностей к жизни.

– И хорошо! А вы все зависите от других, от среды света, окружающих. Это тоже кабала! Ты ведь помнишь, отчего я первый раз запил? Умерла моя невеста. Мне тогда было 24 года. Вот когда я узнал, что значит страшная привязанность! Можно сказать, что с тех пор я не отрезвлялся, разве только по необходимости, когда не на что выпить. Но с годами это состояние прошло, и осталась одна страсть к водке.

– Видишь, как ты сам себе противоречишь: разве страсть к водке не та же привязанность, кабала, зависимость?

– Пожалуй, только у нас такое количество кабаков и водка так дешева, что зависимость от этой кабалы не страшна.

Иван Иванович стал заметно хмелеть, язык заплетался и через час он уснул на столе. Усилия растолкать его были тщетны, и мне пришлось уйти, не попрощавшись. Скорее на воздух! Мне становилось невыносимо душно в этой смрадной атмосфере в присутствии этого погибшего товарища.

В романах люди спиваются как-то скоро, а тут пятнадцать лет уже прошло и кто знает, сколько ещё лет впереди.

4

При выходе из «ресторации» я наткнулся на толпу бродяг, о чем-то шумно толковавших.

– Полковник, – кричали бродяжки, – давай две косушки^[16], ты сегодня католик!

«Полковник», «католик» – я ничего не понимал и остановился около толпы. «Полковник», детина лет сорока, среднего роста, плотный, с когда-то черной, но сильно поседевшей бородой клином; из-под рваного картуза выбивались пряди войлокоподобных волос; правильно-продолговатый нос и впалые карие глаза свидетельствовали о минувшей красоте «полковника».

– Товарищи, – закричал я, – хоть я и не «католик» на две косушки «настрелял»^[17].

– Волк его забодай, да ты «итальянку ломал»^[18] или «торгаш»^[19]? Все равно, ве́ди в «стойку»^[20]...

Мы направились в соседний питейный дом.

Описывать ли внутренности этого «дома», пропитанного сивушным запахом?^[21] Отмечу только, что при самом входе на дне опрокинутой бочки какой-то бродяжка писал письмо в деревню. Нас встретил «капитан», состоящий на посылках у целовальника и получающий за свои услуги иногда стаканчик. «Капитан» всех вошедших знал и только на меня покосился, а остальным приветливо махнул головой, приглашая к прилавку... Он увивался, очевидно, рассчитывая на стаканчик, и обиженно отошел в сторону, когда узнал, что угощает «новичок».

– Капитан, позвольте и вам поднести? – обратился я к нему.

Он не сразу согласился, боясь, вероятно, сделаться предметом шутки, но когда я сказал целовальнику^[22] налить восемь стаканов, он юркнул в толпу и первым протянул руку к прилавку.

Познакомлю вкратце читателей с биографиями «полковника» и «капитана». Это, конечно, их прозвища, они никогда не были в таких чинах, но оба они интеллигентного общества. «Полковник» – мелкий чиновник из ассессоров, а «капитан» был управляющим какой-то богатой дамы, получил гимназическое образование и жил когда-то на 300–400 рублей в месяц. Оба спились, потеряв места. Сначала они искали места, занятий, но потом примирились со своей участью и совершенно акклиматизировались в трущобах Обводного канала. «Полковник» получил свое прозвище за постоянное главенство и предводительство «католиками», то есть бродяжек, занимающихся катанием тачек с углём и дровами. «Капитана» прозвали так потому, что жил у вдовы капитана.

Один из нашей компании особенно привлёк моё внимание.

Это старик 80-ти лет, весь белый с пожелтевшей сединой и глубокими морщинами, избороздившими всё лицо. Длинная, прядями, такая же белая борода свешивалась до пояса. Из-под густых желтых бровей светились живые, как у юноши, глаза с огоньком, то ярко вспыхивавшим, то вдруг погасшим. Брови ходили поминутно вверх и вниз, как у орангутанга, с которым старик имел ещё большее сходство по выдающимся широким скулам и приплюснутому бесформенному носу. Он сильно горбился, ходил с палочкой, едва передвигая ноги, и

одет был в какой-то длинный балахон, совершенно истлевший и весь разодранный.

Старик, как я заметил, пользуется уважением среди бродяжек и прозывается «странник Чередеев». Чередеев его настоящая фамилия, когда-то купеческая; ему принадлежала лавка в Гостином дворе и кладовая в Апраксином рынке. Чередеев схоронил семью, состояние, друзей, знакомых и остался один-одинешенек на белом свете, найдя вторую семью среди бродяжек и сохранив железное здоровье, отличное зрение, память и аппетит. Питаясь в самых отвратительных харчевнях и ночуя в грязнейших постоялых дворах, он никогда ничем не хворал, не имел никаких болезней и благополучно пережил все эпидемии холеры, тифа, оспы и других зараз. Я познакомился и сошелся с Чередеевым почти на дружескую ногу. Ему понравилось, что я, прокрутив большое состояние и сделавшись бродяжкой, не потерял весёлого и бодрого духа.

– Ты видишь, я всё потерял, а не потерял только бодрости и совершенно счастлив.

– От чего ты, дедушка, не просишься в богадельню, – спросил я его.

– Молод ты еще и глуп, – отвечал Чередеев, – меня раза четыре сажали в богадельню и я убегал. Зачем мне богадельня? Я сыт, бываю пьян, нос в табаке и живу как вольная птица: хочу – иду к Макокину^[23], хочу – к Кобызеву, а нет так и в «Ершовку» затешусь.

И старик лукаво подмигнул, подняв брови под самой картуз.

– Кто же тебе питает, дедушка?

– Кто? Христовым именем, сынок, живу... Строгости только ныне пошли, ну да ничего, на мой век хватит. Я, случается, и на костыль выйду, и руку подвяжу или спрячу, спрячу, и жоака возьму как слепой, значит. Под разными случаями, примерно, Но главное – годы, старость. За то и подают!

– Давно ли ты в Петербурге?

– Годов шестьдесят будет, при царе Николае переселился сюда.

– И помнишь старину?

– Как не помнить, Я ведь женатый тогда уже был. Всё помню.

После первого знакомства я условился встретиться с Чередеевым на другой день, но он не пришёл. После я увидел его в «Дерябинских казармах». Оказалось, что его забрали на улице за прошение милостыни, хотя он, схватив костыль под мышку, пробовал удрать с

резвостью мальчика. Вместе с ним забрали одну бабу, стоявшую на углу с грудным ребёнком; увидев полицию, они оба бросились бежать, и баба швырнула своего ребёнка через забор. Оказалось, что у ней в пеленках была завернуто полено. Чередеев, смеясь, рассказывал мне это и прибавил:

– Таких «матерей» среди нас множество.

Очень тяжелое впечатление произвел на меня бродяжка Иван. Это старик, сапожник по профессии, начавший сильно заговариваться и страдающий галлюцинациями. Этот сапожник когда-то имел мастерскую, Но всё пропил и остался нищим. Теперь он все дни, когда его отпускают из комитета, проводит в чайной на Фонтанке и в кабаке на Обводном. Здесь за стаканчик он устраивает даровые спектакли и, ломаясь паяцем, потешает бродяжек и кабацких служителей. Больно смотреть на этого несчастного, когда жирный целовальник с красной наглой физиономией и хамской сивушной душой, заставлял его кувыркаться, становиться на голову, бить себя по щекам, целовать пустую косушку, и стоять, разинув рот, в ожидании «стаканчика».

Я пробыл с партией бродяжек в кабаке около получаса, и больше у меня не хватило сил оставаться в этой атмосфере. Воздух, совершенно синий от махорочного дыма и насыщенный сивушным запахом, дурманил голову. В кабаке теснота, шум, крики, ругань, возгласы – всё это обращало его в ад и нужно иметь верёвочные канаты вместо нервов, чтобы просиживать здесь часы и проводить целые дни. К довершению всего, согласно питейных правил, в кабаках нет ни стульев, ни скамеек, чтобы присесть; при водке нет никакой закуски, так что можно только пить и пить... Может быть, эти условия имеют какое-нибудь основание, но что они действуют разрушительно на организм, тоже верно. Человек целый день стоя пьёт – как же ему не напиться? В кабаке, о котором я говорю, большинство постоянных посетителей, то есть таких, которые проводят здесь время с утра до вечера, отлучаясь только на добычу: украсть или пострелять (просить милостыню). И в течение многих часов эта публика стоит на ногах и, опрокидывая стаканчики, закусывает собственным языком. Воля ваша – это отравя.

День уже склонялся к вечеру, когда я вышел из кабака и направился по Обводному к Расстанной. Мне хотелось зайти на Волково кладбище. Местность здесь – «серая», населенная чёрным людом, и

заведений для бродяжек достаточно. По дороге я завернул в чайную, квасную. Везде много народу. Странное дело! Чем же в самом деле все эти люди живут, просиживая дни в вертепах? Ведь, положим, чай здесь стоит 4 копейки, полный обед 9 копеек и так далее. Но как всё это не дёшево, эти 4 и 9 копеек надо ведь достать, надо заработать. А они сидят!

Этот вопрос меня больше всего занимал и к концу своего интервью я вывел такую табличку: число бродяжек в Петербурге достигает цифры не менее 10–15 тысяч. В это число не входят поденщики и чернорабочие, которые по внешности и достатку очень близки к бродяжкам. Средства к жизни бродяжек в процентном отношении можно выразить следующими числами, которые будут довольно приблизительно точны:

Попрошайки.....	10%
Шантажисты.....	5%
Обиратели и вымогатели.....	15%
Работники.....	8%
Промышленники.....	12%
Денные и ночные нищие.....	20%
Воистину несчастные.....	20%
Мазурики, воры и другие преступники.....	10%
Итого.....	100%

Табличка эта требует пояснений:

Попрошайки — это субъекты, который по старой памяти обращаются к прежним знакомым за подаванием. И последние из жалости оказывают помощь. Такие подаяния, разумеется, скудные, имеют характер чуть ли не пожизненной пенсии. Например, бывший купец, чиновник и т. п. всегда найдёт нескольких приятелей, которые не откажут прислать ему рубль-другой.

Шантажисты — это пропойцы, которые под угрозой скандала и за то, что не показываются туда, куда они по положению могли бы войти, получают постоянное ежемесячное содержание. Они аристократы среди бродяжек и самые циничные пропойцы.

Вымогатели — это близкие родственники каких-либо порядочных людей, спившиеся и сбившиеся с круга. Например, отец служащего сына или сын богатого отца, дяди, наследники часто громких фирм;

они прямо вымогают у своих родных или даже воруют, зная, что против них дела не начнут.

Промышленники — это люди с инициативой. Они появляются иногда газетчиками (без блях), продавцами, например, старого зонтика, грошовых запонок, кружев, букетов цветов и тому подобное, что не требует для торговли имени жестянки (собственные изделия). Такие бродяжки, часто вдвоём, продают один зонтик или запонки; первый продаёт, второй покупает и громко предлагает известную сумму; смотрит прохожий, заинтересуется, набавит пяточок и купит за полтинник то, что стоит двугривенный.

Работники — бродяжки, которые иногда идут в поденщики — идут, когда решительно нечего есть и голод подкашивает ноги.

Преступники — это тоже промышленники, только перешагнувшие границы уголовщины. Те и другие готовы украсть, надуть, обмануть, но первые пока ещё этого не сделали, довольствуясь афёрой, а вторые перешагнули. Конечно, эти бродяжки самые опасные, вредные и отвратительные, способные нередко на грабеж и убийство.

5

Я дам читателям несколько наиболее типичных субъектов из моей галереи бродяжек, чтобы нагляднее иллюстрировать моё процентное деление оборванцев на группы.

Первая категория — **попрошайки**. Самое видное место в этой категории принадлежит графу Z. Разумеется, если бы не страсть к водке, доходящая до пропойства, граф Z. никогда не дошел бы до положения бродяжки и мог бы, напротив, занимать видное положение в обществе. Он скитается по притонам и пьёт около 25 лет. Ещё не старым человеком дошёл он до лохмотьев и перестал стыдиться своего положения. Некий фактор^[24] сделал ему такое предложение:

— Ты — граф, ты носишь громкую фамилию; у меня есть дама по званию крестьянская девица, но занимающая целый отель и проживающая 40 тысяч рублей в год. Не хочешь ли ты поехать с этой дамой под венец с тем, чтобы прямо из церкви разъехаться и никогда больше не видеться?

— А что же я за это получу?

- 30 рублей в месяц пожизненно и тысячу рублей единовременно.
- Согласен, по рукам.

Граф через неделю сделался «молодым». Из его рассказов я узнал, что когда-то он имел свои дома, имения, рысаков. А теперь ему приходится ночевать хотя и на дворянской половине ночлежных приютов, но эта половина много хуже благоустроенной конюшни или кухонной комнаты для прислуги его бывшего дома... Я несколько раз охотно беседовал с графом за графинчиком водки и он несколько не стеснялся моего костюма, хотя его пальто и было чище моего рваного сюртука. Это добрый, простой, очень симпатичный человек, которого от души жаль, в его поступках, словах и взглядах на вещи проглядывается барство, покрытое густым слоем бродяжной грязи. У него нет озлобленности против счастливых и богатых людей, как у многих оборванцев, бывших в другом положении и дошедших до ночлежного приюта. Зато нет у него и стеснения принять подачу самого унижительного свойства, если он знает, что может выпить и особенно выпить хорошей водки в трактирчике средней руки. Неразборчив он и на знакомство, что, впрочем, вполне понятно, потому что мы, бродяжки, пользуемся безусловным равенством и не судим ближнего, будь хоть он беглый каторжник и душегубец. Одного только граф терпеть не может – вспоминать своё прошлое и говорить о своём происхождении. Если он пустился со мной в откровенность, то это большая редкость и свидетельствовало об его расположении ко мне.

Глубоко жаль этого несчастного старика, когда он рассказывал, как валялся несколько дней больной в грязи, без всякого присмотра. В больницу он не хотел идти, а близких у него ни души. Круглая сирота на земном шаре, никому ненужный и ни для кого не дорогой, он на смертном одре понял это роковое одиночество, и, поняв, сам хотел умереть, горячо молился о ниспослании ему смерти, но Провидению было угодно продлить его жизнь и он опять скитается по притонам. Вот год уже как он потерял способность быть весёлым и улыбки не видно на его лице. Не будь водки, в который можно потопить свои мысли, заглушить гнетущую тоску, забыть горе, он решился бы на самоубийство – так невыносимо это положение. А надежды? Лет 20 тому назад он еще мечтал, надеялся, давал зароки бросить пить и рисовал себе перспективу мирного приличного житья. Увы, теперь он

понял, что для него нет возврата. Он не может бросить своей жизни, не волен переменить обстановку...

– Как же не выпить в такие минуты? – говорил он мне, поднося к губам стаканчик.

Я не находил сказать ему что-либо утешительное. И что можно ему посоветовать? «Выпьем!» – вот одна отрада в этом роковом положении... Отчаяние особенно сильно стало гнестить графа Z. после смерти его родственника-миллионера. По закону он являлся наследником известной части, но родственник оставил духовное завещание, в котором забыл о нём. И забыл не случайно, а заведомо, мстя за женитьбу. Мысль о наследстве в минуты трезвости была для графа той соломинкой, за которую хватается утопающий... Теперь и эта соломинка пропала.

Последний раз я встретил графа в ночлежном приюте Общества ночлежных домов... Он испугал меня: страшные воспалённые глаза, руки и ноги трясутся, на лице выражение ужаса...

– Что с вами, граф? – спросил я удивленно

– Се...се... годня двадцать-цать пер...пер...вое...

Я понял его. Действительно, это самое ужасное, и я думал об этом. Что он будет делать, если жена вдруг прекратит выплату пенсии? Худо ли, хорошо ли, но он теперь обеспечен по крайней мере в куске хлеба; если он пропъет пенсию, ему оказывают кредит до 20 числа, зная, что он заплатит. В этом отношении он всегда был безупречен. А ну как пенсия будет прекращена? Вчера было 20-е и он не получил своих 30 рублей. Это первая неаккуратность за двадцать лет.

– Вероятно, какая-нибудь задержка произошла, – сказал я, хотя понимал, что едва ли это неаккуратность.

6

Самые неприятные и беспокойные из числа бродяжек-попрошак – это так называемые спившиеся интеллигенты. Эти господа бравируют нередко своими опорками и часто *требуют* подаяние повелительно. Один такой бродяжка, увидав у меня рублевую бумажку, набросился с руганью, требую немедленно разделить её пополам с ним.

– Вас давно бы в живых не было, если бы не мы, интеллигенция. Вас только и в Петербурге терпят, потому что среди такой рвани как вы, вращаемся мы.

– Постой, да что ты из себя ломаешь? Где твои заслуги и права? Из себя изображаешь... – прижал я его к стене в присутствии десятка бродяжек.

– Ну, ну, ты того, не очень-то

– Нет, говори, чем ты кичишься перед нами! Мы люди без развития, средств, слабый воли, больной души, неспособные к труду умственному и физическому, а ты?! Ты получил образование, получил в руки карьеру, будущность. А что ты сделал? Куда пришёл? И ты смеешь ещё бросать камень в других?!

– Я жертва, жертва...

– Жертва Бахуса и низких страстишек. Если бы ты точно был жертвой случая, то не мог бы сделаться тунеядцем-бездельником, которым пренебрегают даже простолюдины, считающие себя выше такого бездельника.

– Ну, ты, потише...

– Да я и говорить с тобой не хочу. Я сомневаюсь только, что ты когда-нибудь был студентом... Ты просто лжешь, самозванствуешь...

Бродяжка нахмурился, надвинул на глаза картуз и отошёл в сторону. Бродяжки, видимо, были довольны его «конфузом», потому что он и им надоел своей наглостью, грубостью и покровительственным тоном. Он, как говорят, действительно был на втором курсе юридического факультета, но больше десяти лет числился в бродяжках, и, вероятно, разучился даже мыслить. Высокого роста, чёрный от загара, с всклокоченной головой, он имеет вид тех молодцов, которых в доброе старое время встречали с дубинами на больших дорогах; куцый пиджак в дырах на голом теле и старые резиновые калоши на босых ногах составляют его костюм, в котором он день и ночь проводит не первый уже год. Говорят, что он частенько «просит» милостыню таким тоном, что ему отдавали весь кошелек, только отпусти душу на Покаяние. Разумеется, он – горький пьяница без просыпа, и, разумеется, никогда не принимался ни за какую работу, хотя порывы у него бывали. Попрошайствует он, главным образом, среди своих же бродяжек, урывая где косушку, где стакан чая или порцию щей. И

мирные, безобидные бродяжки покорно поят и кормят, платя ему дань за наглость и бесстыдство,

Другой интересный экземпляр – это «офицер» в ветхой шинели. Он держится стороной от бродяжек, хотя посещает кабаки и ночует в ночлежном приюте. Он горд. Ему под 60 лет, так что офицером он был лет 35 тому назад и в чине, кажется, прапорщика вышел в отставку. Небольшого роста, седенький с баками и стеклянными глазами. Сравнительно с бродяжками он состоятельный человек, потому что арена попрошайства у него обширная.

Обыкновенно, он является в совершенно незнакомый дом, нередко к довольно видной особе, и приказывает о себе доложить. Лакей, видя мундир, исполняет приказание и гостя «просят» в гостиную.

– Здравствуйте, как поживаете? – развязно протягивает он руку хозяину. – Сегодня отличная погода (или дурная)...

– Садитесь... Чем могу быть полезным?

– Ах, мерси, я заранее уверен, что вы не откажите мне, старому солдату... Здоровье вот только плохо становится... Ревматизм в правой ноге, простудился несколько лет тому назад...

– Но что вам собственно угодно?

– Это будет зависеть от степени вашего великодушия. Всякое даяние, конечно, благо, но мне нужно рублей пять-десять...

– Извините, я вас совсем не знаю...

– Пустяки, познакомитесь, я знал ещё вашего брата...

– У меня нет вовсе брата!

– Или родственника, зятя, свата, кума...

Конечно, просителю приходится иногда ретироваться ни с чем, но случается получить просимое, и кутнуть потом основательно в трактирчике.

Вот что достойно особого внимания и сбыта бродяжек-попрошаек – это долголетие их. Здесь есть юбиляры, по 50–60 лет занимающиеся нищенством, есть старики и старухи 80–90 лет, ещё в молодости впавшие в бедность, а в возрасте 60–70 лет попадают на каждом шагу. И какие все бодрые, молодцеватые, даже с ампутированными членами! Кровь с молоком, хотя едят они какую-то падаль, и то не ежедневно; ночуют, случается, под открытым небом... Я сделал такой статистический опыт. В трёх ночлежных приютах, где я ночевал за время своего интервью, было 239 бродяжек; из них 170 седых старцев,

из этих 170-ти самый молодой 58-ти лет, а самый старый 103-х лет. Попрошайством и нищенством занимаются 162 человека, а 8 рабочих. Я опросил на выдержку человек 30 и из них только один «недавно» впал в бедность, а остальные «всю жизнь маются».

Что эти цифры доказывают? Во-первых, что нищие бродяжки ведут сравнительно спокойную от душевных волнений и забот жизнь... Их потребности – грошовые, удовлетворяемые подаением, их заботы ограничиваются тощим желудком и полицейским обходом. Между тем, сколько душевных волнений и тревог приходится переживать нам с вами, читатель, особенно имеющим семью? У бродяжек не бывает ни порока сердца, ни нервных ударов, апоплексии, подагры и т. п. Во-вторых, у бродяжек нет сидячей жизни, развивающей хронические болезни, нет простудных заболеваний, потому что организм их привык ко всему, нет у них и ожирения органов, так как жиреть им ни с чего. Ещё профессор Тарханов^[25] в своих лекциях а «Долголетии» заметил, что бедность есть спутник долголетия и все цифры вполне это подтверждают. Иногда бродяжки сами тяготятся своим долголетием и недавно ещё 89-летний старичок бродяжка повесился, а старушка 82-х лет выбросилась из окна. Напрасно, впрочем, думают, что всем бродяжкам плохо живётся на свете, что они мучаются. Я за свои шесть дней перевидал тысячи бродяжек и могу засвидетельствовать, что громадное большинство не только не мучается, но вполне довольно и счастливо своим положением, не желая ничего лучшего и бегая от всяких богаделен и приютов. Они так свыклись с этой атмосферой, средой, обстановкой, что лучшего им ничего не надо, а о лучшем они вовсе не мечтают. Некоторые из них «мучаются» только с похмелья, но это мучение ещё не большой руки. Сначала и мне казалось, что люди, живущие в этих трущобах, очень несчастны, но оказывается, что подобное мнение совершенно ошибочно. Глубоко несчастны только семейные бедняки, которых не видно на улице и в кабаке, а мои сотоварищи бродяжки, право, счастливее многих богачей и капиталистов.

Второй тип бродяжек – «*вымогателей*» имеет много общего с первым, т. е. «*попрошайками*», только они ещё наглее, циничнее и чаще попадают в уголовщине, например: кражах, грабежах. Этот элемент бродяжного населения столицы самый, по моему мнению, опасный и вредный, так что полиция постоянно принуждена иметь за ним особое наблюдение.

Мне попалось несколько экземпляров, достойных кисти художника.

Старушка лет 80-ти, Пелагея. Пьянствует много лет, так что в трезвом состоянии никогда не бывает. Грязна, отвратительна, зла, сварлива и скандалистка. У неё очень приличный почтенный сын, где-то служащий. Старушка постоянно делает ему скандалы, преследуют его на улице и несколько раз таскала к мировому.

– Ты мать не почитаешь! Заставляешь на старости лет нищенствовать! На улицу выгнал!

Положение несчастного сына достаточно критичное. Держать в доме такую женщину, которая постоянно пьяна, скандалит и лезет драться – нет возможности, потому что домохозяин просит очистить квартиру, не говоря уже про собственные неприятности. Нежелание же совместного жительства вызывает ежедневные требования денег под угрозой жаловаться за отказ матери в средствах к жизни. Приходится давать, зная, что сколько не дай сегодня – завтра будет пропито, а между тем у сына своя семья, свои нужды и сравнительно ограниченное содержание.

Но как не отвратительна пьяница-старуха, обирающая собственного сына, ещё хуже пропоец-муж, сосущий кровь у несчастной труженицы-жены и выколачивающий в довершение всего у неё душу. А таких мужей среди бродяг немало. Вот, например, пропоец лет 45-ти, грязный, оборванный с опухшей рожей, который живёт тем, что аккуратно через день делает нашествие к своей жене, служащей кухаркой в приличных домах. Он, смеясь, рассказывает, что жену из-за него не держат на местах, что она глаза все из-за него выплакала и, хвастаясь, показывает одну или две рублевки, «вырванные из горла» жены. Рублёвки тут же пропиваются, а через день он опять идёт. Если у несчастной действительно случается ничего дать, он поднимает скандал, шум и требует жену «к себе».

– Я муж! Если я позволяю ей служить, она должна мне давать деньги, а нет – пойдём вместе.

– Куда?

– «Где голова, там и ноги». Жена по закону должна быть при муже; у меня угла нет – значит, ходи сзади.

Пропоец, делая скандал, ничем не рискует, а бедная женщина теряет место и ради этого волей-неволей принуждена откупаться.

Другой муж ещё лучше. Его жена имеет давно отдельный вид на жительство, но это не мешает ему караулить жену на улице для скандала, если она не поспешит сунуть ему несколько рублей. Он понимает, что гадок до отвращения, что он сам во всём виноват и не имеет даже юридических прав на жену, но всё-таки она жена его и этого для шантажиста довольно.

Мужья, совместно живущие с жёнами и детьми и пропивающие из дома всё, что можно стащить, до жениной кацавейки^[26] включительно, считаются среди бродяжек заурядным явлением

– Иди, унеси что-нибудь, – посылают они друг друга.

– Да ничего уже...

– А башмаки у бабы?

– В самом деле, она недавно исправила полусапожки. Иду!

Идёт и уносит ужины последние сапоги с ног, пропивая их за несколько двугривенных. Я сам был свидетелем такой сцены... По Обводному бежит босой оборванец с голой головой, в переднике, у него в руках женские башмаки. Сзади догоняет молодая женщина, тоже босая, с растрепанной головой и выражением ужаса на лице. Женщина мчалась и догнала оборванца, вцепившись прямо в башмаки. Завязалась борьба: оборванцу, несмотря на большую силу, не удалось вырвать башмаки у женщины, которая вцепилась в них как утопающая за якорь спасения. Тогда оборванец повалил женщину и начал её бить с плеча, пока та не выпустила злосчастные башмаки. Схватив добычу, оборванец бросился бежать, а избитая женщина с трудом поднялась с земли и со стоном, хромя, поплелась обратно. Я не забуду выражение её глаз, дико установившихся в след бежавшего с башмаками оборванца... Глаза выражали такое отчаяние, точно она рассталась с дорогим существом или сокровищем.

Подобные сцены в понедельник или вообще после праздника происходят десятками среди бродяжек. Рыночные маклаки, зная это всё, послепраздничные дни дежурят около вертепов и скупают здесь у бродяжек всё, что последние «упрут» из дома. Почему после

праздников? Потому что жёны или вообще домашние, работая неделю, покупают к празднику обновки, а вымогатель-муж тут и накроет; ему самому особенно дорог двугривенный в понедельник, чтобы опохмелиться...

8

После вымогателей-мужей чаще всего попадаются вымогатели-сыновья. Таких, особенно типичных, я встретил трех: двоих из купеческой богатой семьи, прошли огонь и воду, отцов они боятся пуще огня, а шантажируют матерей, нередко прибегая просто к краже из родительского дома.

Третий же – так называемый «Монах». Он особенно интересен. Ванька, парень лет 22-х, успевший прожить тысяч сорок и сделать долгов тысяч на двести. Отец взял его в опеку, заплатил долги, жестоко выдрал и поместил в один из монастырей для исправления и покаяния. Ванька из монастыря удрал и явился вновь на горизонте Петербурга, не смея, однако, показаться отцу. Он скитается по ночлежным притонам, командуя товарищей-бродяжек с записками к матери. Добрая старушка тайком от мужа посылала блудному сыну деньги, вещи, провизию, но всё это скоро спускалось, прокучивалась, и посланец опять шёл с запиской. Иногда он и сам рисковал сходить, когда ему хотелось получить большой куш или посланник возвращался от матери с пустыми руками.

Ванька – красивый мальчик-блондин, худощавый, болезненного вида с изнурённым старческим лицом. Он циничен до мозга костей и хотя не пробовал прибегать к настоящим преступлением уголовного свойства, но, кажется, способен на всё. Я столкнулся с ним у Московской заставы, и мы вместе ходили к «Рогатке» – версты две за заставой, где находится один из притонов «загородных», т. е. бродяжек, не имеющих право жить в столице и ютящихся на границе. Публика здесь воистину такая, что только оборванцем и можно сюда попасть, а то положительно небезопасно пройти даже днём.

Представьте себе конуру, разделенную на четыре каморки и битком наполненную оборванцами, так что за их спинами скрывается Божий свет. Всё это, пожалуй, и не бродяжки, а форменные бродяги с

железными кулачищами, зверскими физиономиями и настолько темным прошлым, что терять им нечего. Они даже, нисколько не стесняясь, громко рассказывают: как одного барина прижали по дороге и обчистили донага; барыню одну за косу схватили – она всё и отдала, что у ней было. Правда, где и когда это происходило, не говорится, но по самому тону слышно, что представься такой случай сейчас, они не задумываются проделать то же самое.

Ванька, оказывается, свой человек в этом притоне и знаком со всеми. Публика встретила его радушно и ему уступили место в центре за одним из столиков.

– Это наш, новоиспеченный, – отрекомендовал меня Ванька публике и очистил для меня место рядом с собой. – Деньги есть? – обратился он ко мне, когда мы сели

– Есть около полтинника.

– Ну, на голодные зубы годится...

Появилось угощение, начались оживленные разговоры.

– Ах ты, старая хрычёвка, – произнёс Ванька, обращаясь в пространство, – я тебе покажу!

«Хрычёвка», как после оказалось, относилось к доброй старушке – его матери, которая заливаясь слезами каждый раз, когда от сына является посланец.

– А что на сухую? – спросил один из публики.

– Благословение шлёт...

Публика загоготала.

– А ты её сам благослови хорошенько, – сострил кто-то.

– Уж будет меня помнить. Сегодня ночью явлюсь...

– Ванюха, расскажи как ты из монастыря удрал? – обратились к нему.

– Как удрал? Вот тоже диковинка! Я из-за острога удрал, из настоящего каменного мешка, это похитрее! Без напилка решётку выпилил, вот ты что скажи!

– Молодец, одно слово, – поддакнул голос из толпы, – а денег всё-таки нет.

– Будут и деньги, хочешь – сейчас будут!

– Хочу, ну-ка...

– Слушай, – обратился он ко мне, – сходи к моей матери с запиской, она теперь одна в лавке.

– Нет, не пойду, – отвечал я.

– Тебе за ходьбу я заплачу, ты не бойся.

– Нет, не пойду...

– Давай я схожу, – вызвался седой оборванец с синяком во всю левую скулу и в балахоне с торчащей ватой.

– Вали... Эй, служающий, бумаги и карандаш!

Ванька что-то написал.

– Готово, действуй, только скорей, а мы пока выпьем...

– Выпьем, выпьем, – слышались голоса.

Началась оргия. Ванька охмелел, и сделался особенно словоохотлив, но всё его рассказы отличались непечатным остроумием. Даже старые бродяжки выражали удивление:

– Полно тебе врать, озорник этакий.

Ваньку тешил этот героизм, и он старался даже наврать на себя, прикрасить свои подвиги для пущего эффекта, но если десятая доля из его рассказов верна, то и тогда этому юноше единственное исправление – петля! И как мог выработаться в порядочной купеческой семье такой нравственный урод, как дошёл он до этого падения и цинизма? Этот вопрос меня больше всего интересовал, и я старался наводить его на воспоминания детства...

Отец до него, как и до других детей, не касался, они почти его не видели; суровый мрачный старик был грозой дома, перед которыми трепетали жена и дети. Конечно, отца обманывали, от него всё скрывали, и мать, не чаявшая души в Ванечке, первая лгала и изворачивалась, чтобы избавить сына от родительского гнева. С десяти лет Ванечка начал делать непозволительные шалости, а в четырнадцать его встречали уже в кафе-шантане, в трактирах, на тройках и в обществе девиц. Его отдали в коммерческое училище, но, просидев два года в классе, он был исключен; отец взял его в лавку и Ваня получил возможность добывать деньги уже без содействия маменьки – он таскал из выручки, посылал приказчика закладывать и продавать товар. И когда лавку запирали, отправлялся кутить. Если отец спохватывался: «где Иван?», что было очень редко, мать спешила отвечать: «Он спать ушёл, ему нездоровится, голова болит». Тем и кончалось. Пробовала она сама иногда выговаривать сыну, упрекать его, но он или лаской, или грубостью прекращал неприятный разговор. Годы шли. К девятнадцати годам Ванечка сумел сделаться таким

завсегдатаем шато-кабаков, что его знали все посетители и посетительницы и он не мог одного вечера посидеть дома.

Только случай открыл всё. Отец произвел генеральную поверку магазина и недосчитался товару тысяч на двадцать. Началась расправа. Приказчики выдали сынка с головой и представили доказательства. Появились его векселя. Старик пришёл в ярость и жестоко выдрал Ваньку, после чего отправил его в монастырь. Ну всё это было уже поздно. Ванечка уже не имел силы «переродиться». Напротив, расправа отца ожесточила его, уронила нравственно ещё ниже, и он пошёл по наклонной плоскости. Из монастыря он удрал без труда. Его, как беспаспортного, забрали где-то в острог, он удрал и оттуда, начав совсем бродяжную жизнь. И вот случай столкнул его со мной как раз в то время, когда он только что погрузился в омут трущобы. Если бы его сейчас извлечь оттуда, примирить его с жизнью, повлиять на него разумом, сердцем – может быть, он и был бы спасён, ведь он еще юноша полный сил, здоровья. Но если он проживёт с бродяжками несколько лет, познакомиться с этапами, острогами и тюрьмами, не трудно предсказать, что из него вырабатывается.

Пока мы пили, явился посланец, размахивая красненькой бумажкой.

– А что я сказал, – скачал Ванька, – ай да я, это ли не молодец? Пей, ребята!

Его голос осип, глаза посовели, движение сделались неопределенны, нетверды; он пьянел, а предстояло ещё много выпить.

«Удивительно, как это оборванец не убежал с десятью рублями», – подумал я.

Но после мне пришлось убедиться, что в этом мирку тоже есть свои понятия о честности, да им и невозможно обманывать друг друга, потому что они живут слишком тесной жизнью... Среди них бывали случаи жестокой расправы за попытки обмануть «своего».

С получением красненькой бумажки Ванька сделался совсем центральной личностью; кругом его увивались, ему услужливо кланялись, благодарили... Ванька чувствовал свое «величие» и вошёл в роль трущобного креза. Я незаметно ускользнул из компании...

Ваньку мне пришлось встретить ещё раз на Петербургской стороне. Он опять травил свою маменьку, изыскивая план вымогательства.

– Долго ли, однако, это будет продолжаться? – спросил я его. – Ты чуть ли не каждый день мучаешь свою несчастную мать.

- Тебя не спрашивают, ты и не суйся, – огрызнулся «монах».
- Неужели стыда у тебя совсем уже нет?
- Ты на себя бы посмотрел, а после и говорил. Тоже хорош гусь...

9

Перехожу к самой многочисленной и самой симпатичной группе – несчастных бродяжек, очутившись в этом положении по воле судьбы или по собственной слабости тела и души. Они не пьяницы и не пропойцы, не лентяи и тунеядцы. Это просто неудачники, мученики своих не осуществленных задач и стремлений, жертвы людского эгоизма и бессердечия, хроники-больные и, наконец, полупомешанные или совсем помешанные, не находящие себя, однако, пристанища в больницах для умалишенных. Беседуешь с этими бродяжками, входишь в их положение – сердце обливается кровью и при всём своем эгоизме можно отдать им последний рубль. И странно – эти бродяжки менее всех получают помощи, внимания, сочувствия! Их положение во много раз тяжелее даже профессиональных бродяг – им чаще приходится ночевать под забором, не есть ничего два-три дня и покорно переносить невероятные страдания. Бродяжки-вымогатели и шантажисты живут, как мы видели, сравнительно привольно; нищие и беспаспортные забираются в обходах, поступая на казённое иждивение, где у них «готовый стол и дом», а эти несчастные совершенно предоставлены самим себе, милостыню им не подают, потому что руки они не протягивают; полиция их не трогает, потому что паспорта у них в порядке, в нищенских комитетах, в часть, в арестный дом их не берут, потому что туда «доставляют за номером таким-то», а «с улицы» приходящих не пускают даже обогреться или похлебать арестантских щей. А с какой радостью они отведали бы этих щей после двухдневной голодовки! Филантропический учреждения, вроде ночлежных домов, дешёвых столовых и пр. для них недоступны – «дорого», потому что 5–6 копеек целое «состояние», которое надо достать. А где достать? Было время, они зарабатывали эти 5–6 копеек клейкой картузов в «Доме Трудолюбия»^[27], но теперь в этом единственном рабочем доме устроено школа рукоделия, а бродяжки-рабочие изгнаны!

Вот несколько моих трущобных друзей.

Вторую ночь своего «интервью» я провёл в отвратительнейшем притоне Обводного канала, хотя и без вывески «ночлежный дом», но с ночлежниками. Таких притонов в Петербурге немало. Нас ночевало шесть человек в крошечной комнате с пропитанным сыростью и затхлостью спертым воздухом. Вдоль печки, занимающий полкомнаты, были развешены мокрые от пота портянки бродяжек, на печи спали хозяева: муж, жена и трое детей. Мы, бродяжки, спали на голом полу, подложив под голову своё верхнее платье. Я говорю – «спали», но это не вполне верно, потому что я всю ночь не сомкнул глаз, а мой сосед, не переставая, кашлял удушливыми чахоточными приступами; кто-то всхлипывал, ребенок плакал, не переставая, а миллионы насекомых совершали такие ожесточенные походы, что заставляли некоторых выскакивать и громко ругаться.

Да не подумает читатель, что я преувеличиваю: обстановка именно такая и я хотел было бежать, но меня удержало желание познакомиться с соседом, который, как и я, не сомкнул глаз. При свете лампы лицо этого мученика – бледного, с впалыми глазами, производило тяжкое удручающее впечатление. Все черты когда-то красивого молодого ещё лица искажены страданиями; роскошные светлые кудри свешиваются беспорядочными прядями, глаза подняты вверх... Он молился, но приступы кашля душили его...

– Вы, кажется, нездоровы? – спросил я его.

– Да, чахотка у меня, – отвечал он так просто, точно речь шла о простом расстройстве желудка.

– Отчего вам не лечь в больницу?

– Не берут ни в одну больницу. Чахотка неизлечима, что же им увеличивать процент смертности?

– Простите, вы, вероятно, пьёте запоем?

На его лице появилась печальная улыбка:

– Я в жизни не брал в рот рюмки вина...

– Это с моей стороны нескромный вопрос, вы не рассердитесь? Как вы дошли до такого состояния?

Его глаза устремились вдаль, и на щеке появилась слеза, которая сейчас же высохла: он весь горел.

– Это долго рассказывать, да и к чему? Мои дни сочтены, я только жду не дождусь смерти.

– Если это вам не очень тяжело, расскажите мне ваше прошлое...

– Я учитель. Я с золотой медалью окончил гимназию и держал потом экзамен на учителя. Получил место в №, пробыл два года, а теперь третий год без места... Пожалуй, в настоящем положении я и не мог бы уже служить...

Он страшно закашлялся, и яркий румянец заиграл на щеках. Приступ продолжался несколько минут. Один из ночлежников начал ругаться:

– Шёл бы в больницу умирать, только людям спать не даёшь...

Опять та же горькая улыбка. Он кивнул головой в сторону говорившего:

– Его правда... Вот, ночуй хоть на улице, нельзя же ведь мешать им выспаться за свои три копейки. Им тоже силы нужны к утру...

– Неужели у вас никого нет в Петербурге знакомых?

– Никого. Я приехал, думал, найду место, буду лечиться, ну, а место найти не легко... Проел всё, что было, вот, видите, до чего, а места всё нет...

– Но неужели у вас, так-таки, на всем свете никого близкого нет?

– Мой отец любил меня до безумия, матери я не помню... С отцом у меня прошло золотое детство; он умер, оставив меня уже учителем, человеком обеспеченным. О, если бы он мог думать, что станет с его Петей. Отец, отец!

Он закрыл лицо руками, и по вздрагиванию плеч было видно, что он рыдает.

– Послушайте, пойдемте отсюда, я найду другой ночлег, здесь невозможно уснуть!

– Нет, всё равно, я привык; спать всё равно я не хочу...

– Ну, пойдемте хоть пройтись, здесь ужасно тяжело.

– Куда же теперь ночью ходить? Лучшие усните, вы здоровы, вам ничего...

Он, очевидно, не хотел продолжать разговор, мешая спать соседям. Утомление взяло верх, и я задремал. Ещё чуть стало светать, я проснулся. Учитель лежал, закинув назад голову, с закрытыми глазами. Его исхудалое лицо с выдававшимися скулами выглядело мёртвым. «В гроб краше кладут» – можно было сказать про него. Я не хотел уходить без него и стал дожидаться. Кажется, около шести часов поднялись

хозяева (все спали в одежде) и стали бесцеремонно будить ночлежников.

– Ну, вы бароны, вставать пора.

– Послушайте, оставьте его, он только что успокоился и задремал, – указал я на учителя.

– Ты ещё чего тут разнежничался? И так дарма ночует вторую неделю, совсем пускать не стану, только другим покоя не даёт. Эй, барин, вставай, – толкнул учителя ногой хозяин.

Чахоточный широко открыл глаза и стал поспешно вставать, извиняясь.

– Пойдемте со мной, – сказал я ему.

Мы вышли. Утром была дивное. Солнышко пробивалось сквозь серые тучи, в воздухе веяло осенней прохладой, но было тепло и дышалось как-то легко.

– Я угощу вас чаем, и мы поговорим о вашей будущности.

– Пожалуйста, оставьте мою будущность в покое, а то я не пойду и чай пить.

– Да что вы так куражитесь, извините за выражение...

– Я не куражусь, но не понимаю, с какой стати вы мной занимаетесь, когда я не имею удовольствие вовсе вас знать?

– Мы познакомимся... В нашем быту как-то не принято представляться, бродяжки знакомятся запросто.

– Я не причисляю себя к бродяжкам.

– И я тоже, но посторонние вправе называть нас так. Не будем об этом спорить. А вот и чайная. Зайдём!

В чайной сидело уже несколько рабочих артелей. Замечу, кстати, что по принятому обычаю рабочие не пьют дома чай, а, выходя из дому, прямо идут в трактиры, после чего уже отправляются работать. С пяти-семи часов все чайные и трактиры переполнены артелями рабочих и, странно, от чая некоторые из них хмелеют и настолько, что не в состоянии идти на работу...

Вообще, было бы нормально пить чай дома, но квартиры рабочих в большинстве напоминают тот ночлежный приют, где мы встретились с учителем и, понятно, что в такой обстановке чай в горло не полезет!

Впрочем, это только к слову.

Мы заказали себе чай и уселись с учителем в уголке. Скоро чайная опустела.

– Мне просто не верится, как вы могли не найти ничего здесь...

Он усмехнулся своей щемящей душу улыбкой и не сразу ответил.

– Я умею работать и люблю своё дело, но галоши подавать не научился. Отец не научил! А без этого, видно, не проживешь на свете... Везде говорили – «подожди», а никто не спросил, могу ли я ждать, если ли что сегодня поесть, где переночевать. Костюм обветшал, белье изнашивается, сапоги с ног сваливаются... А купить на что? Нашим ремеслом на гастролях ничего не достанешь. Или место и жалование, или ничего. Так с этим ничего и сидел, спускаясь с комнаты на угол, с угла на постоянный двор, со двора на ночлежный приют, а теперь и пяточков больше нет.

– Если я предложу вам маленькую помощь – вы примите?

– Спасибо, хотя это подаяние... Я чувствую, что не жилец я на этом свете.

Уже окончив «интервью», я посетил своего бедного друга в Обуховской больнице. Он умер на моих почти руках и последние его слова были:

– Отец, отец, вот и я иду к тебе... Прости меня!

10

Глубокого сожаления заслуживают вообще «безместные» бродяжки или «бездельники», как их зовут в притонах. Они не потому «бездельники», что пьянствуют или не хотят работать, как бродяжки первых перечисленных много категорий, а просто потому что не могут найти себе места... Заметьте: *места*, а не работы. Это большая разница. Работники, знающие какое-либо ремесло, начиная с каменщика, всегда имеют работу, если хотят работать. В работниках, особенно учёных (каковы: механики, слесаря, закройщики, штучники-портные, сапожники, наборщики, маляры и другие ремесленники) ощущается даже недостаток. Но в Петербурге, как и в каждом большом городе, есть масса людей, умеющих *служить*, а не *работать*, живущих на местах, каковы: чиновники, писцы, канцеляристы, приказчики, сидельцы, лакеи, дворники, швейцары и пр. и пр... Всем этим людям нужно *место*, без места они не могут достать гроша, потому что ничего не умеют, не знают и не разумеют!

Есть место – они зарабатывает порядочную сумму в месяц; потерял место – и всё потерял, пока не найдет новое место. А найти нелегко. Я встречал бродяжек по несколько лет ищущих места, и чем дольше они ждут, тем труднее найти место, потому что оборванца из ночлежного дома никто не возьмёт в дом.

И между этими людьми есть субъекты во всех отношениях симпатичные, полезные труженики и честности испытанный. У кого обанкротился хозяин, у кого упразднили должность, другой заболел, ушёл в больницу, а место заняли...

Случаев потери места масса и каждый такой «случай» влечёт для несчастного долгую голодовку, иногда безысходную. Вины за ним решительно никакой, напротив, если бы иной больше воровал на службе, то не дошел бы до ночлежного дома, скопил бы себе на чёрный день, а тут с честностью и несчастным случаем – прямой путь в бродяжки!

В ряду множества благотворительных учреждений столицы нет ни одного, которое помогала бы безместным беднякам, а посторонним людям нет, разумеется, дела до разных «горемык». Помощи извне, значит, ниоткуда, а сам как же он может себе помочь? Он в молотобойцы не годится – силы нет, в катали не годится, здоровьем слаб, изнежен; за ремесло взяться поздно – учение дорого стоит. Словом, положение самое безвыходное, хотя водки они сроду не пивали, в игры не играли, о кутежах понятия не имеют... Хорошо ещё, если бродяжка не успел жениться во время благоденствия, а то есть и семейные: жена с детьми в углу, а сам в ночлежном притоне, и все голодают в полном смысле слова, теряя всё более и более надежду на место.

За своё интервью я встретил до сотни таких воистину несчастных людей, из них до двадцати семейных. Но ведь это я встретил случайно. А сколько их в углах Гавани, Колтовской^[28], Петербургской стороны, Таирова^[29] переулках, Коломны, у застав и других местах, где угол для семьи стоит один 1–1,5 рубля в месяц. Чтобы помочь этим горемыкам, не надо ни рабочих домов, ни денежных затрат: дайте им только работу службу, занятия здесь или в отъезде. Разве нам не нужны люди? Нужны! Только свести предложение со спросом некому.

Для иллюстрации в моих слов приведу крайние биографии нескольких бродяжек из числа сотни мною виденных.

№ 1. Четырнадцать лет его привезли в Петербург и отдали в учение в портерную лавку. Привёз его особый промышленник, занимающийся поставкой мальчиков из деревень в столицу и взимающий за свою комиссию дань с обеих сторон. Отец отдал поставщику последние 25 рублей за устройство сына в Петербурге, а портерщик заплатил 15 рублей за доставку хорошего парнишки. Горько сетовал отец на поставщика за плохое устройство, но поставщик обещал перевести его после на завод, сделать механиком, а *пока* теперь побудет в партерной. Это «пока» длилось пять лет. Ваня стукнуло девятнадцать. Пора учение прошла... Здоровье испортилось: по колено в воде в подвале он разливал пиво; у него и ревматизм образовался, и хронический кашель. В портерную привезли другого парнишку и Ивану отказали. Служил он недолго в трактире, потом был в больнице, а теперь седьмой месяц «без дела». Бельё сделалось чёрным от грязи, сюртучишко оборвался, сквозь брюки виднеется голое тело, сапожки сваливаются с ног. Как идти наниматься? И место выходило два раза, да поступить нельзя – не берут в таком виде. Справить бы костюм, после выплатить можно, но разве бродяжка имеет кредит у портных? Самый высший кредит – это косушка водки в долг да ночлег в притоне, да и это неохотно. «Как? Как быть?» – ломает он руки. Глаза красные от слез, лицо пожелтело от истощения, руки высохли от голода, а выхода нет и не видно!

№ 2. Отставной ассессор. Человек лет сорока. Женат. Имеет двух детей, находящихся у кого-то на «ласковом хлебе». Места потерял два года тому назад. Ищет каких-либо занятий, разумеется, по письменной части. Согласен помогать старшему дворнику в ведении книг, Но дворник сам умеет ставить каракули и обходится без грамотности.

Есть дома, приносящий тридцать тысяч рублей дохода, а у ворот вы всё-таки прочтете записку: «Отъ. Даетца. Фатера. Спросить дворьника». Зачем купцу-домовладельцу грамотность? Это санитарными правилами не требуется. Не только купцы-домовладельцы, есть целые фабрики, большие торговые фирмы, обходящие без письмоводства и посылающие «щчета», по которым получают тысячи и десятки тысяч рублей. Если же какая фирма роскошествует на «конторщика», то требует за 20 рублей знание бухгалтерии, английского языка и прочих премудростей, которых ассессор конечно не знает. И вот наш ассессор два года «проедал» вещи. Если бы он продавал их, та кое-как тянулся бы, но продавать было жаль, он их закладывал в надежде выкупить.

Ссуду давали грошовую, процентов вносить нечем и вещи шли с аукциона опять за гроши (для чего на аукционах имеется корпорация маклаков с «вязкой»). В итоге ни денег, ни вещей, а нужда росла и росла. Место не находилось. Обветшал ассессор, постепенно превращаясь в оборванца и добывая пяточки писанием прошений и писем в кабаках. Я предложил ассессору стаканчик:

– Нет, родимый, спасибо я не пью.

Ассессор говорил мне «ты», хотя я ему «вы».

– Отчего вы оставили службу?

– Воля начальства – не понравился. Дали понять, что надо уходить. И ушёл. А вот теперь и есть нечего.

– И что же вы думаете делать?

– Знаете, я с ужасом вижу, что мой мозг тупеет. Я как-то свикся со своим положением или, лучше сказать, с безвыходностью и голова часто отказывается думать. Так, смотришь вот – и не видишь ничего, сидишь – и точно спишь. Неужели это будет прогрессировать? Так ведь можно дойти до состояния идиотизма.

И доходят. Я видел такого отупевшего субъекта, шесть лет пребывающего бродяжкой, а раньше проживавшего пять-шесть тысяч рублей в год, когда «служил».

№ 3. Проворовавшийся туз. За его заслуги в прошлом ему оставили свободу, не отдав под суд, Но как большинство воров-жуиров^[30], он остался без гроша за душой. К счастью, он холост и поэтому бродяжничает один. Дома знакомых для него закрыты. Найти место почти невозможно. Он спускался годы четыре, пока дошел до набережной Обводного канала и, по-видимому, возврата ему нет. Будущее его мрачно. Он не способен достать рубля, хотя когда-то получил тысячи, знает языки, образован всесторонне, начитан, бывал за границей. Во мне он возбуждал сожаление именно своей беспомощностью. Как умирающего льва, его лягает теперь всякий, кого он не взял бы раньше в лакеи. Своим видом он походит на живые мощи, которые успокоить может только могила.

№ 4. Простой малый. Из 12-ти месяцев в году он 7–8 лежит в больнице, 2–3 ищет место, а 1–2 месяца служит дворником или швейцаром. Он перенес все болезни, какие существуют в Петербурге: натуральную оспу, тиф, воспаление лёгких и т. д. Организм замечательно чуткий ко всякому заболеванию и замечательно

выносливый. Не успеет найти место, послужить, заработать 10–15 рублей, его отправляют в больницу. Вышел с больницы – поиски места. Ему не более 25 лет, он холост, крестьянин Олонецкой губернии.

– Тебе климат здешний не ко двору, ты на родину уехал бы!

– А что же я так делать там буду? У меня там ни кола ни двора.

– Так ведь помрёшь здесь...

– Воля Божья.

И он, завернувшись в свои лохмотья, покорный робко побрел на ночлег в Таиров^[31] переулок к земляку.

11

В числе бродяжек, которых я встречал во время своего странствования, попадалось немало женщин и детей. Если «щемит» душу вид несчастных бродяжек-мужчин, то положительно слезу прошибёт положение таких женщин и ребятишек – созданий слабых, лишённых сил, средств и способностей помочь себе! Если мужчина оказывается в положении безысходном, беспомощном, то что сказать про ребёнка 10–11 лет, живущего при бродяжки дяде, тётке или куме? Хорошо, если ребёнок только страдает, а то его страдания эксплуатируются порочными взрослыми.

Вот на какой репетиции я присутствовал в трущобах постоянного двора Лиговки. Пьяная с утра женщина лет 50-ти с опухшей физиономией и плохо прикрытой лохмотьями наготой, трепала девочку лет 8-ми. Она била её по лицу, рвала волосы, заставляя ребёнка плакать. Девочка заливалась слезами.

– Вот так, вот так, ну, хорошо...

– Тётенька, милая, мне больно, довольно...

– Несколько затрещин по лицу были ответом.

– Говори... (ругань) ...за мной: «барин добрый я потеряла...»

Девочка, захлебываясь слезами, повторяла.

– Что ты потеряла?

– Ничего, тётенька...

Несколько новых затрещин.

– Говори: рупь потеряла, барин добрый; мама умирает, послала за лекарством, а я потеряла.

Девочка, сбиваясь и путаясь, повторяла несколько раз тираду и за каждую ошибку женщина трепал её за волосы или била по лицу. Я пробовал было вмешаться и прекратить эту сцену, но по моему адресу посыпались отборная словесность. Но что же это за репетиция? Из расспросов окружающих я узнал, что женщина это нашла где-то девочку и приучает её теперь к нищенству. В былые времена, чтобы вызвать сострадание прохожих, детей прямо калечили, но способ этот устарел и не практикуется, тем более что за такие художества могут, если откроется, сослать в каторгу. Прогресс, конечно, коснулся и нищенства. Теперь из нищих детей вырабатывают комедиантов, которые должны разыгрывать на панели драмы с водевильной подкладкой. Эта девочка, кончив обучение, которое я видел, будет поставлена на бойкой улице и должна рыдать, ползая по панели. Прохожие обратят на неё внимание, будут спрашивать, что с ней, она ответит заученную фразу об умирающей матери, лекарстве и потерянном рубле. Женщина-учительница спрячется по соседству для наблюдений за девочкой, и если у последней иссохнут слёзы или она плохо будет стараться, то несколько хороших затрещин придадут ребёнку требуемого куража и «жизни». Если добрый барин сжалится и даст монету, женщина сейчас же отберет «выручку» и скроется на время в соседнем кабаке. Подобные комедии имеют много разновидностей: детей учат прикидываться больными, выпрашивать на билет конки или железной дороги, рассказывать басни об умирающих близких и т. п. Некоторые ученики делают такие успехи, что быстро превращаются в карманных воров, а при случае и грабителей. За последнее время развелось много таких учителей и учительниц, и зло пустило уже корни.

Глядя на мучения девочки, я относился довольно равнодушно к её физическим страданиям и думал только о будущем этого ребёнка. Мои нервы за время странствования как-то притупились к физическим страданиям. Мы видим, например, с каким цинизмом факельщики, гробовщики, могильщики отправляют свои обязанности и удивляемся, что близость и свежесть человеческого горя, даже самый акт конца нашего бытия, не производит на них не только впечатления, но точно ободряет их к вымогательствам, глумлениям, грубостям. Теперь это

мне понятно. Они привыкли к картинам смерти, как я привык к картинам нищеты и голода, так быкобоец привык резать животных, как ростовщик привык видеть слезы должника.

Если бы до своего странствования я увидел подобное истязания ребенка, то вероятно поднял бы историю, позвал полицию и т. д., а тут я смотрю довольно равнодушно и только думаю: что же станет с этой девочкой в 16–17 лет, если она доживет? С восьми лет её приучают к профессиональным обманам, к игре человеческим горем, к шантажу с чувствами сострадания. С восьми лет она видит кругом эссенцию разврата и грехопадение, она воспитывается в этой среде. Куда же её готовят? И никому, по-видимому, нет до этого дела. В трущобах постоянного двора кто обратит на ребёнка внимание, если я за несколько дней потерял уже отзывчивость к страданиям ближнего? А здесь люди годы прожили в этой обстановке.

А детей-бродяжек у нас немало и притом бродяжек безнадежных. Такие дети, которые неожиданно остались совсем на улице, найдут себе место в нищенском комитете или в каком-либо приюте, а дети, имеющие попечителей или родителей вроде приведённой женщины, совершенно безнадежны! Никто не станет их *искать*, чтобы помочь, потому что и без поисков масса детей нуждается в призрании. Я помню, как года три тому назад, я обратился к нынешнему городскому голове В.А. Ратькову-Ражнову^[32], бывшему тогда председателем сиротской комиссии, с просьбой принять на попечение города бесприютного ребёнка, найденного мной на улице. Господин Ратьков-Ражнов вместо ответа подал мне пачку 300–400 прошений о принятии детей, отклоненных по неимению мест и средств.

– У ребёнка есть мать, – сказал он, – а мы не можем помочь даже круглым сиротам, остающимся на улице.

– Но у ребёнка мать – беспросыпная пьяница, не имеющая пристанища!

– Что делать, что делать...

Вот о таких детях я и говорю, как о безнадежных бродяжках, с будущим в виде арестантских рот. А ведь из них могли бы выйти полезные и честные граждане!

В подвалах Таирова переулка я видел хорошенького мальчика, самоучкой научившегося читать и писать. Этот мальчик служит при ночлежной квартире, исполняет все чёрные работы и не только ни от

кого ничего не получает, но голодает по несколько дней. У него такая страсть к учению, что он урывает время и ходит читать «хорошие книжки», развешанные в оградах церквей, выставленные в окнах магазинов, афиши в витринах, вывески и т. п. Бесспорно, его можно было бы пристроить куда-нибудь в типографию или библиотеку, если уже не в школу, но у него есть папаша, какой-то поденщик, пропивающий вечером то, что он достал днём.

Видел я девочку 10-ти лет, спящую вместе с ночлежниками и матерью. Девочка худенькая, слабенькая, голодающая, но настолько неиспорченная, что тайком ходит в церковь и молится, чтобы мамаша перестала пить.

Видел я в углу ночлежной комнаты на Петербургской стороне мать с четырьмя детьми, из которых один грудной, двое с английской болезнью^[33] (не ходят) и старшему шесть лет. Мать ходит в поденщину и тогда старший нянчит троих младенцев. В течение месяцев вся семья не видит горячей пищи и по праздникам только имеет чай... И это мать безнадежна, потому что у неё есть муж, являющийся иногда «расшибить и разнести».

Особенно трагично положение молодой женщины Ирины, живущий на чердаке у Нарвской заставы. Она прожила с мужем-чиновником одиннадцать лет, жила хорошо сравнительно; но муж завел себе другую женщину и поселил в своей же квартире. Издевательство над женой доходило до того, что её запирали в ящик комода (она маленькая, худенькая) на ночь. И всё это Ирина терпела, сносила. Наконец муж по требованию женщины выгнал её из квартиры. У неё всё забито и убито, она от долгого унижения и горя поглупела как ребёнок... У неё в мозгу не представляется даже возможности помочь себе.

– Да вы бы место нашли, ну хоть горничной...

– Но кто меня возьмёт?

– Идите жаловаться на мужа...

– Ай, что вы, они убьют меня!

– Но ведь вы так с голоду умрёте...

Плачет. И только...

Я слишком бы утомил читателей, если бы шаг за шагом стал описывать свои скитания по притонам и вертепом. Слишком всё это однообразно: та же грязь, вонь, духота, теснота и убожество... Дома Общества ночлежных домов^[34], разумеется, чище и благообразнее частных или постоянных дворов, но везде один дух и тип; бродяжки спят на голых нарах (или полу), подкладывая под голову свою верхнее платье (или полено). Разница в том, что Общество даёт пищу вечером и сбивень утром. Это, конечно, доброе дело, но далеко не все имеющие пятак попадают в дом Общества за отсутствием мест. Что бы не говорили наши моралисты о тунеядстве и безнравственности бродяжек, но право не грешно было бы для Петербурга иметь *даровой* ночлежный дом. Если преступник, каторжник получает пищу и ночлег, если злодеи и убийцы находятся в тепле и сыты, то неужели гуманно отказать в этой первой необходимости «честному» бродяжке только за то, что он не сумел достать пятачка или, доставь его, пропил. Не говоря уже о гуманной точке зрения, даже с полицейской, санитарной, гигиенической, с какой хотите точки зрения, нельзя оставить человека в мороз ночевать под мостом или в парке на скамейке, точно также как не следует плодить частные вертепы вроде описанных мной на Обводном канале.

Я, конечно, говорю далеко не новость, но повторить это ещё раз не мешает! Затем ещё одно замечание: почему Общество ночлежных домов устроило приют в глуши Песков, где этот приют в большинстве пустует, тогда как по всей Петербургской стороне, Выборгской, на Васильевском острове, в Гаване, Колтовской – нет никакого приюта, кроме омерзительных постоялок и притом без отделения для женщин? Точно также не имеет смысла распоряжение Общества о впуске ночлежников ровно в девять вечера, благодаря чему те, которые пришли в шесть, должны три часа мерзнуть у ворот, рискуя не попасть, потому что у ворот, например, Обуховского приюта всегда стоит огромная толпа и вход берётся с бою. Для уборки приютов вполне достаточно время с восьми утра до четырех-пяти вечера, а с наступлением сумерек следует пускать желающих, как принятого во всех частных притонах.

Кроме того, господам попечителям следовало бы строже смотреть за прислугой приютов, которая слишком уж бесцеремонно со своей публикой. Не следует забывать, что бродяжка – *платный* Посетитель.

Очень оригинален приют Общества дешевых квартир^[35]. О существовании этого приюта я и не знал... Между тем, это самый благообразный ночлежный дом и публика здесь даже более постоянна, чем жильцы квартир. Есть отставные чиновники, бедняки, представители свободных профессий и просто бродяжки, которые живут здесь 10–15 лет, ночуя изо дня в день. Несмотря на такое постоянство и определённое место жительства, все они считаются ночлежниками, живут без прописки в адресном столе, и найти их в столице невозможно. Эти жильцы свыклись со своим приютом, сроднились с ним, и чувствует себя совсем хорошо. Попасть сюда на ночлег мне не удалось, потому что все места постоянно абонированы.

Скажу несколько слов о бродяжках-коммерсантах. Эти бродяжки едва ли не самый антипатичный тип оборванца. Они наглы, циничны, порочны до мозга костей, ежеминутно готовы на всякую подлость и не имеют, кажется, ничего святого, потому что не стесняются ничем. Этих коммерсантов можно видеть продающих цветы и букеты около увеселительных садов, брошюры и книжонки «на крик» около вагонов конно-железных дорог, или ещё чаще на улицах с запонками, зонтиком, грошовой цепочкой, кружевами, носовыми платками, чулками и тому подобное. В последнем случае они продают обыкновенно вдвоём: один держит вещь в руках, а другой торгует её и даёт цену. Зонтик, например рваный, сшитый из кусков, с ломаными прутьями, цена ему красная двугривенный, а мнимый покупатель предлагает рубль.

– Нет, не могу, – уверяет продавец, – себе полтора стоит.

И клянётся, божится, всех святых перебирает...

– Ну ладно, рубль двадцать я дам.

В это время проходит кто-нибудь желающий в самом деле купить зонтик, слышит и видит, что «дают» уже рубль двадцать. Значит, надо прибавить пятак. Прибавляет и получает хлам, а бродяжки отправляются в соседний трактир, где у них приготовлен другой такой же зонтик. Пропив добычу, они опять выходят на панель и репетируют свои роли. Многие, разумеется, не знают об этой системе «подвода» и попадают в ловушку.

Конечно, это гроши, пустяки, мелочи, но жертвами заговора нередко делается тоже бедняк, для которого эти гроши дороги. Но этого мало: стоя на бойких улицах, рваные коммерсанты позволяют себе часто прямо непристойные выходки и крайне грубое обращение с теми,

которые не попали в их ловушку. На их жаргоне это называется «обложить» и я видел, например, на Садовой улице около Сенной одну даму, которую нахал за нежелание взять его кружева бранил такими словами, что бедная дама вся в слезах бросилась бежать.

Нечего и говорить, что при случае такой коммерсант «заедет» в карман проходящего и не задумываются пустить при случае в ход свою силу. Способ навязывания букетов бродяжками, бегущими за колясками, вызвал, помнится, даже полицейский приказ, но продавцы зонтиков, кружев, книжек и прочее право нисколько не лучше. По закону для торгов в разнос должна иметься у продавца особая жестянка, а для произведений печати ещё и бляха артели газетчиков. Без жестянки каждый обыватель может продавать только своё собственное изделие и только на указанных местах, в рынках. Между тем, торговцы, о которых я говорю, никаких блях не имеют и торгуют вовсе не своими произведениями, потому что у них нет ни кружевных фабрик, не зонтичных мастерских или садовых плантаций. Самый же способ продажи, по меньшей мере, непристойный. Один вид этих назойливых оборванцев, только что выскочивших из кабака и нарывающих «настрелять» на козушку, вызывает отвращение.

И кому же, спрашивается, нужна такая коммерция? Сколько бродяжек так «настреляет»? Почему не займется он настоящим трудом, если способен работать? Именно потому что он пропойца, трясущийся вечно с похмелья, с утра до вечера. Ему всё равно, сколько он заработает, рубль или пятак. Он и то, и другое пропивает без остатка. Запрети ему безобразничать на улицах, он добудет себе двугривенный, может быть, на бирже или на барке катателем, где, по крайней мере, принесёт пользу для дела.

Очень близки к этим же коммерсантам так называемые «тряпичники»^[36], «татары», «маклаки» с толкучки^[37], но их всё-таки причислять к бродяжкам нельзя, хотя и этим профессиям давно пора бы отойти в предание, так как они решительно не вяжутся с благоустройством города. Некоторые из последних ведут дело довольно солидно и прилично, но это ничтожное меньшинство, а в большинстве случаев «тряпичники», «татары», «маклаки» те же бродяжки и пропойцы, но беспокойнее и опаснее во многих отношениях. Впрочем, эта категория бродяжек выходит из области моей программы...

Дерябинские^[38] казармы!

– У меня к вам покорнейшая просьба, – обратился ко мне один из моряков 9-го флотского экипажа.

– Что такое?

– Теперь в публике сложилось представление, что «Дерябинские казармы» – притон бродяжек, забранных полицией... Между тем, в «Дерябинских казармах» кроме меня живёт еще несколько офицеров и целый экипаж матросов... Скажешь кому-нибудь: «я живу в Дерябинских казармах» и вызовешь улыбку, слушатели перешептываются, искоса подглядывают и замечают: «да неужели и он тоже там сидел»^[39].

– Ну? В чём же дело?

– Да в том, что «Дерябинские казармы» и теперь заняты 9-м^[40] флотским экипажем, а бродяжки помещаются только в двух сараях этих казарм.

С удовольствием исполняю желания господина мичмана и свидетельствую, что, действительно, «Дерябинские казармы» бродяжек не имеют ровно ничего общего с «Дерябинскими казармами» флотского экипажа.

Первые находятся на Большом проспекте против строящейся новой церкви^[41], а последние – на самом берегу залива в конце Большого проспекта^[42]. Первые представляют из себя два деревянных бараков со двором, вторые – изящное каменное здание с садом и роскошным видом на залив... Первые стоят заколоченными весь год и только летом полтора-два месяца наполняются бродяжками, а вторые служат казармами нижних чинов и офицерскими квартирами целый год. Первые хоть и принадлежат морскому ведомству, но во время наполнения их бродяжками имеют свою полицейскую администрацию, своего смотрителя, которого отнюдь не следует смешивать со смотрителем настоящих казарм.

Итак, «Дерябинские бараки» (я буду их называть бараками) представляют нечто весьма оригинальное и, если хотите, грандиозное: грандиозные размеры, грандиозное число бродяжек. Два барака поставлены под прямым углом, в одном (фасадом на Большой проспект) помещается администрация, служители; в другом – бродяжки. Оба барака холодные, легкой дощатой конструкции, с ординарными рамами, так что жить здесь можно только летом.

Впрочем, если бы не эта лёгкость постройки и такая вентиляция, что местами небо видно, то и не знаю, чем бы дышали эти 700 бродяжек, которых я застал здесь в период своего интервью. Мне говорили, что общее число бродяжек доходило до тысячи!

Тысяча бродяжек! В эту цифру не вошли бродяжки, имеющие исправные паспорта и не забранные при обходе чинами полиции. Точно также сюда не вошли и бродяжки, совершившие какое-либо преступление, потому что они сидят в тюрьмах, в доме предварительного заключения, или за прошение милостыни в нищенском комитете! Это только бедняки, лишённые приюта, средств к существованию и часто здоровья, а вместе с тем и паспорта...

Возраст, происхождение, общественное положение и прошлое этих бродяг разнообразны до бесконечности и никакая фантазия романиста не способна создать то, что здесь встречается в действительности... Рассказывать ли всё это? Может быть, при случае, в другой раз, а теперь отмечу одну общую черту «дерябинских» бродяжек. Три четверти их беспаспортные, потому что они лишены права жительства в столице и высланы административным порядком, то есть по этапу. Сегодня их доставили на родину и водворили, то есть сдали сельским властям, а завтра они отправляются обратно, уже на свой, а не на казённый счёт, питаюсь дорогой Христовым именем (при случае кражами и даже грабежами). Пришли в Петербург, скрываются по описанным мной трущобам и в первый же обход забираются в «Дерябинские» бараки. Через месяц они под конвоем водворяются на родину для того, чтобы через неделю снова прибыть в столицу.

Некоторые из деревенских обитатели пропутешествовали таким образом 30–40 раз и случалось, что они возвращались обратно с тем же самым конвоем, но только не в качестве арестантов, а свободными гражданами. Например, на пароходе их доставили в Шлиссельбург, сдали властям. Пароход идёт обратно, на нём возвращается конвойная команда и... бродяжки!

– Ты куда? – спрашивает конвоир.

– А тебе какое дело?

– Тебя выслали из столицы.

– А тебе что? Не ты выслал. Ты твоё дело сделал, сдал меня, и поезжай с Богом, а я тоже еду!

Трудно сосчитать, какие огромные суммы тратит казна на прогулки бродяжек. Их содержат, одевают, платят за провоз, за дорогу, посылают конвой, а всё это для того, чтобы бродяжка немедленно же вернулся в столицу и ждал здесь новый прогулки.

Спросят: зачем же бродяжка возвращается в столицу? А потому что здесь при всех строгостях, он прокармливается нищенством, мелкими кражами, а там, в глуши провинции, ему в буквальном смысле ничего есть. Тут в столице он «свой», имеет притоны и вертепы, где его принимают, а там ему некуда голову преклонить. Наконец, чем он рискует, попадая в «Дерябинские казармы»? Его кормят, поят, он сыт, в тепле, ему даже одежду дадут, в баню сводят. Худо ли ему?

Грандиозные величественные ворота, вроде Триумфальной арки с резными художественными украшениями, замыкают столицу со стороны Забалканского проспекта, оканчивающегося зданиями Новодевичьего монастыря и скотобойни. Когда-то за Московской заставой сейчас же начиналось пустынное поле и шоссе, идущее на Царское Село и далее хоть до Москвы. Но теперь здесь фабрично-заводское предместье, заселённое до размеров целого уездного города. Здесь улицы, дороги, дома, лавки, магазины и обилие всякого рода питейных заведений, этого неизбежного спутника рабочего и мастерового люда, пропивающего по субботам всю получку и нередко последнюю рубашку с плеч... Около версты, если не более, до Средней рогатки^[43] и Красного кабачка^[44] тянутся сплошные строения, а затем уже начинается голое шоссе с болотистыми пустошами, перерезанными лентообразными полосами рельс.

Приезжайте сюда рано утром, когда чуть светает, когда ещё не дымятся фабрики и спят рабочие... Приезжайте и станьте около Средней рогатки... Стойте и любуйтесь... Вы увидите целое полчище медленно движущихся бродяжек... Тут есть пожилые и совсем юные, есть старики и дети... Все ободранные, полуногие, в лохмотьях, некоторые убогие, с обезображенными лицами, с такими физическими недостатками, которые вызывают ужас и отвращение, раньше сожаления и сострадания. Всё полчище – голодное, измученное, изнуренное, истомленное. Некоторые 2–3 дня уже не ели и едва двигаются...

Куда же все они двигаются?

– В столицу.

– Зачем?

– За шубой!

??

– Да, за шубой. В прямом, а не переносном смысле. В статьях «Среди бродяжек» мы рассказывали о постоянных путешествиях, совершаемых бродяжками, которых высылают, а они самовольно возвращаются в столицу... Это своего рода «вечное движение», вечное брожение и скитание, стоящие очень дорого казне и не достигающая ровно никакого результата. Куда вы высылите колпинского или шлиссельбургского мещанина, когда в Колпине и Шлиссельбурге у него ни кола, ни двора нет, как нет ни занятий, ни работы, ни пристанища? Что он будет там делать по водворении? Петербург велик; здесь он прокормится как-нибудь подаянием или кражами, а в Колпино ему нигде куска хлеба достать. И он идёт обратно. Идёт сейчас же по водворении. Чем он рискует? Новой высылкой? Риск невелик!

Послушайте, что говорит бродяжка, самовольное вернувшийся *девятнадцатый* раз.

– Если бы нас не высылали, хоть с голоду помирай! Я нарочно не беру паспорта из волости, потому что с паспортом пропадешь. Без паспорта нас «заберут», посадят в тепло, обуют, оденут, а с паспортом хоть с голоду помирай, никому дела нет. Вот примерно теперь мы идём в Питер все без паспорта, все высланные. Значит, нас сейчас же заберут. И хорошо. Недели две мы посидим, отдохнём, поедим, поправимся, потом недели две нас поддержат в пересыльной; здесь каждому дадут по полушубку, тёплые валенки и отправят на родину этапом. Повезут в вагонах, Будут кормить дорогой, захвораешь – лечить станут. Чем не житьё? Доставят на место, спросят: «шубу хочешь отдать?» Зачем отдавать? «Нет, мол, не хочу». Ну и оставят тебе шубу. Эту шубу сейчас «по боку». Выручишь рублей пять и обратно в Питер, за другой шубой. Я вот шестнадцать штук получил. Только и живу этим. Летом нам вместо шуб армяки дают, те дешевле, а тоже хорошие, новые армяки.

– Как же тебе не стыдно? Отчего ты не работаешь?

– А где я работать буду? Паспорт выправить – нету денег, да с паспортом потом находишься. Мест теперь мало, работы зимой почти

нет никакой. Хоть с голоду помирай, а у меня ещё правая рука не действует, бракуют при найме.

Число задерживаемых в Петербурге нищих достигает громадный цифры — около десяти тысяч человек обоего пола в год. Надо прибавить столько же, если не более, задерживаемых за беспаспортность. И всё это количество **высылается**, получая полушубки, армяки, сапоги, валенки и пр. Мало того, всё это количество содержится на казённый счёт, и затем перевозится, конвоируется, водворяется и т. д... Если скромно определить стоимость содержания, отправки и одеяния каждого в 20 рублей (полушубок 7 рублей, перевозка 4 рубля, содержание в месяц 7 рублей, содержание конвоя, места заключения и пр. 2 рубля) получается сумма четыреста тысяч рублей ежегодного непроизводительного расхода. Повторяем, этот расчёт сделан на основании официальных данных самым скромным образом. Сюда не вошли подаяние частных лиц, милостыни нищим, не пошли расходы по охранению общественной безопасности от бродячего элемента. Люди компетентные доказывают, что бродяжки стоят Петербургу не менее миллиона рублей в год и это вполне достоверно. Итак, миллион ежегодного непроизводительного расхода! Миллион, растрачиваемый на полушубки, арестантские пайки и подачу грошиков, без всякого улучшения экономического состояния высылаемых. Из миллиона никто ничего не выигрывает, никто ничего не получает, кроме неприятностей, хлопот, возни и греха!

Не пора ли подумать об устранении этого ненормального положения? Не пора ли позаботиться об осуществлении давно желаемого и необходимого для столицы **Рабочего дома**, который должен заменить собой **высылку**. Рабочего дома не карательного, не арестантского, а трудолюбивого, то есть такого, где каждый неимущий мог бы за свой труд получить плату и на эту плату поддерживать существование до приискания места, службы, постоянной работы или, в крайнем случае, вакансии в богадельне. В такой дом надо не сажать, а только пускать. Не за наказанием, а для поощрения. Рабочий дом может состоять в ведении полиции, но отнюдь не должен иметь ничего общего с «Дерябинскими казармами» или Казачьим плацем. Тогда он будет достигать цели и будет популярен как среди бродяжек, так и среди благотворителей.

— А средства? — спросит читатель.

Сооружение Рабочего дома на окраине города по барачной системе на полторы-две тысячи человек обойдется недорого. Город даст землю безвозмездно. Постройка бараков будет производиться при содействии благотворителей. Кроме того, в распоряжении строителей могут быть суммы, расходуемые теперь на бесполезную пересылку этапным порядком бродяжек, а также получаемые за работу обитателей Рабочего дома. Сам город может много дать работы, какова: очистка улиц, площадей, вывозка снега, ремонт зданий и т. п. Город уплачивает подрядчикам около триста тысяч рублей в год – эти деньги целиком могут пойти в кассу Рабочего дома. Кроме Рабочего дома хорошо бы где-нибудь на Кавказе, в Ашхабаде и т. п. устроить колонию для «обрусения» края и водворить туда бродяжек, дав им землю и заставляя работать. Такие колонии принесли бы государству немалую пользу. Отчего в самом деле не подумать бы на эту тему?

2. На извозчицких козлах – трое суток в роли извозчика

*Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное*

Русский народ^[45].

*Он учил нас:
В лохмотьях нищеты живую душу
видеть,
Самоотверженно страдающих любить,
И равнодушных ненавидеть!^[46]*

1

Я преобразился в извозчика бляха № 3216 и трое суток (с перерывами, конечно) ездил по городу...

– Зачем? – спросит читатель.

Чтобы близко ознакомиться с бытом и условиями промысла наших извозчиков, а затем поделиться своими наблюдениями и впечатлениями с читателями. В Петербурге до двадцати тысяч извозчиков, услугами которых мы пользуемся ежечасно, досадуем и браним их, а между тем мы совсем незнакомы с условиями их быта, и, следовательно, не можем предложить никакой разумной меры для упорядочения крайне беспорядочного промысла. «Интервью» по приходу и передним знаменитостей и высокопоставленных лиц приобретают у нас права гражданства. Почему же не сделать «интервью» к извозчикам, которые представляют из себя группу в

десятки тысяч человек русских людей, живущих особенной оригинальной жизнью, имеющих свои нужды, невзгоды, отрицательные и положительные стороны?

Извозчик, во-первых, человек, а во-вторых, человек, нуждающийся в интервью журналиста гораздо больше заезжей знаменитости или случайного героя дня.

– Но к чему же было наряжаться извозчиком?

Я пробовал познакомиться с извозчицкой жизнью без «маскарада», но вполне безрезультатно. Извозчик-хозяин боится, не доверяет и ничего не говорит, извозчик-рабочий не умеет ничего рассказать по своей неразвитости, близкой к дикости, а извозчицы притоны скрывают всё при первом появлении свежего человека. Оставалось сделать одно – превратиться на неделю самому в извозчика, что я и сделал. Достал лошадь, дрожки, армяк, шляпу, кушак, нарядился, сел на козлы и поехал. Сажал седоков, стоял на углах, пил чай в трактирах: «Персия», «Батум», «Кавказ», «Венеция», «Крым» и т. д.; требовал селянки, закуски, завязывал разговоры, знакомства, спорил с городскими, дворниками, чуть-чуть не попал в участок, получил по своему адресу немало ругательных эпитетов; посетил несколько извозчицких общежитий, познакомился с хозяевами, узнал разные «пружины» промысла и т. д., и т. д.

Но позвольте рассказать все по порядку.

Сначала я хотел дать «дневник извозчика», т. е. описать свои путешествия шаг за шагом, но такой порядок был бы несколько скучен: во первых, по обилию излишних, малоинтересных подробностей; а во вторых, потому, что мне пришлось делать много повторных визитов; например, приезжаешь в трактир невовремя, когда никого нет, никакой «картины», поворачиваешь оглобли и приезжаешь в другой раз. Поэтому я постараюсь при возможной краткости дать изложение наиболее характерных сторон быта и условий жизни петербургского «желтоглазого гужеда»...

Было 10 часов вечера 17-го июня 1893 года, когда я первый раз выехал на козлах. Но читателям, быть может, будет не безынтересно узнать, каким образом я добыл закладку. Вот как. Сначала я хотел просто поступить к одному из хозяев работником; достал русские сапоги, рубаху, штаны, фуражку и прихожу на Обводный канал. У хозяина 80 закладок; мужичонка неграмотный, весь заплывший

жиром, грубый до невозможности. Встретил на дворе. Я скинул фуражку, говорю... Ни звука... Простоял без фуражки с час, опять повторил просьбу:

– Ты из каких? – произнесла туша, не поворачивая головы.

– Калужский. (Огромное большинство извозчиков из трёх уездов Калужской губернии).

– Ездил?

– Ездил.

– У кого?

– На своей...

– Пропил?

– Я не пью...

– Поди вымой шарабан...

– Это зачем же?

– А вот посмотрю, как ты действуешь...

– Сначала подрядите, хозяин...

– Дурак, а ещё в извозчики просишься! Кого я рядить буду, коли не знаю, что ты умеешь? Ну, скажи, где Сукин переулок^[47]?

– Не знаю...

– Ну, так убирайся со двора. Какой ты извозчик? Заводи опять свою закладку; нам таких работников не надо...

Видя, что в работники мне не поступить, я отправился к другому хозяину уже «барином». Сторговал полную закладку с лошастью посуточно, но без работника, сказав, что у меня свой кучер есть. Сошлись в цене, и в назначенный день лошадь была подана ко мне на двор. Я перерядился и выехал...

Вечер был дивный, в воздухе приятная прохлада после вчерашнего ливня, а на душе... на душе у меня точно кошки скребли. Как только я поехал по улице на извозничьих козлах, я сразу почувствовал себя лишённым почти всех прав состояния! Я не смею сойти с козел, под страхом наказания; не смею зайти, куда бы хотел, потому что везде меня, как парию, выгонят в шею. Дворники, городской, каждый прохожий – все моё «начальство», которое мне приказывает, величаво покрикивает на меня, иногда ругает, всегда говорит «ты» и, чего доброго, наложит по шее. На всём пространстве великой столицы у меня, как извозчика, нет никого, кто бы обратился ко мне по-человечески, не говоря уже о какой-либо ласке или уважении. С козел

я могу сойти только в... извозчиьем трактире, но и там для нас почему-то «чёрная», т. е. отвратительно грязная половина, точно извозчику непременно нужна грязь. Не только в чистый трактир меня не пустят, но и в извозчиьем трактире не пустят на чистую половину.

– Не к рылу, – говорит половой.

«Рыло»! У извозчика не лицо, а рыло, потому что он и не человек, а извозчик.

– На угол Невского и Морской пятиалтынный! – раздалось над моим ухом.

Я обернулся, какой-то военный.

– Пожалуйте!

Седок вскочили в дрожки, а я задёргал вожжами. Лошадёнка неважная.

– Погоняй, извозчик! – раздаётся за моей спиной.

Я стегнул и «занукал». А самому так и кажется, что получу сейчас в спину тумака. Вспомнилось, как я тоже также кричал однажды на извозчика, который тащил шагом и потеряв терпение ткнул его палкой в спину; смотрю после, а извозчик-мальчишка горько плачет, я попали ему верно в спинной хребет. Обыкновенно мы и не замечаем, кто сидит на козлах, «извозчик» нечто бездушное, нарицательное.

Вот и Морская.

– Налево к подъезду.

– Тпру!...

– Но!...

Мне как-то ужасно неловко было протягивать руку.

– На же, тебе говорят, – закричал седок и я, инстинктивно протянув руку, почувствовал в ней монету.

Философствовать по поводу «подачки» мне не пришлось, потому что с середины улицы раздалось повелительное:

– Отъезжай прочь!

Обернувшись, я увидел величественную фигуру моего высшего начальника – городского, который сердито делал жест рукой, пояснивший его приказание. Я поспешно задёргал вожжами и уронил свой пятиалтынный... Доставать было невозможно, пришлось бы возиться, искать, а тут, чего доброго, «номер запишет» и плати штраф 2–3 рубля. Свернул на Морскую и «причалил» к берегу, но сейчас же послышалось грозное «прочь!». Дворник с бляхой на груди бежал уже

от ворот ко мне, махая руками. Раньше я как-то не замечал дворников и не обращал даже внимания на то, что они «при цепях», а тут фигура моего «непосредственного начальства» предстала предо мной во всём величии. Ведь он может почти распорядиться моей судьбой: отправить в часть, записать номер и т. д.

«Путаться» с седоками по улицам мне в первый день было некогда. Пробило уж 11-ть. Надо ехать скорее в извозчий «Дюссо»^[48], знаменитый, многопрославленный «Батум», где торговля разрешена до 12-ти часов вечера. Оставалось меньше часа, я приударил лошадёнку и покатил на Загородный проспект.

– Ты куда, чай пить? – окликнул меня на Гороховой порожний извозчик.

– В «Батум», – ответил я.

– Пойдём вместе в Эртелев^[49], там наши все собираются.

– Нет, мне в «Батум» надоть.

– Ну, пойдём в «Батум».

Мой коллега поравнялся с моей закладкой и ахнул.

– Да что это ты! Аль в больнице был?

Я не сообразил, чего он так удивился.

– А что?

– Как что, кто же это тебя обрил? Так ведь ездить нельзя, какой же это извозчик бритый!

В самом деле, все извозчики в Петербурге носят длинные, прядями висящие волосы с подбритым затылком. В жаркие дни эти пряди увеличивают только тягость извозчийей работы, а в обыкновенное время разводят мириадами насекомых. Я не ошибусь, если скажу, что у каждого извозчика на голове столько же «обитателей», сколько волос, и если бы «пряди» приказано было остричь, то многие миллиарды «жизней» оказались бы загубленными.

Вот и «Батум»... Что за оказия?!... Мне приходилось как-то раньше завернуть в «Батум» и я нашёл, что это чистенький трактирчик, средней руки, с очень приличным садиком и порядочным буфетом. Я не мог и предположить, что это «Извозчий Дюссо», потому что не только там не было никаких извозчиков, но, напротив, публика всё чистая, степенная... Увы, оказалось, что раньше я попадал в «Батум» с улицы, а теперь мы въехали во двор...

На просторной площадке, уставленной козлами, стояло уже десятка три-четыре извозчичьих закладок. Лошади жевали, туча голубей ворковала... Мир и тишина царили на дворе... Среди пролёток ходил рослый мужичок и заботливо посматривал на закладки; здесь он прятал кожу с сиденья дрожек, там поправлять торбу у лошади, а, завидев нас при въезде во двор, пошёл навстречу.

Вот первый, последний и единственный раз, когда я, как извозчик, встретил радушный приём и человеческое отношение! Здесь я почувствовал себя гостем, равным в правах, почти как дома, без всякого «начальнического» ко мне отношения. Мужичок этот, по имени Сергей, с открытым, добродушным, сильно загорелым лицом, протянул мне свою мозолистую руку и спросил:

– Новичок?

– Новичок, – ответил я, – второй день езжу.

– На своей?

– Нет, у хозяина.

– Давай, земляк, сюда, здесь свободнее. Постой, я тебе помогу, вот так; кожи есть? Надо спрятать, а то, случается, таскают извозчики друг у друга, есть ведь озорники.

Сергей уставил мою закладку, сам разнуздал лошадь, привязал её к козлам, и мы с попутным извозчиком пошли чай пить.

Никогда не забыть мне этого «антре»^[50]! После я по привычке к притонам и входил даже развязно, но первый раз меня так ошеломило, что я закачался как пьяный. Нельзя ни за что поверить, чтобы чистенький и приличный «с улицы» трактир в доме миллионера Целибеева^[51] мог иметь такую ужасную обстановку «со двора»!

По удушливой, смрадной лестнице мы попали в самый «Дюссо»...

Вот какая картина развернулась передо мною:

Анфилада комнат, окутанных густой махорочной синевой^[52]. Все комнаты переполнены извозчиками, расположившимися вокруг столов, так что почти нет проходов. На первом плане плита с кипящими сковородками и чайниками. В центре бильярд, около которого ходят с киями пьяные уже извозчики. Гул от говора десятка голосов покрывает отдельные крики:

– Пару пива!

– Косушку на двоих.

– За семь чаю!

- Четвёрку в угол...
- Режу в среднюю!
- Селянку^[53] за пятнадцать...
- и так далее...

Среди столов мелькают фигуры половых, разносчиков, булочников и других «промышленников», питающихся около извозчиков. Столы вдоль стен и посредине комнат наполнены бутылками и сковородками. Атмосфера так насыщена, что раскрытые окна не освежают воздух; чувствуется букет из махорки, постного масла, пота, сивухи и ещё чего-то...

Меня затошнило и в глазах потемнело... Первая мысль была бежать на воздух, но мой коллега, с которым я приехал, нашёл уже у столика два места и кричал:

- Стриженный извозчик, иди сюда, иди скорей, пока не заняли...

Я поспешил на зов и подсел, почти упав на стул... Стол оказался накрытым красной скатертью, которая вся залита жиром, а концы засморканы... Опять меня затошнило...

– Ты что будешь? – обратился ко мне коллега, – Съедем по селяночке на сковородке?

- Нет, ты ешь, а я чай выпью.
- А водки?
- Я не пью...
- Что, верно, выручки ещё нет?
- Нет, так не пью.
- Ну, а я выпью... Эй, служающий!

Маленькое замечание: извозчицьи дворы рассчитаны на известное число лошадей, а комнаты чёрных половин для людей не имеют никакой нормы. На воротах трактира прибита дощечка: «столько-то колод на столько-то лошадей», но никто не имеет ввиду, что при каждой лошади есть человек, которому тоже ведь нужны место и воздух. Если нельзя «набить» двор лошадьми, то почему можно «набить» низкие, тесные комнаты извозчиками как сельдями в бочонке? Почему? А ведь мы в эту минуту сидели буквально друг на друге и при раскрытых окнах нельзя дышать! А зимой, когда окна закупорены?

Очень скоро нам подали косушку, два стаканчика, сковородку и «пару чая». Слуги очень предупредительны со своими гостями и

бегают без передышки. Коллега мой принялся за выпивку и закуску, а я сказал, что подожду его пить чай и принялся наблюдать.

Черные от загара и грязи физиономии извозчиков в большинстве какие-то сонные, припухшие и совсем безжизненно-равнодушные, невозмутимые, флегматичные... Фигуры все сохраняют тот же вид, как на козлах. Несмотря на жару и духоту, никто не расстегнулся, все сидят в кушаках и наглухо закрытых армяках. Почему? А потому, что устройство армяка и кушака требует не менее четверти часа на облачение, в виду чего извозчики и предпочитают париться, чтобы после не возиться с застёжками, ремешками, кушаками и т. п.

Все сидящие, очевидно, одна семья, близкие товарищи; или земляки, или работники одного хозяина. Только мы «чужие» с моим коллегой, который ездит в Эртелев переулок, где у него тоже своя семья. Беседа мирная. Некоторые пьют совершенно безмолвно, другие говорят, спорят, кого-то ругают. За одним столом только царило оживление... Там один клал под ладонь монету, другие угадывали «орёл или решётка». Угадавший выигрывал и в свою очередь «подносил»... Делалось это секретно и, как только слуга приближался, руки убирались со стола...

Сильно шумели у бильярда, где на «полудюжину пива» шла игра в пирамиду... Игроки едва ходили уже вокруг бильярда; исходом партии интересовалась вся комната. Трудно придумать что-либо более безобразное и безнравственное, как этот бильярд в центре чёрной половины. В центре, конечно для того, чтобы все находящиеся во всех комнатах могли видеть и любоваться зрелищем. Посмотрит, посмотрит, да и сам захочет сыграть. Смотришь, вместо пол часа, компания просидит до запора трактира и спустит здесь всю свою выручку.

Но помимо «центральности», самое присутствие бильярда на извозничьей половине является неуместным. Помилуйте – приехал извозчик поесть, покормить лошадь, отдохнуть, а тут ходи пьяный вокруг бильярда и спускай хозяйскую выручку. Да разве извозчик в состоянии пользоваться таким «развлечением», которое помимо проигрыша стоит 40 копеек в час «за время». Ниже я расскажу «экономическое» положение наших извозчиков и читатель легко убедится, что без «разорения» извозчик даже в бабки играть не может, а не только на бильярде, да ещё в трактире с крепкими напитками.

Время близилось к запору и в трактире становилось все душнее и смраднее. Прибывавших извозчиков не было, но зато зашли какие-то подозрительные личности из безместных рабочих, отставных газетчиков без блях, факельщики, подмастерья... Весь этот люд группировался около бильярда и ждал очереди «погонять шаров». Многие были знакомы с извозчиками и образовывали общие компании.

Я стал ближе присматриваться к своим коллегам и прислушиваться к их разговорам... Поразительно мало похожи извозчики на людей! Как и почему вырабатывается такой тип чего-то среднего между скотом и человеком, мы увидим ниже, но положительно извозчика нельзя считать настоящим человеком. Судите сами: в этой обстановке, где у нормального человека спирает дыхание и тошнит от отвращения, извозчик чувствует себя как рыба в воде, доволен и счастлив; его руки, лицо покрыты толстым слоем грязи и пыли, образовавшим твёрдую кору, которую он по утрам только обмачивает водой, отнюдь не употребляя мыла; даже раз в месяц или ещё реже бывая в бане, он не решается отскабливать свою грязь, боясь с ней расстаться. Стоит извозчику открыть рот, как он извергнет отборную площадную ругань, без всякой злобы или сердца, без нужды, просто по привычке, шутя, любя, даже из ласки. Неудивительно, что когда седок или «начальство» ругает извозчика, то он и ухом не ведёт, точно это не касается вовсе его.

Далее: потребности извозчика ограничены в такой степени, что не всякое животное могло бы существовать в подобной обстановке; от 16 до 19 часов он «ездит», т. е. сидит на козлах и в трактирах; остальные 5–8 часов спит, не раздеваясь «дома», т. е. ткнувшись где-либо на сеновале, на полу и т. п. Извозчик не знает храма Божия, даже в Светлую заутреню; не знает другого отдыха, кроме «Батума» или «Персии», не имеет «своего» угла, даже своей кровати. Извозчик так зарос грязью и вонью, что он ко всему не чувствителен и не признаёт ни жары, ни холода, не знает ни простуды, ни заразы; от него всё — как горох об стену...

Лошадь, например, день ездит, а другой стоит; извозчик же ездит все 365 дней и в праздники должен ещё больше ездить, потому что должен больше привезти выручки...

Питание извозчика заставляет только удивляться прочности и крепости его желудка. Вот мой коллега выпил косушку, облился селянкой и так благодушно смотрит на меня:

– Ну, стриженный, выпьем что ли ещё баночку?

– Да право я не пью...

– Полно, нынче курица пьёт...

– Коли не пью, не могу, что ж делать!

– А я выпью ещё баночку...

– Пей...

– Эй, служающий!

Подбежал мальчик-ребёнок, на вид лет 10–11; умненькое личико «парнишки» было бледно, с синими кругами под глазами... Несчастные эти дети в «ученье» на извозничьих половинах трактиров! Хорошую науку и школу они пройдут, бегая среди этих столов ежедневно с 7 часов утра до 12 часов ночи (семнадцать часов).

– Тащи живо ещё такую! – приказал мой коллега, давая ему косушку.

– А закусить что?

– Хлебца... Мигом!

– Ты у кого работаешь? – завязал я разговор.

Он назвал.

– Хороший хозяин?

– Ни-че-го. Наш-то ещё ни-че-го, у других куда хуже.

– А что?

– Да вон С – ь, тот вечером хлеб запирает, у него, вишь, 80 рабочих, так много хлеба идёт...

– Как запирает?

– Как, как?! Что ты маленький, что ли! Замком запирает.

После я узнал, в чём дело.

Извозчики живут у хозяев на их харчах, получая 8 руб. в месяц жалованья и, конечно, квартиру, т. е. право ткнуться после езды где-нибудь «соснуть». Харчи состоят из щей или похлёбки, получаемой извозчиками утром перед выездом; затем, возвращаясь ночью, некоторые находят хлеб «незапертым» и закусывают краюхой на сон грядущий, большинство же хозяев запирают хлеб, и извозчики должны

ложиться голодными. Это их больше всего обижает! Они не претендуют на то, что им не полагается ни кроватей, ни белья, ни ящика для вещей (и вещей-то у них никаких нет), ни отдыха или смены, а вот «хлеб запирают» – это обидно!

– У вашего сколько закладок? – начал опять я прервавшейся было разговор.

– Сорок залишком^[54].

– А ночных?

– Десяток. Да ты что любопытствуешь? Поездишь – сам узнаешь.

После второй косушки коллега мой стал совсем неразговорчив; и без того не красноречивый, он стал говорить с такими «прибавлениями», от которых хоть уши затыкай.

– Пора ехать, – поднялся я.

– А чаю что ж ты, так и не пил?

– Не хочется.

– Не-хо-чет-ся! – передразнил он. – Уж ты и извозчик, одно слово, мораль одна!

– Ладно, не ругайся, я за все заплачу здесь.

– За все?! Да ведь ты ничего не пил, не ел.

– Сочтёмся...

– Ой, что-то ты извозчик сомнительный какой-то: и стриженный, и руки не как у всех...

– Да много ли я езжу?

– Слышь, стриженный! Не моги! Ежели ты свару устроишь, не быть тебе живому!

– Ты, кажется, совсем пьян?

– Знаем, знаем, я уж видел, что ты...

– Брось ругаться, поедem.

– Нелю-бишь! Вот кабы у нас в Эртелевом чай пили, я бы тебя пощупал, что ты за извозчик такой есть.

– А тебе что?

– Как что! Нешто приятно будет свара.

Я заплатил 42 копейки слуге, и под предлогом «лошадь посмотреть» заблагорассудил удрать подобру-поздорову.

«Свара» было для меня новое слово. Только после своего интервью я узнал, что «свара» на жаргоне извозчиков означает полицейскую тревогу, обыск, протокол и всё прочее. Например, есть извозчищи

трактиры без крепких напитков, торгующие всю ночь, где в чайниках вместо кипятку подают 40-градусную «воду»... Делается это под великим секретом и только подаётся испытанным старым извозчикам, но иногда слухи доходят до полиции и делается «свара»...

Странно! Сами извозчики боятся «свары» больше хозяина заведения! По их мнению, хозяин – «жертва», страдающая ради их интересов. Ну, что он сделал? За что на него беда обрушилась? Почему «Батум» торгует водкой, а другой не может? А водка кому нужна? Ведь им, извозчикам! Отсюда прямой вывод, что хозяин страдает ради своих гостей-извозчиков, что он бедненький, его надо выручить, и сами извозчики будут клясться, что никогда им тут водки не давали и даже просить запрещали.

Выехав со двора «Батума», я вздохнул свободнее... Ночь была тихая, тёплая... Я завернул к Фонтанке, затпрукал, занукал, задёргал вожжами и лошадёнка поплелась...

3

– Куда? – завернул по Фонтанке, к Чернышеву мосту...

– Извозчик!

Обернулся, у подъезда конторы «Стрекозы»^[55] стоит присяжный поверенный Г – ъ.

– Куда прикажете?

– Угол Ивановской и Кабинетской^[56] – пятиалтынный^[57].

– За гривенник^[58] пожалуйста.

– ?!..

– Больше не стоит.

Почтенный юрист сел, а я задёргал вожжами.

– Скажи, извозчик, почему ты гривенник берёшь, когда я даю пятиалтынный?

– Я беру столько, сколько считаю для себя выгодным, а вот скажите, на каком основании вы мне говорите «ты», когда я вам говорю «вы»? Вам, интеллигентному человеку, присяжному поверенному, казалось бы, следовало знать приличие...

– Ты откуда знаешь, что я присяжный поверенный?

– Знаю, хотя брудершафта с вами не пил...

– Ну, ну, ты не забывайся. Мы говорим извозчикам «ты», потому что это так принято.

– Это кто «принял»? А если мы, извозчики, «примемся» «тыкать» седоков, вам это понравится?

– Ты ерунду несёшь. Извозчик и не поймёт, если с ним вежливость соблюдать...

– Выходит, значит, что не вы, господа, учите нас, извозчиков, приличиям, а мы, извозчики, поучаем вас, даём уроки грубого обхождения! Т-аак!...

– Ты, я вижу, не служил ли в лакеях у кого-нибудь из наших?

– Видно, что вы, несмотря на своё образование, всё-таки нуждаетесь в лакейских наставлениях и извозчичьей философии.

– Налево к подъезду!

На том наша беседа и окончилась. Г – ь достал гривенник, долго его разыскивая в кошельке, и побежал в подъезд.

«Куда теперь»? – думал я.

Поехал по Загородному проспекту и по Владимирской к Невскому... Народу много, но публика больше «пешая»... Дамы прогуливаются, кавалеры их догоняют. Извозчика «не требуется». Я причалил было к Палкину^[59], но не успел ещё остановиться, как дворник бросился на меня:

– Пошёл прочь!! Отъезжай, тебе говорят!

Извозчики смеются. Их дворник не гонит... Почему? Это им принадлежащие места, они постоянно здесь стоят по особому соглашению с господином швейцаром Палкина и господами дежурными дворниками. Вероятно, город, отдающий в некоторых местах стоянки для извозчичьих лошадей, не получает и десятой доли того, что платим мы, извозчики, такому господину швейцару. И расчёт прямой. Выйдет «парочка» из кабинетов, понятно, позовёт извозчика, а тут все «свои», меньше «бумажки» ни с места. Швейцар подсаживает, дворник без шапки стоит, извозчик «сиятельством» величает и берут с «парочки», что хотят; ведь не торговаться же кавалеру, заставляя даму ждать, тем более, что все извозчики здесь «без конкуренции» и не уступают.

Знай кавалер о заговоре, знай он, как грозно гоняют здесь с угла «чужих» извозчиков, он прошёл бы несколько шагов и, вместо рубля,

заплатил бы двугривенный; но кто же это знает? И я теперь только познал эту «тайну».

Потерпев фиаско у Палкина, я причалил было к гостинице Ротина^[60] (vis-a-vis), но и там та же история с дворниками: «прочь!» И никаких разговоров! Места порожние есть, и право стоять здесь есть, а все-таки «пошёл прочь»...

– Господин дворник, да ведь место есть, почему же мне нельзя здесь постоять? – взмолился я.

– Рылом не вышел, – хладнокровно отвечал он и сделал угрожающий жест рукой.

Я переехал Невский и хотел остановиться на одном из углов Литейной^[61]. Здесь уже не дворники, не городовые, а сами извозчики – лихачи осыпали меня площадною руганью, и встретили хохотом моё намерение стать.

– Каков выскочил! Для него тут угол припасён?! Ах ты...

Разговаривать было рискованно, потому что эти извозчики не сидят на козлах, как мы «желтоглазые», а важно разгуливают по панели и при малейшем протесте засучают рукава...

Эти углы имеют свою историю и такие желтоглазые парии, как я, получали здесь нередко жестокую взбучку за дерзостное покушение остановиться у панели. Вот вкратце эта история. Городское управление не сдаёт здесь никому мест для стоянки, но лихачи на резине по особым соглашениям с господами городовыми и дворниками, устроили монополию и завладели местами. Стоянка тут бойкая. Напротив «Палкин» и две гостиницы с номерами для приходящих или приезжающих с островов; кругом богатые фирмы и квартиры. Есть и постоянные пажоны, феи и дамы сердца... Сначала пообедают у Палкина, после покатаются на лихаче и... тихая пристань в «Славянке»^[62] или «Москве»! Или так: выйдет парочка из гостиницы, потом на острова, ужинать к Палкину и под утро лихач развезёт по домам... Во всяком случае, лихач также необходим тут, как кабинет «Палкина» и номер в «Москве» или «Славянке».

Каждый лихач имеет своих постоянных «гостей» и знает все их интрижки; знает кто, куда и когда ездит с своими дамами; чужие жены с «пажонами», а солидные супруги с феями. Лихач знает – когда «подать», где «подождать» и куда «доставить»; знает сколько сынок «выбирает» по субботам из тятенькиной выручки или приказчик

сколько спустил за голенище хозяйской кассы. Некоторые лихачи идут далее и оказывают своим седокам существенные услуги по части знакомства и сокрытия концов в воду; они при случае могут достать деньжонок, оказать кредита.

Нечего и говорить, что лихачи отлично работают, (хотя иногда стоят без почину 3–4 дня), и наживают чуть не состояния. Например, рассказывают про одного «пижона», который спустил около 200 тысяч рублей в одно лето, при постоянном посредничестве лихача Максима. Пижон теперь нищенствует, а лихач величается «Максим Митрич» и имеет 40 закладок. Другой лихач Терентий со времён Зингера^[63] сделался «хозяином», состоя поставщиком обоих сыновей знаменитого банкира. Он и теперь поминает «Антон Антоновича», сидящего уже 4 года в доме предварительного заключения.

И вдруг в это гнездо извозничьей аристократии вздумал залезть какой-то желтоглазый, ссылающийся на своё «право», как будто у извозчика есть какое-то «право» и какой-либо путь доказать это право!

На самом деле смешно, и резкий хохот лихачей долго звенел у меня в ушах.

4

Довольно-таки безобразную картину представляет Невский проспект ночью, с высоты извозничьих козел! Остановившись против Гостиного двора, я стал наблюдать. Было совсем светло... Народ двигался непрерывной волной, но что это за народ?! Почти исключительно «отравленные», с бессмысленными взорами, нетвёрдыми шагами, дикими выходками, неприличными телодвижениями, непристойными окликаками... Поминутно столкновения, препирательства, брань, ругань... «Отравленные» не отдают себе отчёта в том, что делают. Один сбивает палкой шапки с извозчиков и дворников, а если выходит препирательство, лезет в карман за мелочью. Другой хватает встречных дам и говорит плоскости, третий пишет зигзаги по панели и бормочет мотив из «Анго»^[64]. Вот идёт бывший товарищ старшины одного сословия,

человек лет за 60, совершенно пьяный, две девицы в красных кофточках и шляпах-фурор ведут его под руки.

– Извозчик, на Знаменскую!

– Проходите, – отвечаю.

– Ах, ты... (непечатная брань).

Вот гласный Думы, даже оратор, с глазами осовевшими беседует с девицей под вуалью и с длиннейшим шлейфом.

Разговор начинается шёпотом, девица берёт гласного под руку и идут ко мне.

– Проходите, проходите, не поеду...

Шагает репортёр Р – ь, догоняет кого-то. Я его окликнул. Обернулся, посмотрел и хочет идти дальше.

– Да подойдите сюда, – кричу я с козел.

Подошёл и не сразу узнал. Поговорили, посмеялись... Два франта захохотали, увидав, как «цилиндр извозчику руку подаёт».

– Вот так барин, а ещё в цилиндре, – гогочут франты, указывая палками на Р – ва.

Число «девиц» велико и не меньше разгуливает их «спутников» в виде сутенёров.

Устраивается охота за пьяными и полупьяными мужчинами, выходящими из ресторанов Лейнера, Лежена^[65], Пассажа^[66] и др. Девицы сговариваются с сутенёрами на счёт «охоты» и берут в соучастники извозчиков. Ко мне, например, подошли две павы со шлейфами и сделали такое приблизительно предложение:

– Ты нас катай по Невскому проспекту. Если к нам пристанут кавалеры и мы пересядем к ним в экипаж, то тебе скажем заплатить полтора рубля, будто ты нас из «Аркадии^[67]» везёшь. А если никто не пристанет, ничего не получишь – все равно так ведь стоишь.

Этот «заговор» девиц с извозчиками против «замарьяженных», очевидно, весьма распространён, потому что по Невскому проспекту катается немало таких заговорщиков.

Уже солнышко появилось на горизонте и осенило своими лучами «пьяный» Невский. В окнах ресторанов свет горящих ещё ламп встретился с лучами солнца. На утреннюю прохладу начавшегося дня несутся из раскрытых окон голоса опьяневших посетителей, звуки органов и винно-табачные клубы, отравляющие воздух. Тошно и противно смотреть на эту картину бесшабашного, безрассудного и

безобразного разгула, уменьшающего здоровье, силы людей, истребляющего деньги и превращающего человека в скота! С каждым часом приближающегося дня, картина становится полнее: девицы делаются все решительнее и нахальнее, прямо хватая проходящих «отравленных». «Отравленные» чувствуют себя все хуже и хуже, некоторые растягиваются на панели, другие садятся на тумбы, ступеньки подъездов... Костюмы растерзанные, шляпы измятые, ноги в грязи, физиономии измученные, страдальческие, хотя стараются делать улыбку, чувствовать веселье, удовольствие... Ведь не по обязанности же они напились и дежурят теперь на панели?!

Один франт с цилиндром на затылке стал на тумбу и кричит петухом. Дворник пробует его усовестить, он лезет целоваться, просить прощение. И тут же тростью по голове бьёт проходящую девицу... Та кричит, ругается, правда, не от боли, но для восстановления своей неприкосновенности и кончает требованием двугривенного на извозчика. Совсем особые нравы...

Замечательно, что извозчика никто не стесняется, и с ним не церемонятся, поэтому-то на козлах и можно наблюдать такие сцены, каких никогда не увидишь обыкновенным зрителем – безобразник пропускает «публику» и норовит выкинуть фортель, оставшись наедине с извозчиком.

Дебоши на Невском проспекте прекращаются только к 5 часам утра, когда разойдутся по домам последние посетители ресторанов, торгующих до 3–4 часов утра.

5

Я поехал по Невскому до Большой Морской к «Малоярославцу^[68]»... Здесь стоял гусёк извозчиков от самого угла Невского до подъезда «Ярославца»; но за то на противоположной стороне Морской – ни души! Я тут и причалил... Посреди Морской разгуливал высокий статный городской... Я пристально смотрел на него, но он меня сначала не замечал... Извозчики начали «цыкать» и пальцами показывать на меня... Городовой пошёл ко мне.

– Отъезжай, – довольно мягко сказал он.

Отчего он так тих, отчего не кричит и не махает «селёдкой^[69]»? Я после спрашивал об этом «коллег», и они по-своему объяснили «мягкость».

– Ах, ты полосатый! Сунуть ему надо было...

Я «совать» никому не пробовал и не знаю, насколько прав извозчик, говоря о поборах дворников и «некоторых» городских. Я подчёркиваю «некоторых», потому что и сами извозчики говорят только о некоторых пунктах, где «берут», а об остальных прямо заявляют: «нет, там не берут».

Что поборы со стороны дворников существуют, это можно утверждать положительно, потому что меня гоняли почти всюду, и если бы я был профессиональным извозчиком, то не выездил бы и рубля выручки, тогда как установленный хозяевами минимум 2 рубля 50 копеек и в праздник 3–4 рубля. Огромное большинство мест у подъездов абонировано извозчиками. С какой же стати дворник будет отдавать преимущество одному перед другим, если лично он сам не заинтересован? Да, наконец, при том широком бесконтрольном праве гонять извозчиков и записывать их нумера для взыскания штрафов, какое предоставлено всем дворникам и городovým, надо быть ангелами, чтобы не злоупотреблять этим правом. А что эти аргусы^[70] в передниках, изображающие «власть», далеко не ангелы – это едва ли нужно доказывать!

После «Ярославца» я причалил к дому Армянской церкви^[71]; дворник дремал; но едва я остановился, как он ленивой походкой подошёл ко мне. Подошёл и стоит, точно хочет сказать: «плати». Постоял с минуту и закричал: «пошёл прочь». Почти тоже повторилось у Пассажа, у дома Лесникова^[72], у клуба сельских хозяев^[73] и в других местах. Может быть, это «случайности», что меня гоняли, а другие подъезжавшие становились, – не знаю, но пробовать «дать» я все-таки не хотел. Я поехал в Лештуков^[74] переулок, к дому № 13; хотел подождать седока и посадить за двугривенный. Подъезжаю, стоит извозчик и у ворот сидит дворник. Извозчик посмотрел на меня раз, другой.

– Ты чего подъехал, думаешь собрание тут?

– Нет, отвечаю, здесь барин один велел...

– Чего врёшь, кто тебе велел, я этого барина постоянно вожу и жду его...

– Ну, вместе будем ждать...

– А, любишь? Ишь выискался какой, ты сам себе заводи седоков, а не чужих отбивай... Иван Семёнович!

Иван Семёнович оказался дворник, дремавший у ворот. Без дальних разговоров послышалось знакомое «пошёл прочь».

Поплёлся к Фонтанке... Завернул налево и остановился у «Фантазии»^[75]... Теперь я не пробовал становиться близко к подъезду, а проехал сажень двадцать и стал вдали около забора. Место тихое, но спокойное. Стал и опустил вожжи... Я просидел на козлах уже более шести часов и чувствовал лом в спине (хотя по спине ни от кого ещё не получал). Расположение духа становилось мрачное, боль в спине усиливалась. Надо заметить, что извозчицьи козлы не имеют никакой опоры для спины и так как сходить с козел строго воспрещается, то спинной хребет устаёт страшно. Я говорил по поводу этого с доктором Дв – м, который удостоверяет, что продолжительное сидение па козлах без опоры для спины безусловно вредно и может губительно отразиться на здоровье. Спрашивается, почему бы не приделать к козлам спинки; ведь это стоит буквально грош, а существенно облегчает «работу» извозчиков? Неудивительно, что извозчикам приходится «отдыхать» в трущобах, вроде «Батума», «Персии» и т. п.

Я уже собрался было ехать, а, между тем, чуть-чуть не угодил от «Фантазии» в участок! Случай этот незначительный, сам по себе, интересен только как образчик безответственности извозчика...

Сижу, как я уже заметил, в мрачном расположении духа и неопределённо смотрю в пространство.

Выходит из «Фантазии» примадонна-певичка, «запевала» хора... Идёт пешком... одна... такая грустная, печальная... Я, грешный человек, забыл совсем, что сижу на козлах в извозчицьем наряде.

– Красавица, что не весела? – окликнул я.

– Ах ты нахал, – вскипятилась примадонна, – как ты смеешь меня красавицей назвать!? Какая я тебе, желтоглазый, красавица!!

– Да что ж тут обидного назвать «красавицей»? А вы вот уж ругаетесь...

– Я тебе морду побью, нахал этакий!

– Ну, ну, тише...

– Городовой, городской! – завопила примадонна.

Явился дворник.

– Отправь его в участок, он меня обругал, – приказывает примадонна тоном, не допускающим возражения.

Я только хотел сказать, как было дело, а дворник уже сидит у меня на дрожках.

– Пошёл в 3-й Московский...

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Ну, скажите, читатель, кто кому нагрубил, кто кого оскорбил? А ведь у меня никаких резонов господин дворник не принимает и слушать не хочет! Что ж я в 3-м Московском буду говорить? Потащусь прямо в «холодную». Какие, в самом деле, «разговоры» с извозчиком? Кто не знает, что все извозчики грубы до невозможности, скоты, нахалы, подлецы и т. д. и т. д. О чём тут говорить? Если поступила жалоба – значит, извозчик виноват; не ему же в самом деле верить, когда примадонна-певица жалуется?!

Делать нечего, пришлось каяться:

– Простите, говорю, сударыня...

«Сударыня» молчит... Снял шляпу, опять прошу:

– Извините...

– Пошли его к чёрту! – смилостивилась примадонна.

Дворник соскочил с дрожек, а я затпрукал, занукал, задёргал вожжами и погнал домой.

– Довольно на сегодня!

6

Вторая ночь была мною посвящена специально извозничьим постоянным дворам, чайным и закусочным... Увы, одной ночи оказалось мало для обозрения притонов! На Петербургской и Выборгской сторонах я посетил всего по одному только притону, а на Васильевском острове, за заставами, на островах Вольном, Резвом и других вовсе не был. Эту неполноту я предполагаю возместить когда-нибудь другой раз, а теперь остановимся главным образом на гнезде и рассаднике извозничьего промысла – Ямской слободе с Лиговкой, Обводным каналом, Песками, Коломенской улицы и прочее. Здесь картины получались одна другой ярче и характернее... «Персия», «Сербия», «Дон»^[76], «Киев», «Белое село», «Таганрог»^[77], «Золотой

Якорь»^[78], «Феникс», «Лештуковский притон», «Одесса»^[79], «Саратов»^[80], «Неаполь» – это все такие перлы, которые бесспорно заслуживают истории и просят кисти художника...

Замечательно, что каждое заведение имеет свою особенную физиономию, своё «направление», свои традиции и отличный, если хотите, оригинальный характер...

В одном притоне вы, например, видите массу извозчичьих закладок, а самих извозчиков нет... Где они? «Про то знают только я, да она, кума моя» – декламирует вам извозчик, широко улыбаясь...

В другом заведении масса извозчиков, а вся администрация отсутствует, спит. Что же делают извозчики, зачем они здесь, в пустых «залах»? Про то знают одни извозчики...

В третьем заведении множество народа, шум, беготня, а никто ничего не пьёт и не ест. Что они здесь делают – мы узнаем ниже...

Большая разница также в отношениях притонов к своим посетителям-извозчикам... То они являются какими-то париями, выпрашивающими позволение войти, то ведут себя полными хозяевами и распорядителями, за которыми ухаживают с почётом, вовсе не свойственным извозчикам.

Почему такая разница? И цена за все продукты та же, и вывески одинаковы. Чтобы подробно изучить характер всех заведений, нужны месяцы, если не годы, и мои летучие наброски, разумеется, не претендуют на такое изучение, но и мне удалось многое подметить. Например, во многих трактирах и чайных извозчики имеют своих банкиров в лице буфетчиков и делают этому банку вклады, открывают текущие счета, дают финансовые приказы, поручения и т. д. Буфетчик-банкيران хранит деньги извозчика, который не доверяет «фатере», посылает за него подати в деревню, покупает ему нужные вещи или просто хранит деньги в особой копилке. Понятно, такой буфетчик всегда выручит извозчика, если ему случится нужда.

Даже более того – в Эртелевом переулке есть трактир, в который ездят извозчики известного села и уезда Рязанской губернии; администрация этого трактира на свой счёт отремонтировала сельскую церковь на родине извозчиков и послала туда новую церковную утварь на значительную сумму. Другой трактир на свой счёт выстроил в деревне своих посетителей здание для школы. Многие заведения держат для потребностей извозчиков все слесарные принадлежности

на случай малых починок, имеют мастеров, поставляют разные продукты и т. д. Нечего и говорить, что по части «выпивки» извозчику не откажут в кредите, если у него нет выручки. В этом отношении не может быть даже и вопроса, хотя продажа в кредит питей строго запрещена. Это не кредит, а просто любезность, предупредительность и понятная готовность заведения услужить постоянным посетителям. Проследить такой «кредит» нет никакой возможности.

Вообще, как я уже заметил, извозчик, всеми помыкаемый и гонимый, этот пария столицы, потерявший в своей шкуре человеческий облик, только на извозничьих дворах преображается в человека. Только здесь он имеет права, встречает обхождение равного с равным и имеет свой голос... Но, увы, обстановка и условия этих вертепов вполне гармонирует с «серостью» извозчиков, так что о каком-нибудь воспитательном или ином влиянии не может быть и речи. Напротив, по моему мнению, эти извозничьи дворы только усугубляют «серость» извозчика, потому что здесь его грубость и животные инстинкты получают полный простор не сдерживаемый ни строгостью господ дворников ни щепетильностью певичек «Фантазии»...

Наоборот, дайте этим дворам **приличную обстановку** и параллельно **улучшите быт извозчиков на собственных «фатерах»**, – и вы получите **извозчиков-людей, а не скотов**, как теперь... Все же паллиативные меры, как штрафы **городовых**, протесты **певичек** и прочее не принесут никакой пользы, в смысле упорядочения извозного промысла! Вы спросите: почему? А потому что никакой мало-мальски приличный человек не в состоянии вынести теперешней обстановки **извозного** промысла. Чтобы быть извозчиком в **настоящих условиях**, надо сперва оскотиниться, а кто оскотинится, тот **не** будет приличным человеком! Ясно? Для большей наглядности и ясности я приведу ряд картинок сначала на извозничьих **дворах** трактиров, и в общежитиях извозчиков у **своих хозяев**.

Начну с заведения «Персия».

Двухэтажный домик с садиком на Николаевской улице^[81]... Такие домики когда-то занимали в столицах богатые помещики; но это было очень давно... Теперь домик этот в пятнах плесени, с выцветшим фасадом; некоторые стекла выбиты и заложены бумагой; на видном месте закоптелая вывеска «трактир без крепких напитков»;

деревянный забор с покосившимися воротами и надписью «двор на 40 извозчичьих лошадей»...

Вот она «Персия», о которой мне приходилось не раз слышать от «сватов» (извозчики зовут друг друга «сватом»). Это такая же знаменитая ночная резиденция извозчиков, как «Батум» дневная.

Я подъехал к «Персии» около 2 часов ночи, когда «ресторация» была ещё закрыта; торговля начинается здесь, как и в других «съестных чайных», в 5 часов утра. Вместе со мной подъехали ещё два извозчика и, как опытные люди, дали сигнал стуком в ворота. Через минуту ворота распахнулись, и перед нами открылся большой двор, весь уставленный извозчичьими пролётками.

Как же это так? Трактир закрыт, торговля должна начаться только через три часа; снаружи и ставни, и двери закрыты, а двор полон извозчиков? После оказалось, что везде то же самое; хотя торговля начинается только в 5 часов утра, но извозчиков «пускают» раньше, когда угодно, только без права что-либо требовать. Они приезжают, дают лошадям корм и идут спать. Такой заведён порядок. «Седока» после 2–3 часов утра до 7–8, нет никакого, кроме пьяных разъездов у ресторанов, но там извозчики «свои». Поэтому большинство «сватов» отправляются после 2 часов в трактиры без крепких напитков и спят до 6, а после, напившись чаю, выезжают на работу.

Не без труда «надворный смотритель» поместил мои дрожки в ряд и я, повесив лошади торбу, пошёл в залы.

Представьте себе, читатель, огромное, разделённое перегородкой, помещение, наполненное... телами извозчиков. Да, телами, но «живыми», издающими смрадный запах пота, вони и всего прочего... Извозчики спят на полу, на столах, облокотившись до пояса, друг на друга... Все в полном наряде, без шляп; на сапогах лошадиный навоз, быстро разлагающийся в смрадной атмосфере и усиливающий «букет»; храп, свист и стоны свидетельствуют, что это существа живые; по временам слышится площадная брань, но отрывочная, сквозь сон, когда сосед слишком навалился на «свата» или ткнул его ногой в голову... Осторожно я прошёл среди тел и поднялся во второй этаж... Та же картина... Ещё несколько десятков спящих тел в таком же хаотическом беспорядке... В пересыпку с извозчиками спят, уткнувшись, другие фигуры, не то рабочих или служащих, не то просто «бродяжек»... Царство сна, русского, богатырского,

игнорирующего грязный голый пол, мириады насекомых, закоптелые стены, удушливую атмосферу, нестерпимую жару и духоту, гниющие тут же отбросы и пометы... На столах не убрана ещё грязная посуда, не стряхнуты залитые скатерти, не открыты окна, что бы с улицы «ничего не было видно»...

– Ложись, чего путаешься, – окликнул меня один из возлежавших и прибавил отборное словечко...

Я прошёлся по всем «залам»... Нигде никакой жизни... Действительно, торговля ещё не начиналась, но... но что же это за «сонное царство»? Если «Персия» имеет права постоянного двора, то почему она не заведёт хоть каких-нибудь приспособлений для сна? Ведь право же свинные хлева много презентабельнее этой картины... А посмотрите на физиономии самих извозчиков. Густые пласты грязи покрывают всю видимую кожу, т. е. шею, лицо, руки. Моются ли извозчики? Могу ответить – нет, а только споласкивают утром «морду», т. е. слегка плещут на лицо, чтобы «освежиться». Я познакомился здесь с извозчиком, который полгода не был в бане и только раза три в неделю «споласкивается». Грязь на руках и «физио» этого извозчика лупилась как корка, а тело, по его словам, «прежде чесалось, а теперечка нету». Но здоровье его богатырское. Он в мороз и жару одинаково может спать на сквозном ветру, ходить в мокрой одежде, есть и пить что угодно и когда угодно. Пьёт водку чайным стаканом, «если поднесёшь» и... совсем доволен «Персиею», считая её за «славное заведение».

И вот этого извозчика вы хотите «цивилизовать» обязательным постановлением Думы о вежливом обращении, приличии и прочее?

7

Перехожу ещё к нескольким извозничьим резиденциям... На очереди «Феникс»^[82], известный «первоклассный» трактир в Толмазовом переулке, имеющий позади (со двора) притомообразную половину для извозчиков. «Феникс» посещается гостинодворским купечеством и с «парадного» хода имеет ливрейного швейцара, аквариум; в залах бархатная мебель, оркестрион, буфет красного дерева, лакеи все во фраках. Словом, ресторан хоть куда и никто не

подозревает, что этот же «Феникс» подаёт «пару чая» за 7 коп., «селянку на сковороде» 10 копеек (с хлебом 12 коп.), что в «Фениксе» пьянствуют извозчики, стоит «дым коромыслом» и на языке извозчиков «Феникс» такой же притон, как и «Батум», «Персия» и др.

«Феникс» я посетил перед самым запором, так что мог заглянуть одним лишь глазом. На меня этот притон произвёл ещё худшее впечатление, чем «Батум», и вот почему: двор тесный, неудобный, среди высоких стен, в близком соседстве с «ямами». На воротах хотя и есть аншлаг «столько-то лошадей», но кто контролирует число стоящих здесь дрожек? В самом деле, за нормальным числом извозчицких экипажей наблюдает сторож двора. Не все ли это равно, что волку поручить стеречь стадо? Словом, теснота на дворе «Феникса» невообразимая...

Апартаменты извозчиков представляют вид низких катакомб под сводами, причём самая большая комната сажени три в квадрате^[83]; таких клетушек около десятка и все переполнены; о духоте и говорить нечего, потому что высота катакомб не более сажени^[84]... Пьянство и «свинство» в такой тесноте имеют ещё более непрезентабельный вид и ошеломляют свежего посетителя... Кроме отдельного буфета с селянками, закусками и пр., здесь есть ещё отдельный буфет с пивом, истребляемым извозчиками целыми батареями... Водка подаётся как в кабаке косушками и притом по кабацким ценам. Это, по моему мнению, самое главное зло. В кабаках запрещено иметь закуски, нет столов и стульев именно для того, чтобы пьющие не «засиживались» и не напивались. Так почему же в «Фениксе» можно получить водку по кабацкой цене и сидеть хоть 17 часов, перемешивая водку с пивом, закусками, селянками и всем чего, душа хочет. Если пьянство нехорошо и нежелательно в кабаке, то почему оно хорошо и желательно в таком бойком месте, как Толмазов переулок, между Александринским театром и Гостиным двором?

Затем ещё замечание: если уж извозчицкий притон непременно нужен в Толмазовом переулке, таком густо населённом центре города, то непременно следует увеличить помещение извозчицких апартаментов за счёт «чистых половин».

Надо выбрать одно что-нибудь: если извозчики, то пусть внизу будут кухни и погреба, а верхний этаж для извозчицких комнат; если чистая

публика выгоднее, то надо закрыть извозничий двор, тем более, что дворов этих в Петербурге более чем достаточно.

Что сказать относительно состава извозничьей публики «Феникса»? Ничего особенного. Разумеется, там, где изобилие дешёвой водки и дешёвого пива «собственного розлива», картина разгула и пьянства ещё омерзительнее, чем в заведениях без крепких напитков...

Я не берусь утверждать, (потому что был в «Фениксе» несколько минут), но мне показалось, что извозчики здесь развязнее и нахальнее, чем в других местах; здесь своих извозчиков нет, а большинство случайных посетителей, которые побогаче, почище, и потому более развязны и наглы. Но «Феникс» тоже имеет своих извозчиков, хотя в ином смысле. Зимой, во время спектаклей в Александринском театре, здесь скопляется масса кучеров и извозчиков, пьянствующих до самого разъезда.

По моему мнению, это ещё один из доводов в пользу уничтожения извозничьей половины при ресторане «Феникс». Бархатная обстановка и извозчики!..

Теперь перейду к двум притонам, один супротив другого в одном и том же переулке (Стремянная улица) «Саратов» и «Одесса».

Переулок на пространстве между Владимирской и Николаевской имеет два извозничьих двора, два питейных дома, четыре трактира, шесть портерных лавок, три ренсковых погреба и две закусочных. Не слишком ли это много? Но забудьте, что это центр города. Здесь новоотстроенный Братский Храм^[85] и дома, густонаселённые приличной семейной публикой. За что такое нашествие на этот переулок?

«Саратов»^[86] трактирчик «так себе». Без претензий и без особых безобразий. Помещения просторны, довольно чисты и светлы... но порядки такие же кабацкие, как и в «Фениксе». Водка непомерно дешева... Я никогда не думал, что на целковый^[87] можно получить батарею бутылок водки и втроём напиться до пьяна. Мы платим гривенник за маленькую рюмку, а тут за 12 копеек подают чуть не бутылку, а за 6 копеек стакан водки, да ещё с закуской. Помилуйте, за полтинник можно буквально накачаться сивухой до положения риз. Для чего это? Или извозчикам водка продаётся по особо пониженной цене ввиду громадного истребления ими хмельного зелья?

Строго говоря, нельзя извозчиков и винить в пьянстве. Ведь в их быту только и радости, только и развлечения, отдыха, словом, цели в жизни – напиться и почувствовать «радостно на душе». Семнадцать часов в сутки на козлах, без праздников, изо дня в день, без просвета, без удовлетворения каких бы то ни было человеческих потребностей, даже сна, не говоря уже о развлечениях или удовольствиях. Это, воля ваша, каторга, и если ещё не выпить по душе с земляками, то из-за чего же выносить каторгу, чего ждать впереди! А хозяева разных «Саратовов» знают это и пользуются. К удовольствию извозчиков дешёвая косушка, недорогой бильярд, лакомая селянка из ветчины с картошкой... Худо ли?

– Пей, Ванюха, пей, пей, пей...

«Одесса»^[88] такой же притон, но потеснее, погрязнее, с бильярдом более популярным. Внешность почти одна и та же: красные грязные салфетки, закоптелые стены и даже физиономии слуг, батареи бутылок, шипящая плита извозничьего буфета и т. д. Притонообразность «Одессы» усиливается ещё отделением «закусочной» в подвале для чернорабочих и бесприютных. Получается серая помесь, особенно бьющая в глаза своим соседством с большими населёнными домами. И здесь, как в «Фениксе», для чистой половины отведена большая часть помещения, а извозчики и чернорабочие остаются в подвале и в тесных надворных клетушках. Очень хорошо было бы, если бы владелец «Одессы» закрыл подвал, а своих посетителей перевёл бы в чистые половины. Я уже недоумевал раньше:

– Отчего это для извозчиков непременно нужны грязь, вонь, теснота, духота. Почему?!

8

От Обводного канала (Новый мост) вплоть до Невского проспекта (Николаевского^[89] вокзала) по обе стороны Лиговки тянутся красные^[90] вывески извозничьих резиденций: гостиницы, трактиры, чайные, закусочные, питейные дома, портерные лавки, ренсковые погреба^[91].

Извозчики живут здесь почти в каждом доме и по статистике покойного профессора Янсона^[92] в одной этой местности больше извозчиков, чем во всём остальном Петербурге. Поэтому-то Лиговку с частью Обводного канала и примыкающими улицами смело можно назвать извозничьим кварталом, как например Подьяческие улицы – еврейским кварталом.

Не стану подробно останавливаться на характере местности, чтобы не наскучить читателю; скажу только, что все убожество и вся грязь, отмеченные мною на личности отдельного извозчика, отражается и на всём квартале. Извозчики лишены водопровода и газового освещения. Это для них «роскошь». Лиговка, засыпанная около города, оставлена в извозничьем квартале в своём первообразном виде, даже не почищенной. Это тоже «лишнее» для извозчиков. О состоянии дворов и извозничьих «фатер» не стоит даже говорить. Ничего более зловонного, грязного, тесного, смрадного, убогого – нельзя себе и представить.

Извозничьи дворы – это злая ирония над цивилизацией конца XIX столетия, это своего рода «бочка Диогена». Дивиться только приходится, как это человек может приспособиться ко всякой обстановке и до какой «скромности» довести свои потребности! У извозчика нет ни угла, ни кола, ни даже иконы, а «ложе» его – общественное. Часа три спит один, часа два другой и т. д. Например, у хозяина 40 работников, а коек для сна 20, потому что все работники в одно время не бывают дома, а если которому не хватит койки, то он приткнётся в конюшне, на сеновале, на полу, где придётся! Армяк, шайка, кушак, сапоги у извозчика «опчественные»; своего у него ничего нет, кроме «пашпорта».^[93]

Степень культурности человека измеряется его потребностями. Какие же потребности у извозчика? Пройдите по Лиговке и Обводному: вы не увидите ни одной библиотеки, книжной лавки, лечебницы, парикмахерской, галантерейной, мануфактурной, колониальной... Ничего подобного: только питейный дом, трактир, портерная, чайная, реже попадает мелочная лавка, хлебная пекарня, квасная... и все. Дальше этого нет «спроса»... Этим исчерпываются потребности извозчика и его культура. Даже единственная здесь баня торгует всего три дня в неделю... При бане состоит цирюльник для

стрижки, а при извозчиьем дворе ходячий сапожник для починки подмётки извозчику.

Но зато какое множество питейных заведений для извозчиков! Я, разумеется, не мог осмотреть все, да, полагаю, для моей цели в этом нет и надобности. Большинство притонов очень похожи друг на друга и некоторые только чем-нибудь выделяются.

«Киев», угрюмый двухэтажный дом, весь занятый извозчиьими апартаментами... Конечно, бильярд, косушки и все прочее. Селянки из ветчины и картофеля славятся своими гастрономическими качествами.

Извозчики собираются здесь к часу дня, обыкновенно прямо с «фатер» и потом к 6–7 часам. Остальное время трактир почти не торгует, но эти несколько часов окупают весь остальной день. «Киев» популярен среди рязанцев и калужцев; случайной публики здесь почти нет. Между буфетчиком «Киева» и посетителями извозчиками отношения самые тесные, что объясняется постоянством состава посетителей. На меня, как новичка, смотрели «косо» все и очень неохотно вступали со мной в объяснения...

– Что это «за кружки»? – спросил я соседа, когда тот сказал слуге «опустить в кружку».

– А тебе что? Заведи кружку и опускай...

Вероятно, речь шла о кружках, куда извозчики опускают свои сбережения и хранят кружки в трактирах. Обычай этот существует во многих заведениях и объясняется тем, что извозчикам действительно негде хранить свои деньги; дома у него нет ни ящика, ни полки или стола; сберегательная касса закрыта почти весь день, а с банкирскими учреждениями извозчики не знакомы. Замечательно, что, по общим отзывам, хранимые в трактирах сбережения извозчиков никогда не пропадают, хотя всё-таки существование таких сохранных касс едва ли желательно по многим причинам.

В «Киеве» я обратил также внимание на то, что многие извозчики напиваются сивухой до начала своей езды, потому что они приезжают в трактир прямо из дому. Хорош будет извозчик после 2–3 косушек, запитых парой пива! И, кроме того, как ни дешева здесь водка, но такая «порция» все-таки обходится в 30–40 копеек, которые надо ведь извлечь из выручки! Невольно напрашивается вопрос:

– Зачем это такое множество питейных заведений в этом квартале?

Любопытную картинку представляет другое заведение «№ 71-й».

Заведение это «чайное с продажей закусок», в доме № 71 по Лиговке. Заведение само по себе и ничего бы, потому что здесь нет ни пива, ни водки, но... вот об этом-то я и хочу сказать, потому что это повторяется во всём Петербурге. Дело в том, что питейные заведения столицы делятся на известные разряды: в одних можно пить и есть, в других только пить, в третьих – только есть. Первые платят трактирное «право» и патент, в среднем 1,050 рублей, причём торговля их ограничена до 11–12 часов вечера. Вторые платят один патент, покупаемый на три года с торгов, и тоже ограничены часами; наконец, третьи платят грошовый налог и могут торговать хоть все сутки кругом. Само собою разумеется, что выгоднее всего содержать такое заведение, где можно есть и пить, т. е. трактир, но он обходится слишком дорого и требует затраты капитала, да, наконец, и самое число трактиров ограничено. И вот, содержатели чайных заведений придумали такой компромисс: они нанимают целый дом и открывают в нём: кабак, чайное заведение с извозничьим двором и портерную лавку^[94] с закусками. Получается, следовательно, такой трактир, который и прав не требует, т. е. стоит недорого и торгует лучше трактира, потому что не ограничен часами. Когда я приехал в «№ 71-й», то удивился даже простоте компромисса!.. Извозчик заказывает селянку, идёт в соседний кабак, выпивает и, возвращаясь, находит на своём столе кипящую сковородку... Просто любо!.. Выпил, закусил и идёт в портерную за «парой пива».. Всё это из двери в дверь, так что расстояние не больше, чем в трактире из комнаты до буфета. Двор извозничий разрешён здесь на 40 лошадей, так что желающие могут оставить лошадь стоять хоть весь день, пока отпьянствуют в соседнем кабаке и портерной... Вот как просто обойдёшь закон.

Меня удивляет только, что в Петербурге без разрешения и осмотра властей нельзя открыть никакого ларька. Каким же образом получено разрешение на такое «соединение» тайной закусочной с кабаком и портерной? И для кого это нужно? Если мало трактиров на Лиговке (!), то не лучше ли в «№ 71» разрешить трактир, который платил бы 1,050 руб., чем чайную, вносящую в доход города 36 руб., а в доход казны 1 руб. 60 коп. гербовыми марками! Но ещё лучше рядом с чайными не разрешать кабаков, и наоборот...

Относительно «№ 71» замечу, что это заведение очень грязное, даже с извозничьей точки зрения. Чай, который я заказал, оказался каким-то

настояем из веников с горьким осадком на язык. Это не чай, а что-то капорье^[95]! Слуги сонные, грязные, грубые... Б-р-р-р!

9

Кроме отдельных извозчицких притонов, раскинутых по всему лицу Петрограда, не исключая таких бойких центральных местностей, как Толмазов переулок, Невский проспект, Большая Садовая и другие., есть немало извозчицких гнёзд с целыми группами притонов. Таковы (кроме Лиговки и Обводного канала) Коломенская улица с частью Николаевской, «стрелка» Петербургской стороны (близ Зоологического сада), «сердце» Выборгской стороны (у Сампсоньевского проспекта., близ клиники), окраина Васильевского острова (на Малом проспекте) и Пески... Тут по несколько всевозможных заведений для извозчиков. И вот что замечательно: в то время, как отдельные «пункты» извозчицких резиденций носят до некоторой степени «семейный» характер, имеют постоянную публику, свои обычаи, традиции и т. п., – «гнёзда» почти всегда являются местами разгула, пьянства, дебошей и безобразий. В «свой» трактир извозчик идёт за делом: напиться чаю, покормить лошадь, отдохнуть, выпить по маленькой, а в «гнездо» он идёт «погулять» и гуляет с чисто извозчицким безобразием, оставляющим позади безобразия разгула мастеровых и фабричных. Вероятно, по пословице «на людях смерть красна» и безобразия творятся охотнее в больших компаниях. Поэтому-то казалось бы «гнёзда» и не должны бы существовать...

На «стрелке», например (Петербургская сторона), недавно ещё был случай пьянства извозчиков в виде спорта, причём один извозчик, уже пьяный выпил на пари залпом полштофа водки и тут же умер. В Коломенской улице можно видеть пьяных извозчиков, путешествующих без шапок по улице из притона в притон и устраивающих пьяные оргии. Про безобразия василеостровских притонов сложились целые легенды и там среди извозчицких компаний можно видеть совершенно пьяных девиц. Пародируя пословицу «ум хорошо – два лучше», следует признать, что «один притон безобразен, а два-три вместе окончательно нетерпимы».

Здесь в притоне я познакомился с двумя типичными извозчиками, достойными быть отмеченными. Один – семидесятилетний старичок, белый как лунь, но бодрый, ездящий в извозчиках ни много, ни мало – 47 лет. Почти полвека на козлах при совершенно трезвом поведении не дали Архипу ничего, хотя он живёт в деревне исправно и вообще не нуждается. Вот уж воистину трудом праведным не наживёшь палат каменных!.. Архип не глупый мужичок, помнит ещё когда в Петербурге ездили на «гитарах»^[96] и возмущается проектом крытых извозчицких экипажей:

– Наши господа на грош хотят пятаков... Посмотрите, какие цены нынче; за пятиалтынный везёшь пять вёрст, да ещё дай крытый экипаж!.. Не прикажут ли на резине заводить!

Второй извозчик Дмитрий, человек лет под 60, ездит около 30 лет и тоже ничего не имеет, хотя не пьёт... Мужик весьма умный, проклиная свой промысел, вполне понимая своё бесправное, униженное положение.

– Глаза у меня слабы, плохо вижу, а не то разве пошёл бы в такое ремесло... Это каторга, а не жисть и всякий тебя как арестанта помыкает... Никаких прав никто не признаёт твоих! Вот, к примеру, меня записал городской за то, что я не хотел бабу вести даром. А баба здоровее меня! Нешто мы обязаны всех даром возить, а он и не спрашивает! Вези и баста, а стал говорить – номер записывает... И что это тебе за охота в извозчики идти, – обратился он ко мне.

– Да хочу попробовать, завёл вот закладку...

– Дурак ты, братец... Неужели ничего умнее не придумал?

– Да разве так уж плохо в извозчиках? – А вот увидишь! Ты за все и во всём виноват будешь, натерпишься всякой всячины, а окромя убытка ничего не получишь.

– Нечего делать, назвался груздем, полезай в кузов.

Мой собеседник задумался...

– Оно конечно... Статься может... Кто ж тебя знает... Есть ведь и извозчики, наживаются... Кого-нибудь пьяного оберёшь, а нет и того... завезёшь, да оберёшь... Вонь, рязанский один пять лет мадеру пил...

– Как мадеру?

– А вот как: завёз пьяного купца на Обводный канал, вытащил бумажник и удрал... А в бумажнике тридцать тысяч рублей деньгами и бумагами было; он, чтобы виду не подать, остался в извозчиках ездить,

а деньги схоронил... Через год все и забыли; купец помер, а он понемножку стал вынимать деньги и все ездил. Приедет в трактир, спросит мадеры бутылку и пьёт сидит. Поедет в другой трактир и там пьёт, земляков угощает. Да так четыре года проездил, пока на него не обратили внимание: что за извозчик кажинный день мадеру пьёт?!

– И что же, его забрали?

– Знамо, забрали, и деньги нашли; он всего тысячи три-четыре пропил на мадере. Всякое счастье бывает, вот и тебе, может, хочется такого купца поймать, а то иначе нет расчёта...

«Неаполь», наиболее приличный трактирчик среди «гнёзд», с наружным палисадничком. Двухэтажный, презентабельный снаружи, с «машиной» (органом), бильярдом и... единственное заведение в своём роде, имеющее мягкий диван на извозничьей половине.

– Фу-ты! Вот как «почитают» нас, – говорит мне один желтоглазый, указывая на диван.

– Что и говорить, ведь мы доходные гости: смотри-ка, ты пятую скляночку осушаешь.

– Нельзя, я ведь именинник сегодня, хочешь тебя, стриженного, угощу!

– Спасибо, я водки не потребляю.

– Глуп, потому и не потребляешь. Ты пойми, кто водку не пьёт, тот околеть должен в нашей жизни. А я вот пью. Эй, служающий, ещё стакан!

Большая компания за круглым столом дула пиво. Я говорю «дула» потому, что в полчаса она на моих глазах катала третью дюжину... Компания рассказывала про «жулика» хозяина, который их притесняет и «жмёт, как масло сбивает»... Действительно, хозяин артист своего дела! На 36 рабочих он имеет одну комнату с девятью матрасами, но и матрасы эти выдаются только на те дни, когда «санитары по дворам шляются», а как только «санитарная комиссия прошла», матрасы убираются... Извозчики хоть и получают жалованье по 7 руб. в месяц, но сколько бы они не жили, не увидят никогда ни копейки... Всё идёт на вычеты и штрафы: «пишется в книжку»... Рано приехал домой извозчик – штраф, поздно приехал – штраф, не довёз выручку – штраф... Работник жалованья не получает, а всё должен ещё хозяину... Совсем аспид...

– Так чего же вы живете у такого хозяина, – вмешался я в разговор...

– Чаго, – передразнили они, – а много ли есть то лучше...Почитай, все такие... У других вон и зимой на сеновале спать приходится, потому мест не хватает...

– Так вы бы жаловались.

– Поди-ка, пожалься! Не тебе ли веры больше дадут, чем хозяину... Тоже выискался с жалобами... Да виданное ли это дело, чтобы извозчик жаловался!..

10

Последняя ночь моих скитаний на козлах была посвящена островам... Я выехал около 10 часов вечера и через Троицкий мост поехал к «Аркадии».

Как вы полагаете, читатель, сколько вёрст от Троицкого моста до Строганова^[97] моста и сколько времени надо ехать рысью это расстояние? Вы скажете – версты четыре и, полагая 10 минут на версту, максимум три четверти часа. Я тоже так полагаю и мне приходилось проезжать это пространство очень скоро, но теперь... теперь я сделал до «Аркадии» вёрст 20–25, и ехал рысью два с половиной часа.

Вот мой маршрут:

Переехав мост, направляюсь к Каменноостровскому проспекту^[98]...

– Назад! – командует городской, стоящий посреди проспекта.

Я догадался, что порожние извозчики не пропускаются и повернул обратно на Дворянскую^[99], Вульфову^[100] улицы, т. е. в объезд к Карповскому мосту^[101]... Кружился долго по закоулкам и переулкам и выехал к Петропавловской больнице^[102]... Снова выезжаю на Каменноостровский проспект и снова команда:

– Н-н-а-зад!

Поворачиваю оглобли, но здесь другой улицы, параллельной Каменноостровскому проспекту, нет. Надо ехать или обратно через Выборгскую сторону по Чёрной речке, или через острова: Крестовский, Петровский и Елагин... Но по этим островам едва ли пустят, да, кроме того, нужно ведь пересечь Каменноостровский проспект, что тоже не позволят. Решил вернуться, и поплёлся по

закоулкам к Сампсониевскому мосту. Я должен оговориться, что обыкновенные извозчики поступают иначе, если им нужно миновать заставы. Они нанимают седока, т. е. сажают даром или за выпивку какого-либо субъекта и везут его благополучно по Каменноостровскому проспекту. Этот компромисс вызывается, как видят читатели, необходимостью, потому что иначе порожний извозчик не может попасть даже к себе на квартиру, если он живёт в той местности, а колесить по городу два с половиной часа на измученной лошади совсем извозчику невозможно. Итак, я доехал до Выборгской, миновал Сампсониевский мост и хотел проехать по шоссе до Ланской, но у клиники Виллие^[103] команда:

– Назад!

К паровой конке не подпускают. Я замаялся несколько, просто соображал, не зная, куда же и как теперь ехать, а городской счёл мою «заминку», вероятно, за ослушание и стал было номер записывать... Куда же ехать? Просто отчаяние взяло!.. Повернул опять к Троицкому мосту, по Кронверкскому пр., мимо Сытного рынка, на Большую Зеленину улицу и на Крестовский остров... Целое путешествие... У поворота к Крестовскому саду не пустили; объехал мимо Каменноостровского театра.

По Каменному острову и Елагину я благополучно попал в Новую деревню. Не пускали около «Эрмитажа»^[104], но тут заставы не страшны... Я выехал на Заднюю линию Новой Деревни, где не только застав, но и дворников нет... Уф! Как легко себя чувствуешь!.. Я почти уже доехал до «Аркадии», как явился соблазн... Господин в цилиндре, с дамой в шелку, даёт 80 копеек к «Аквариуму»^[105]. Цена хорошая, отчего не свезти, но как потом вернуться? Опять три часа кружить по городу!..

– Нет, не поеду...

Хорошо ещё, что нет таксы, и седок не может приказать ехать, а то совсем зарезал бы...

К «Аркадии» я подъехал с заднего фасада. Было уже около часа ночи... Обыкновенному извозчику здесь делать нечего: седоков нет, одни «нанятые» извозчики (нанятые обратно), лихачи и собственные экипажи... Но мне интересно было постоять в их компании... Вот где узнаешь все тайны «господ»! Если бы владельцы экипажей знали, как тонко кучера изучили их жизнь и «дела», как громко и без церемоний

они повествуют о самых сокровенных тайнах и интимных подробностях жизни их господ. Когда барин был пьян, сколько должен и кому, как он ругался с женой и за что, как он морочит кредиторов, похищает сабинянок, ловит жену в амурах и т. д., и т. д. Все это рассказывается цинично, с собственными умозаключениями и с кучерским остроумием, причём фамилия «барина» неоднократно и публично повторяется, хотя некоторые фамилии довольно громки среди жуирующего Петербурга... Я скоро ввязался в разговор, хотя большинство жирных, упитанных «дармоедов» (как мы, извозчики, зовём кучеров) относились с нескрываемым презрением и очень пренебрежительно к «гужееду» (кличка для извозчиков в устах кучеров).

Мне хотелось навести разговор на быт самих кучеров и лихачей, что скоро и удалось. Красавец-кучер с бородой до пояса и широчайшей спиной оказался словоохотливым:

– Что за жисть у купца!... Я живал... Не стоит... Вот у моего барина так жисть!... Я почитай каждый день то рессору чиню, то лошадь кую (общий хохот). Овса положения нет, у меня три куля в неделю на пару идёт (громкий смех). Лошадей убирает конюх, моё дело только на козлах сидеть и 30 рублёв в месяц, кроме харчей и подарков...

– Ты поди сам бы барину 30 рублей в месяц дал, – заметил сосед.

– И 50 дал бы... Да что 50, намерен развинтил рессору у ландо, – говорю, – сломалась... Велел отправить к мастеру, а я мастеру красненькую в зубы и счёт от него на 118 рублей. Это куме значит на зубок! (общий хохот).

Позади «Аркадии» несколько портерных лавок; я пригласил ближайшего лихача пару пива выпить; хочу, говорю, угостить... Пошли... Лихач оказался хозяйский сын; сам ездит на резине, а сорок закладок у работников... Сели... Я собеседнику говорю «вы», а он «тыкает»... Все же меж нами дистанция огромного размера: у него сорок ведь таких желтоглазых...

– Вы с кем же здесь в «Аркадии»?

– У меня постоянная «штучка»... А важная штучка!... Четыре комнаты одна занимает, триста рублей за фатеру платить, без стирки белья; за это отдельно... Одевается бестия, что твоя графиня аль анаральша... и кавалеров марьяжит – за моё почтение... По красненькой мне на чай только приходится, а то и четвертной билет!

– Неужели каждый вечер»?

– Ну, не кажинный, положим! Случается день, два я даром провозишь, бывает, что и ей пятёрку ещё дашь, в долг значит, да это наплевать...

– А езды много?

– К девяти вечера подам, доставлю в сад, отсюда в «Донону^[106]», «Пивато^[107]» или к татарам и после к ней...

– И давно вы с ней ездите?

– Третье лето.

В «Аркадии» начался разъезд. Мы побежали к лошадям.

Посыльные сновали среди экипажей, выкликая фамилии или называя местности: «одиночка от Банковского моста», «ландо из Зимина переулка^[108]», «кучер Илья», «коляска такого-то»... Кучера зашевелились, стали приводиться в порядок. Солнышко показалось на горизонте. Из подъезда «Аркадии» потянулись вереницы публики к пароходной пристани, к вагонам конки и по дачным линиям. Мне тронуться с места было нельзя, потому что все проезды к первой линии заняты «охранителями» и порожний извозчик думать не смеет показаться вблизи публики. Около часа продолжался разъезд, и затем линия опустела. Ушёл последний пароход, последняя конка, только изредка попадался запоздалый посетитель. Ушли полицейские наряды и для извозчиков теперь свобода: поезжай куда хочешь, только седоков больше нет... Мне-то это, конечно, все равно, но профессиональный извозчик в положении критическом: пока были седоки – нельзя подъехать; теперь подъехать можно – сажать некого!.. Я шагом поплёлся к Каменноостровскому проспекту. Совсем уже было светло, как днём. Расходилась и разъезжалась «кабинетная» публика, то есть закутившиеся компании и освободившиеся официанты. Последние тоже группировались в компании и тоже со своими девицами. Омерзительную картину представал из себя теперь Каменноостровский проспект. К городу потянулась пьяная, безобразная публика, из города тащились вереницей пахучие бочки^[109]. Букет получался полный, имеющий нечто общее по безобразию и отвратительному впечатлению.

Из «Аквариума» идёт по панели хор цыган, возвращающийся домой в Новую Деревню; из двух колясок выскакивают растерзанные кутилы и загораживают дорогу.

– Стой, фараоново племя; пой... пой, здесь на панели. Пл-а-а-чу!

Цыгане жмутся, заработок улыбается, но петь на панели как-то зазорно, да и боязно. По тротуару, торопясь, идёт приличная дама по направлению к Карповке; её окликают из ландо, дама не обращает внимания и чуть не бежит. Из ландо выскакивает субъект и догоняет даму; ему кричат из ландо: «брось, право, не стоит», но он догоняет, тащит за рукав; дама кричит, вырывается, из экипажей хохот, городского вблизи нет, нет и ни одного трезвого человека, кроме флегматиков-чухон, сопровождающих бочки; но им дела нет ни до чего, они идут как сонные.

– Извозчик! – слышу я.

Подаю. Из боковой улицы (Песочной^[110]) выходит господин с молоденькой девочкой в платочке; она плачет, господин рассыпается, уговаривает, шепчет...

– Куда ехать?

– В «Караванную»^[111], полтинник.

– Пожалуйста.

Господин тащит девушку почти насильно к дрожкам; она плачет все громче, тот её все уговаривает. Садятся. Я их осматриваю. Девушка миленькая, совсем ещё ребёнок, одета в ситце, по-видимому, горничная или модистка; господин лет 35, полный, в котелке. Мы поехали. Девушка всхлипывает и шепчет: «не хочу, не хочу, не поеду».

Вот и «Караванная». Господин позвонил у подъезда, двери открыли. Швейцар отдал мне полтинник, мой первый полтинник, который я заработал во всю ночь с 9 часов вечера до 4 часа утра. Пора домой.

11

«Денные» интервью в роли извозчика я посвятил извозчицкой «выручке». Я хотел сделать опыт, сколько может заработать извозчик при нормальных условиях, т. е. работая 11 часов в сутки, при двух часах перерыва для обеда и корма лошади. С этой целью я ездил так: 19-го июня с 11 часов утра до 8 часов вечера с перерывом от 1 до 3 часов и 22-го июня с 7 часов утра до 4 часов дня с перерывом от 11 до 1 часов дня. Можно было, разумеется, взять существующий рабочий

день с 11 часов утра до 4 часов ночи; но брать этот рабочий день у извозчиков я не считал правильным и нахожу его ненормальным. Ездить 16 часов в сутки и употреблять сверх того 2–3 часа на чистку и уборку лошади, экипажа, сбруи, на баню и прочее, по моему мнению, невозможно, если мы не хотим иметь извозчиков сонных, грубых, грязных и лишённых человеческого облика... Нормировку рабочего дня следует поставить первым и настоящим делом в вопросе упорядочения извозничьего промысла.

Итак, я выехал в 11 часов утра, получив, разумеется, вычищенную и запряжённую закладку с сытой и напоенной лошадей. Если бы это пришлось делать мне самому, то мой рабочий день и начался бы в девять с половиной часов утра. Точно также убрать лошадь и экипаж после езды требует час-полтора. Из этого следует, что извозчики при 11-ти рабочих часах должны ездить только 7 часов в сутки, т. е. вдвое меньше, чем они ездят теперь.

Ровно в 11 часов я стал у Пяти углов на Загородном проспекте. Простоял около четверти часа и подрядился за 15 копеек к Пассажу. Повёз господина с портфелем. У Пассажа стоять нельзя, отъехал к Михайловской улице, постоял минут десять и повёз барышню за 15 копеек к Апраксину рынку. Здесь извозчиков масса, стал в очередь и простоял около часа; рядили в это время двое, но обоих у меня отбили «сваты» или «обскакали меня», как говорят извозчики. В четверть первого. я посадил торговца с тюком к клинике Вилье за 45 копеек У клиники я поехал в трактир отдыхать и кормить лошадь. Как раз в 3 часа стал у Сампсониевского моста, простоял около получаса и посадил... городского с больной женщиной. Не знаю, чем эта женщина больна, но едва ли следующим седокам приятно было бы садиться в дрожки после такого «пассажира». Больных и полицейских мы, извозчики, возим даром по существующим правилам. В начале пятого часа я освободился и свёз двух дам в Миллионную улицу за 35 копеек Затем я свёз ещё несколько седоков и к 8 часам вечера за время семичасовой езды, я выручил 2 р. 10 копеек, из которых истратил в трактире 30 копеек Замечу, что утром седоки есть, но гораздо меньше, чем днём, а с 6 часов наступает самое глухое время... Разъезды чиновников и служащих в разных банках, канцеляриях почти ничего не дают извозчикам; работают в это время конки, общественные кареты и пароходы «Финляндского Общества». Для извозчика главный

седок – это посетитель канцелярий, банков и т. п., который торопится, спешит и вообще принадлежит к более состоятельному классу, чем чиновник или служащий. В 6 часов кончаются везде присутствия, и извозчики едут по трактирам; остаются на проспектах одни неудачники, которым не посчастливилось высадить выручку.

Выручка 22-го числа выразилась следующими результатами; в 7 часов утра я стал по Владимирской улице у ресторана Давыдова^[112]. Простоял 26 минут и посадил за 20 копеек господина очень тучной комплекции к Александровскому саду; здесь стоял 17 минут и посадил из сада господина с дамой в Варваринскую гостиницу^[113] на Вознесенском проспекте за 15 копеек. Деньги мне выслали только через полчаса. Отсюда посадил к саду «Неметти»^[114] за 20 копеек девицу. У сада стоять строго запрещено, почему порожним поехал к Морской; здесь постоял с полчаса и за 30 копеек повёз на угол 4-й роты и Измайловского проспекта господина. Тут прождал около часу и повёз за 35 копеек в Чернышев переулок^[115] двух дам. Затем свёз ещё несколько седоков. 4 часа дня застали меня без седока, и я поехал домой... Итого: 2 руб. 20 копеек, за вычетом отданных в трактире во время 2-х часов отдыха 30 копеек – 1 рубль. 90 копеек. Вот нормальная выручка извозчика за рабочий одиннадцатичасовой день (с уборкой лошади и экипажа). Мне могут сказать, что часто случается сажать седоков по часам или «обратно», так что выручка достигает 3 рублей в день, но я на это замечу, что также часто случается проездить с «барином» целый день и он удерёт проходным двором или заведёт скандал и отправит в часть, если не хочешь взять 80 копеек за 4–5 часов скорой езды. Случайности вообще не идут в счёт и ничего не доказывают. Если извозчики теперь пропивают по рублю в день и привозят до 3 р. хозяину, то это только потому, что они ездят 16–17 часов в сутки и захватывают выручку денную и ночную. Извозчики, едущие в ночь, выезжают в 10 часов вечера и возвращаются в 5 часов дня домой, так что и они захватывают обе выручки. Но разве это нормально? При такой работе извозчик растрчивает массу денег, сил и здоровья по извозничьим притонам. Извозчик «пропивает» и «просыпает», не считая отдельных случаев «загула», как я заметил сейчас, около рубля в день.

Загулы у извозчиков в большинстве случаев повторяются раз в месяц, и тогда он не только ничего не привозит хозяину, но пропивает

и все сбережения; иногда извозчик пьёт 2–3 дня, но такие извозчики не живут долго у хозяев и кочуют с места на место, Обыкновенно же извозчик пропивает вот сколько: 1) денной: в 12—1 час дня (прямо из дому) в трактире чай и по стаканчику = 11 копеек; в 6–7 часов селянка на сковороде, два стаканчика и чай = 26 коп.; вечером в 11–12 часов: чай, стаканчик, закуска = 18 к.; за лошадь взимается: на дворе по 3 копейки, три раза – 9 копеек, водопой два раза — 2 копейки, овса лошади или сено 20–30 копеек (в большинстве случаев хозяева не дают извозчику на дорогу овса для лошади, и он кормит её сам как хочет). Если же к бюджету прибавляется пара пива или лишняя косушка, то извозчик тратит больше рубля и не может уже доставить хозяину выручку. Теперь считая, что извозчиков в Петербурге только 10 тысяч, получается 300,000 рублей в месяц, оставляемых в трактирах. Прибавьте сюда «загулы» хотя и скромные, по 3–5 рублей в месяц на извозчика, получается дополнительная контрибуция в пользу притонов около 60,000 руб. Вот почему такая масса в Петербурге извозчицких притонов и почему такие аристократические заведения, как «Феникс», не гнушаются держать извозчицьи дворы.

3. Шестидневное «интервью» в роли официанта^[116]

1

Три дня я ездил извозчиком, шесть дней ходил бродяжкой, теперь шесть дней послужил официантом, пройдя ступени полового трактира, слуги ресторана, официанта в клубе, кухмистерской и, наконец, в шато-кабаке.

Я не ошибусь, если скажу, что положение и служба официанта во много раз хуже положений извозчика и бродяжки, хотя, казалось бы, что нет занятия хуже извозничьего и нет положения хуже бродяжки. Оказывается, что положение слуги в питейном заведении потому уже более тяжкое, что здесь необходимо быть своего рода мазуриком, живущим ежедневным, ежечасным обманом. Я говорю **необходимо** и докажу это. В большинстве человек неразвитый, свидетель всего самого безнравственного, бесчинного и безобразного, официант скоро втягивается в своё положение, теряет совесть, стыд и делается самым бесшабашным субъектом. А таких официантов в Петербурге около семи тысяч человек. Если между этими семью тысячами найдётся сотня порядочных, то эти порядочные во-первых, нищие, а во вторых, официанты-новички, не успевшие ещё втянуться в своё положение и войти в тесное общение с «коллегами»!

Не надо забывать, что официанты очень часто переходят в лакеи и слуги частных домов, попадают в разные слои столичного населения и таким образом являются разносителями, рассадниками традиций наглого обмана, плутовства, разврата и постоянного мошенничества до карманных краж включительно.

Терпим ли в столице такой институт порока и преступления, такая ужасная школа нравственного падения?! Хорошо ещё, что в 1894 года, «мальчики» изгнаны навсегда из этой школы, но, тем не менее, институт продолжает существовать и воспитывать семнадцатилетних парней прямо от земли, сохи и деревни. Поступающие в обучение парни даже не подозревают, что та наука, которую им открыто, почти

публично преподают и принуждают ей следовать, строго воспрещена Уложением о наказаниях и преследуется в порядке уголовного судопроизводства.

Существующие условия службы официантов создались не сразу, а складывались постепенно, идя медленно по наклонной плоскости порока и преступлений. Раньше обсчитывать гостей считалось предосудительным, теперь это постоянное явление, это спорт, подвиг, достоинство, заслуга «хорошего» и «опытного официанта». Раньше обшаривание карманов пьяного гостя случалось редко и представлялось преступлением, а теперь это явление заурядное. Раньше плутни слуги составляли тайну его совести, секрет, о котором он не рассказывал даже жене, теперь же плутни устраиваются сообща, по уговору артели, целыми компаниями, шайками.

Прежде слуга боялся жалобы или протеста гостя, дорожа местом, теперь, же он во многих заведениях чувствует себя выше хозяина. Не он от хозяина, а хозяин от него зависит, и поэтому он груб, нагл и дерзок с гостем, требуя с последнего заведомо лишнее, вступая в препирательство и угрожая ему кулаками, если он не хочет добровольно позволить себя обшаривать. Прежде слуга только служил гостям, а теперь он коммерсант, *торгующий* на своих столах и устраивающий целые аферы и облавы на гостя!

2

В потёртом, несколько засаленном фраке, при белом жилетеи таком же галстухе^[117] явился я с предложением услуг к ресторатору Петру Петровичу (псевдоним). Явился! Это легко сказать, но ~~н~~елегко было исполнить! Пётр Петрович сам из шестёрок, но теперь богатый купец, владеец нескольких заведений, домов и лавок, «Персона», до известной степени, в кругу общества, он является полубогом для людей, которые от него зависят. И что это за отвратительнейший, циничный человек, с его жирными, заплывшими, опухшими ланитами, маленькими, масляными тупыми глазками, красной короткой шеей, выпятившимся брюхом, точно у него подвешена подушка, короткими, толстыми как у слона, ногами и постоянно всклокоченной головой. Мне приходилось видеть Петра Петровича на некоторых собраниях-

заседаниях – там он почтителен; одна рука роет волосы, другая покоится на брюхе; рот искривился в улыбку, голова несколько наклонена; при сгибах корпуса для поклона левая нога лягается; он говорит скороговоркой, вкрадчиво и через слово прибавляет привычное «с», «так точно» или «слушаю-с»...

Но здесь, когда я явился к нему официантом, с предложением услуг, это был китайский богдыхан, владыка «Нанкина»^[118], повелитель рабов, дикий магнат... Сколько величия в этой питейной утробе и сколько презрения к голодному труженику, просящему работы из-за куска хлеба! Хороший хозяин с собаками лучше обходится, чем этот владыка со своими фрачными подданными.

Прежде чем мне в роли официанта удалось предстать пред очи Петра Петровича, я прошёл долгие мытарства. Раз пять я приходил упрашивать швейцара позволить мне пройти в ресторан «попроситься»... Он отвечал: «пошёл вон, много вас тут шляется, мы с улицы не берём всяких бродяг». С заднего хода тоже не пускают. Наконец швейцар смиловился и допустил до «старшого», т. е. главного официанта.

«Старшой» потребовал внести 5 рублей за рекомендацию «самому», потому что без его протекции «сам» не принимает, Условия службы такие: жить должен, где хочешь, есть – что хочешь, жалованье не полагается, залогу внести 25 рублей, и ежедневно опускать в кружку 30 копеек на ремонт хозяйской посуды. Таким образом, считая комнатку для ночлега в месяц 5 рублей, харчи 10 рублей, за будущую разбитую посуду 9 рублей, всего 24 рублей. Это я должен платить хозяину, у которого буду работать 16–18 часов в сутки! Прибавьте к этому ежедневно чистую манишку, белый жилет, приличный фрак – получится 30 руб. в месяц. Но этого мало; я должен дежурить, убирать залы, заправлять лампы, исполнять всякие хозяйские (лично его) поручения – и все это в придачу к обязанностям официанта!

Выслушав эти «условия», я призадумался. Где же я возьму эти 30–35 рублей, которые я должен заплатить Петру Петровичу за *право* работать на него?! «На чай»?...

Да, «на чай» гости дают: гривенник, пятиалтынный, а ведь этих гривенников надо набрать больше рубля в день, чтобы только расплатиться с Петром Петровичем! А что же я-то сам заработаю?! За что же я буду работать, отдавая Петру Петровичу свои молодые годы

здоровье, силы? Кто же будет меня питать, когда я заболею, состарюсь, проработав даром молодость? А паспорт, подати, семья, деревня?!

– Дурак, – сказал мне «старшой», выслушав мои сомнения. —А как служат другие, да ещё деньги наживают? Да ты служил ли раньше?

– Служил.

Я назвал трактир наугад.

– Вот и есть дурак. Разве у нас такой гость как там? Там чаю одному, да пять приборов, бутылку пива и семь стаканов, а у нас меньше зелёной [119] и гостя нет, а то красненькая [120] или четвертная. Тут, брат, не гривенником на чай пахнет, а сумеешь так и рубли в карман положишь!

– Покорнейше благодарю, – отвечал я, подавая «старшому» пятирублёвку.

– Ладно, приходи завтра, я тебя представлю «самому».

Я пришёл на завтра, но прождав часа четыре, ушёл ни с чем, так как сам был занят. На следующий день «старшой» сказал обо мне Петру Петровичу, но тот промывчал «э...э» Напомнить второй раз «старшой» не решился, а Пётр Петрович забыл или не хотел принять, но только пришлось опять уйти не представившись... Только в пятый раз моего хождения «старшой» выбежал в прихожую, где я ждал, и схватил меня на рукав:

– Иди скорей, велел привести... Да, ну, шевелись...

Я оправил галстук, одёрнул жилет и рысцой пустился за «старшим». Пётр Петрович сидел за одним из столов залы и «кушали» с двумя знакомыми «господами» – тоже трактирщиками. Мы остановились в почтительном расстоянии... На мой поклон он повёл только бровями и сейчас же отвернулся, продолжая свой разговор с «господами»...

Я стоял... Пётр Петрович наливал рюмки; они выпивали, закусывали... Два моих будущих сослуживца суежилась около стола, ловя приказания на лету... Им подали лососину, селянку, потом новую бутылку водки, потом рябчиков, наконец кофе и ликёры... А я все стою... Прошло часа полтора... Они толковали и пили, выпивали и закусывали... Я наблюдал, как постепенно их физиономии краснели, речь заплеталась, фразы делались отрывистее, движения и жесты непринуждённые. У меня уже ноги начали подкашиваться... С удовольствием я плюнул бы в эту лоснящуюся рожу, а между тем

приходилось стоять, и я не смел даже кашлянуть, а не только заговорить...

Верно, я долго ещё дежурил бы, но «господа» начали прощаться с хозяином и ушли. Теперь Пётр Петрович остался один, продолжая тянуть ликёр, и бросил, наконец, на меня взор.

– Из каких? – протянул он, обращаясь в пространство.

«Старшой» вырос как из земли и, кинувшись дугой, доложил его владычеству, что я служил там-то, по-видимому, трезвый и наши условия знаю.

– А если гость уйдёт, не заплатив, ты отвечаешь! Я не принимаю, хоть он на сто рублей напьёт.

– Слушаюсь.

– И скандалов у меня не заводить, до «участка» ни-ни... Не хочет платить – пусть уходит, только без скандала.

– Слушаюсь.

– При расчётах с гостем смотри, чтобы жалоб не было! Ты наживай хоть тысячи, а как спор или жалоба – вон, сейчас вон выгоню! Лучше своим поступись, только без греха, уважь гостя. Для меня гость дороже холуя. Вас, нищих, много шляется.

– Слушаюсь.

– И опять, дело своё должен знать. Чтобы чистота была везде на столах и под столами. Хозяйский интерес соблюдать. Стараться нужно дороже товар подавать. Предлагать умеючи. Прейскурант должен знать твёрдо, на память.

– Слушаюсь.

– Гостей знакомых обожать! Претензий никаких. В морду ли дадут, горчицей рожу вымажут – кланяйся и благодари. Понял?

– Понял-с...

Пётр Петрович вперил в меня грозный взгляд.

– Ну, пошёл...

Не успел я дойти до прихожей, как меня догнал «старшой»:

– Ах, ты болван этакий! Что же ты не просил?! В ноги должен был... Чуть все дело не испортил... Ну, давай залог, приходи завтра на службу...

– Принял?

– Велел принять...

Я достал 25 рублей и отдал.

На следующий день моего представления владыке «Нанкина» я обратился к «старшому» за приказаниями: когда явиться, где служить, что исполнять и т. д. «Старшой» был занят, сказал, что мне дадут один кабинет и два крайних стола в зале:

– Ступай к Семёну, он тебе расскажет...

Я пошёл искать Семёна...

Было утро. Гостей в «Нанкине» не было никого. Все официанты собрались в одном из пустых кабинетов и пили чай, мирно беседуя. Среди них был и Семён. Я вошёл в кабинет. На мне был мой старый фрак, в руках салфетка, голова причёсана с пробором посередине, затылок подбрит, на лице кислая гримаса, чтобы изменить выражение.

– А, а, новенький, – произнесли несколько голосов, – ну, добро пожаловать, садитесь, хотите чаю? Вы где раньше служили? Вас кто рекомендовал?

Вопросы сыпались со всех сторон, спрашивали все хором, но каждый о своём. Меня удивило, что «шестёрки» говорят мне «вы», тогда как не только владыка, но «старшой», буфетчик, и другие начальствующие лица «тыкают» без всякой церемонии. Вместе с «вы» я встретил в этой среде некоторое сочувствие. Засыпав меня вопросами, мне налили чаю, усадили, а Семён даже хлопнул по плечу и, ослабившись, произнёс:

– Поганое, брат, наше житьё, ну да ничего, поступай, мы тебя приголубим, не дадим в обиду.

Всех «шестёрок» в «Нанкине» было четырнадцать. Все они были тут на лицо. Фигура Семёна резко выделялась. Он походил скорее на директора банка, чем на шестёрку. Полный, с далеко выдающимся брюшком, среднего роста, с красивыми седыми баками, выразительным лицом и сочным грудным голосом, он положительно был эффектен, если бы от него не разило вечно сивухой и пальцы не были всегда в нюхательном табаке. Остальные мои коллеги были люди пожилые, пожившие на своём веку, о чём свидетельствовали их физиономии с изъязнениями и глубокими морщинами. Откровенно сказать, компания этих будущих моих «коллег», их благосклонность ко мне производило гнетущее, удручающее впечатление и шевелило чувство

брезгливости. Особенно неприятно поражала их нечистоплотность. Сморкаются в руку, вытираются той же салфеткой, которой протирают гостям посуду. Нюхают табак и теми же пальцами сейчас ломают хлеб. Берут всё из общей миски и туда же бросают свои огрызки, объедки. Между тем, среди этих четырнадцати «шестёрок» есть прыщавые, угреватые, болезненные, быть может, и с дурною болезнью. (Их никто не свидетельствует, хотя они ежедневно кормят и близко соприкасаются с сотнями гостей). После короткого знакомства со мной компания продолжала прерванный разговор. Семён рассказывал о своём недоразумении с буфетчиком.

– Мазура этакая! Я своим гостям в кабинет подставил три пустые бутылки. Получил без спора, а он (буфетчик) требует себе половину. Умник какой! Я ему дал три целковых, а он говорит: хозяину скажу. Ну говори, плевать!

– И сказал?

– Сказал. Хозяин приказал получить с меня за все три бутылки. А это ведь 18 целковых! Раззудил! Для него я гостей, извольте радоваться, обставил? И гости-то хорошие! Около трёх на чай дали.

Я плохо понимал жаргон этой компании, но после освоился. «Обставил», значит обсчитал. «Подставил» или «примазал», значит – прибавил фиктивно к счёту, для чего в угол кабинета, куда отставляют выпитые бутылки, лакей незаметно принёс и поставил несколько пустых бутылок, будто бы выпитых здесь. Это делается, когда компания хорошо «зарядила», т. е. напилась. На три – четыре бутылки «примазывается» одна, а если в компании есть «эти» дамы, то и две. Дамы всегда являются помощницами официанта в обмане.

Если дамы из «этих», то лакей прямо входит с ними в стачку и делится барышом. Если же особы порядочные, то кавалеры, сидящие с ними, конечно, не захотят скандала со слугой, а, напротив, не потребуют даже счета, просто приказав: «получи». Значит, получай, сколько хочешь и обсчитывай, как угодно. Также легко обсчитать и пьяного, который не только не в состоянии проверить официанта, но жёлтой бумажки не отличает от красной^[121].

– Чем же, чем же иначе было бы жить шестёркам, – трагически восклицает Семён, – если бы не дамы, да пьяные?! Ведь у нас два рубля в день своего расхода, а жалованья во (он сделал выразительный жест). Поди, пятиалтынными собери!.. Нет, брат, всякий хозяин

понимать должен, что слуги будут обсчитывать, если он сам с нас берёт себе жалованья по 6 рублей с носа, а в старину **нам** платили по 10–15 рублей на всём готовом! Тогда и не обсчитывали...

– Скажите, Семён Данилович, где мне служить, когда дежурить?

– А вы когда хотите начинать?

– Да хоть сегодня...

– Валите сегодня... Ваши столы у нас в разъезде, а кабинетик у Мушина. Пойдёмте, я вас сведу. А то, может, угостите нас, спрысните?

– После с удовольствием, непременно, а теперь надо отделаться.

– Ну, пойдём.

Я засунул салфетку под мышку и пошёл за Семёном. Как раз в этот момент загремел колокольчик на буфет и раздался голос буфетчика:

– В залу...

– Ну, вот вам и репетиция. Идите в залу, верно, пришли, а я после покажу вам...

Действительно, в залу входили посетители. Солидный купец и элегантный юркий господин, в котором я сейчас же узнал помощника присяжного поверенного Z. «А ну, как узнает»? – мелькнуло у меня в голове, и я сделал сильную гримасу, точно подавился косточкой. Z. увивался и лебезил, потирая руки. Очевидно, купец был богатый клиент; он держал себя с достоинством, покровительственно... Я подошёл к столу, у которого они сели, и остановился «выслушать заказ».

– Ну что, по рюмочке? – протянул купец, развязывая на шее кашне.

– Как хотите, как угодно, – заёрзал Z., – мне все равно.

– Так, дай нам, – начал купец, не слушая собеседника, – полбутылки и закусить чего-нибудь с буфета, солёненького.

Я повернулся идти, но резкий оклик Z.: «Послушай, эй!» – заставил меня вернуться.

– Болван, – закричал он, – спроси их (купца), какой водки!

И прежним любезным тоном он обратился к купцу:

– Вы «Смирновку»^[122] или «Кошелевку»^[123] предпочитаете?

Купец ничего не ответил.

– Ну, тащи «Смирновки», – проговорил. Z. через минуту, не дождавшись ответа купца.

Я пошёл подавать...

«Нанкин» торгует бойко только поздно вечером, после театров, цирка и других представлений. Около двенадцати часов занимаются все кабинеты и столы, а в течение дня почти никого нет, и мы, официанты, слоняемся без дела по комнатам. Купец с молодым юристом, которым я прислуживал, просидели часа два. Последний, видимо, не охотно пил, но не дерзал перечить своему доверителю и в угоду ему опрокидывал рюмку за рюмкой. Купец над ним «куражился» и несколько его третировал. Адвокатик, не стесняясь присутствием «холуя» и считая себя один на один с его степенством, позволял над собой довольно бесцеремонные шуточки. Он даже сам себя вышучивал...

– Ну, скажи по совести, – спрашивал его купец, – ведь ты взялся бы вести дело против отца родного?

– Наша обязанность такая, ха, ха, ха, если можно сорвать куш, какое хотите дело возьмем.

– И сирот разденете, по миру пустите?..

– Если на законном основании, ха, ха, ха!

– Ах вы...

– Ха, ха, ха!..

– Ну, так с меня сколько же сорвать хочешь?

Купец говорил ему «ты», а он почтительно «вы». Они поторговались, рассчитались и встали.

В зале никого не осталось. Я пошел к «товарищам», которые продолжали еще пить в кабинете. Там оказался и «старшой».

– Ну, новичок, успел уже нажать?

– Да у этих подьячих наживешь, – ответил за меня Семён, – поди, гривенника не получил?

– Ни гроша, – подтвердил я.

– Вот и служи таким архаровцам. Так и смотри, что с тебя возьмут на чай!..

– Ну, вы тоже младенцы! Поди маху дадите! Тоже палец в рот не клади, – заметил «старшой».

– А то, что же, зевать? Наше дело такое: прозеваешь – сиди на бобах!

– Как вы вчера компанию-то из цирка обработали?

– По два целковых на брата пришлось!

– Расскажите, в чем дело? – обратился я к «коллеге» с бакенбардами.

– Да ничего особенного. Они заказали крюшон, потом другой, третий. Угощали актеров каких-то. Мы им первый-то крюшон сделали как следует, а второй и третий на простом спирту из сорокакопеечного красненького, с апельсинами и сахаром. Они и не расчихали, а взяли с них по семь с полтиной, да еще обсчитали на четыре рубля в итоге.

– Важно. И не спорили?

– Какой спорили! Они все хотели платить; мы чуть с троих не получили по тому же счету! Жаль, не очень перепились, а то получили бы!..

– А буфетчик разве не смотрит?

– А что он может смотреть? Мы за буфет марки платим, почем он знает, кто и сколько подал в такой-то кабинет? Мы служили тогда вчетвером, все подавали, поди разбери, что было подано. Ведь компаний в ресторане много, разве буфетчик может уследить, кому что подавали? Мы его (буфетчика) счет писать заставляем; говорим ему – он пишет; что скажем, то и напишет. Тут никто ничего не разберет.

– А если бы завести такой порядок, как в Выборге? Там гости расплачиваются только с буфетчиком. Слуга говорит, сколько чего он подавал, а буфетчик получает.

– Ну, тогда нам всем могила! Кто же тогда будет служить без жалования!

Пробило три часа.

День тянулся без конца. Работы никакой. И зачем все официанты приходят с утра, когда нечего делать? Отчего не завести дежурство?

– А что ж дома-то делать? Здесь нет-нет да и перепадет какой-нибудь заработок. По крайней мере, сыты. Сейчас нам обедать дадут. Вот в больших ресторанах: у «Палкина», в «Ярославце» или в кафешантанах, там собираются вечером, а день спят; зато и харчей не полагается, а у нас обед дают. Сходите-ка на кухню.

– Нет, мне неловко, я ведь новичок, пойдем вместе.

– Ну, я схожу, а вы приборы соберите в кабинет да скажите другим, чтобы шли обедать.

Через полчаса сели обедать. На столе дымилась большая миска и лежало несколько краюшек хлеба. Для каждого – по ложке и одна

общая салфетка. Ели все из миски. Я захватил своей ложкой какой-то неопределенной жижи и с трудом проглотил.

– Не хочется, – сказал я, положив ложку.

«Коллеги», однако, уписывали с аппетитом и выхлебали всю миску до дна. Меня командировали за вторым блюдом. Я притащил огромную сковороду жареного картофеля и каких-то мясных обрезков. Повар не пожалел сала, которое испортилось, и его все равно надо было выбрасывать. Сковорода вся была залита жиром. До этого угощения я тоже не решился дотронуться, хотя очень скоро сковорода была очищена; ели тоже сообща, прямо со сковороды, тыкая вилками. Пообедали в общем сытно и заказали себе чаю в складчину, на собственный счет. За чаем просидели до семи часов вечера, мирно беседуя о своих делах и делишках. В начале восьмого приехал «сам» и все слуги врассыпную бросились к своим «местам»...

Стал и я на свое место с салфеткой под мышкой. «Сам» был мрачен, недоволен... Буфетчика он «облаял» за плохую торговлю и теперь смотрел к чему-нибудь привязаться в залах. Поравнявшись со мной, он вперил в меня гневный взор.

– Ско-о-от!

Я ничего не ответил. Подбежал «старшой».

– Он первый день только, – залепетал он, указывая на меня.

– Уб-ра-а-а-ть!

И «сам» пошел дальше. Я ничего не понял; после оказалось, что я не отвесил «его владычеству» поясного поклона и даже совсем не поклонился...

– Тебе надо завтра выпросить прощение, а то выгонит, – сказал «старшой».

– Хорошо, – ответил я.

Завтра меня и так здесь не будет; мне нужно еще интервьюировать другие кабаки...

Вот и вечер... Стали собираться гости, компании. Слуги суетились, бегали. Тут я заметил, что мои столы оказались и самыми неудобными, и невыгодными – гости садились все по уголкам, а проходных столов избегали. Для меня это было очень кстати, потому что, не занятый беготней, я легче мог наблюдать.

Вот вошли пожилые люди, компания молодежи, три компании с дамами, несколько парочек... Входят все прилично, скромно, тихо.

Слуги – настоящие артисты своего дела: как ловко каждого встречают, усаживают и распинаются в услугах. Точно ветром их носит по коридорам и залам, от стола к буфету, от буфета на кухню. И какое искусство проявляется там, в коридорах! Одни сортируют посуду, другие заготавливают белье, третьи доедают объедки с тарелок, четвертые сливают опивки, потом что-то стряпают пальцами на блюде, прежде чем внести блюдо в зал. Если б этот гость, которому сейчас так мило подали желе, видел бы, как шестерка пальцем ровнял это желе и облизывал свой палец!.. Или пресловутая салфетка под мышкой, которою только что отер пот на лице и протер тарелку для жаркого... А с каким цинизмом повар на кухне обращался с провизией? Брр...

Час ночи... Ресторан совсем полон... Заняли и мои столы. Приходится бегать...

За моим столом сидела девица с пожилым господином, по-видимому, из приличных... Девица вышла и, проходя мимо меня по коридору, шепнула:

– Дай мне полтинник...

Я отрицательно покачал головой... и досталось же мне после! Каждый бутерброд пришлось менять три раза! Все нехорошо: сначала фыркала девица, а потом стал покрикивать и господин. Чуть до скандала не дошло! При расчете не признали бутылки пива и меня жуликом обозвали.

После часа начался настоящий содом.

5

– Ну, много ли ты выручил? – спросил меня Семен, когда двери «Нанкина» закрылись, и последняя компания гостей вывалилась из ресторана...

Я усмехнулся. За день я «нажил» 30 копеек, но пришлось отдать за спорную бутылку пива 20 копеек, опустить в кружку 20 копеек и заплатить за общий чай 18 копеек. Так что в итоге получился минус в 28 копеек, не считая расходов на собственное существование.

– Ничего, – ответил я, – нажил, только я вот не могу понять, какое назначение имеет наша кружка, куда мы опускаем свои

двухгривенные? Ведь это четыре рубля в день или тысяча двести рублей в год. Неужели мы на такую сумму перебьем посуду, тем более что когда посуду бьют гости, с них за это получают деньги. Значит, куда же идут эти тысяча двести рублей в год?

– А это в распоряжение «старшего». Он за все отвечает, и в его распоряжение идет все, опускаемое в кружку.

– Почему же кружка не составляет артельной собственности? Ведь все мы в ней участвуем, и пусть из нее возместят хозяину ремонт посуды, а остальное разделят на всех, пропорционально, кто сколько времени служил.

– Ну, со своими порядками в чужой монастырь не ходят; так везде заведено, кружка принадлежит «старшему», в других местах платят по тридцать-сорок копеек в кружку и в день собирают больше десяти рублей, и то не делят.

– Напрасно, вы бы требовали. Обратились бы с жалобой.

– Брось, что о пустом толковать! Не хочешь ли лучше с нами идти?

– Куда?

– Мы идем играть к Денисову.

– Пойдемте.

Оказалось, что к Денисову (один из официантов) идут почти все наши сослуживцы. Отказался только один, у которого дома жена лежит больная. Этот несчастный хуже всех и зарабатывает, благодаря некоторой застенчивости. Он вечно бедствует, выпрашивает у товарищей гривенники взаймы и влачит самое жалкое существование.

Было четыре часа утра, когда мы гурьбой вышли из «Нанкина». После закрытия ресторана надо было сдать марки, отчитаться в буфете, убрать посуду, привести в порядок свои столы и кабинеты и т. д. Нас вышло семнадцать человек. У всех физиономии помятые, шапки на затылке, пальто внакидку, белые галстуки сдвинуты на сторону, в зубах папироски. Идти пришлось на Петербургскую сторону. Шли веселой гурьбой, громко разговаривая.

Вот и Гулярная^[124] улица. В одном из деревянных домиков на заднем дворе Денисов занимал квартирку из одной комнаты с кухонькой за 6 рублей в месяц. Нас встретила жена Денисова, молодая женщина. Она, очевидно, ждала гостей и услышала наше приближение, как только мы ввалились во двор.

– Ну, ребята, валите, – приглашал Денисов, шедший впереди, – водка есть, закуски хозяйка даст. Вынимайте по два двугривенных.

Обстановка квартирки самая убогая: посреди единственной комнаты стоял стол с засушенными картами и несколькими полштофами водки. Сбросив в один угол свои пальто, все бросились к столу и налили по рюмке...

– Ну, теперь полегче, можно и за карты садиться...

Кое-как разместились на нескольких табуретах... Денисов заложил 5 рублей в банк и приготовил колоду карт. На стол потянулись руки с серебряными монетами; ставили по 20–50 копеек на карту, и банкомет бросал направо – налево. Счастье шло перемененно. Все погрузились в игру и увлеклись... Меня клонило ко сну. Однако я решил дожидаться конца... Игра продолжалась, с небольшими перерывами для выпивки до десятого часа утра... Банк был взорван; многие проигрались до копейки; настроение сделалось пасмурным... Стали расходиться... Человек шесть тут же остались «соснуть часок», остальные пошли к «Нанкину», где можно днем выспаться в кабинетах на диванах...

– Неужели это вы каждый день так проводите? – спросил я Семена.

– Почти. Играем поочередно, у своих, а то закатимся куда-нибудь на постоянный или в чайную... У нас есть такие, что и не имеют квартир... Так всю жизнь и мыкаются...

– Вот оно, положение-то «шестерки»! И это в хорошем ресторане, а что же в простом-то трактире?

– Там лучше. Там слуги получают шесть-семь рублей жалованья, имеют хозяйскую квартиру, стол... Положим, эта квартира хуже коровника и стол хуже, чем свиней кормят, а все же сыт и в тепле; а жалованья хватит на паспорт и одежду... Так и живет, а прогонят без гроша на улицу – иди бродяжничать или домой по этапу...

Я расстался с Семеном и сказал, что не пойду в «Нанкин».

– Как можно! Ведь «старшой» прогонит!..

– Я сам приду завтра за залогом, а теперь надо выспаться...

6

Следующие пять дней моего интервью я посвятил трактирам грязным, средним и одному загородному кабачку.

Для краткости я дам читателям свои впечатления в виде «профилей» наиболее типичных сторон трактирного слуги Петербурга, или, правильнее сказать, трактирной «шестерки».

Кто такой «шестерка»? В большинстве трактирная «шестерка» – какой-то несчастный лакей, без роду и племени, без специальной подготовки, и ради нужды и голода идущий служить за 5–7 рублей в месяц, работая с семи часов утра до часу-двух часов ночи... Но есть и другой тип «шестерки»... Он окончил полный курс наук по предмету своей профессии и прошел с детства следующие должности: мальчика в судомойной, помощника «шестерки» (в зале или номерах, смотря по роду заведения), мальчика за буфетом, служащего на черной половине, младшего слуги, подручного буфетчика и, наконец, если во всех перечисленных должностях успешно сдал экзамен – жалуется в звание самостоятельного «шестерки», с правом получать из буфета марки на 5-25 рублей (смотря по торговле заведения).

«Шестерка» является полным хозяином отведенных ему столов зала или кабинетов. На первый раз ему даются столы, имеющие меньше посетителей, например, в углах зала, у печей и т. п. Он обязан утром привести столы в порядок, переменить (вернее, перевернуть) белье, запастись спичками, солью, горчицей, посудой и сервировкой. Он следит за гостями и отвечает за них, т. е. если гость поест, попьет, и уйдет – за него платит буфетчику шестерка!.. Зато он может обчитывать и обманывать гостя как хочет, с условием не доводить дело до жалоб и скандала.

Если «шестерка» умный, расторопный и смысленный человек, «с тактом», он непременно делается буфетчиком и выходит в «хозяева». Из нынешних владельцев трактиров почти две трети вышли из шестерок, но, увы, гораздо чаще «шестерки» идут в арестантские роты и на поселение... Статистика опытных трактирщиков показывает, что из «мальчиков» только 10 % выходит в «шестерки», а из «шестерок» только 10 % – в люди... Весь же остальной контингент пополняет ряды пропойцев, арестантов и бродяжек...

Почему это? Очень просто. Школа «шестерок», в которую они попадают десяти-, одиннадцатилетними мальчиками, представляет из себя эссенцию всевозможного разврата, разгула, грязи и подлости. На глазах мальчика совершаются ужасные проделки по части обманов, подлогов, бесчинства, пьянства и грехопадения во всех его видах! С

утра до вечера он видит и слышит такие вещи, о которых многие не имеют понятия, дожив до старости.

Нужно иметь железную волю, закаленный характер и большой ум, чтобы остаться равнодушным ко всем этим слабостям человеческого организма... А такими натурами из ста мальчиков одарены два-три и того меньше! Очевидно, девяносто восемь делаются негодьями высшей пробы и наполняют потом российские остроги и тюрьмы... Есть мальчики двенадцати лет, которые играют в азартные игры, напиваются до бесчувствия и ловко умеют не только обсчитывать, но и вытащить из кармана. Такие мальчики никогда не дослуживаются до «шестерки» и в тринадцать-четырнадцать лет начинают уже бродяжничать по Петербургу...

Сколько таким образом загублено трактирным промыслом юных сил?..

«Шестерка» в огромном большинстве ярославец и часто мышкинский^[125]. Это, так сказать, родовой «шестерка», имеющий в Петербурге многих родственников хозяевами и буфетчиками. В самом деле, из 320-ти петербургских трактирщиков около 200-х – ярославцы, прошедшие школу мальчика и слуги. И среди ярославских «шестерок» гораздо меньше спившихся; они отлично служат, умеют всем угодить и услужить, справляются за двоих по расторопности, а главное, обладают особым тактом и чутьем, столь ценным в трактирном ремесле. Они узнают гостя, как только он вошел, знают, сколько он оставит в трактире, и сообразно этому расточают свое усердие; «хорошему» гостю они со всех ног бросаются служить и угадывать его желание, а «чайного» барина встречают холодным равнодушием и делают все, чтобы «отучить его шляться».

Для хозяина трактира это чутье «шестерки» дороже всего. Бывают случаи, что какой-нибудь «барин на вате» займет лучший стол, спросит на гривенник чаю и просидит несколько часов, требуя все время заводить орган! Такому барину готовы дать отступного, только бы он ушел! Опять и орган: есть много купечества, не терпящего органа, и шестерка должен знать это. Если чайный барин при таких купцах требует заводить «машину», ему говорят – «испортилась», скажи – «нельзя завести при купцах» – и скандал!

Вообще, от хорошего «шестерки» требуется качество дипломата, коммерсанта, экономиста, финансиста, гастронома, санитаря и т. д.

и т. д. Все он должен знать и уметь угодить, «потрафить»... И при всем том «шестерка» восемнадцать часов на ногах, не имея четверти часа «свободы»: он обедает урывками, чай пьет стоя, отдыхает, только прислонившись к стене и не смея сесть...

В Петербурге, впрочем, число хороших «шестерок» сокращается с каждым годом. Происходит, так сказать, деморализация, мельчание, которое находится в прямой связи с мельчанием состава хозяев заведений и самого промысла. «Шестерок» душат все: хозяин довел жалованье не только до нуля, но в некоторых случаях сам берет со слуг по 20–40 копеек в день на реставрацию посуды, выписку газет и т. п.; буфетчик прижимает слуг провизией и счетом, относя на их на долю все, что пропадает за гостями, протухнет, сгниет, испортится; гости считают своим правом издеваться и глумиться над «шестеркой». Неудивительно, что при таких условиях многие стараются покинуть свое ремесло, и если им не удастся выйти в буфетчики, то они подыскивает другую профессию. Конечно, и характер трактира много теряет от такого мельчания «шестерки», а посетителям приходится терпеть немало неприятностей.

«Шестерка» имеет пять разновидностей.

Официант – самая солидная «шестерка». Непременно во фраке, при белом галстуке и в белом же жилете; настоящий официант с баками и брюшком ходит переваливаясь, не спеша, с достоинством и в то же время с почтительностью. Чаше всего официанты – татары, французы, немцы, и реже – петербуржцы; ярославцы официантами почти не встречаются; многие из них имеют кругленькие состояния.

Половой – чистая «шестерка». Фрак его конкурирует с белым одеянием по примеру Москвы; при фраке белый передник. Он поворотлив, суетлив, старателен, услужлив и ловок. Кроме обязанностей «шестерки» исполняет и другие поручения, о внешности заботится мало и все внимание употребляет на дело; своего хозяина и всех знакомых последнего знает до тонкости и перед ними не ходит, а ползает.

Слуга – простой смертный; ходит в визитке, пиджаке, в чем попало. Грязен и груб. Не дорожит местом и дольше двух-трех месяцев не служит у одного хозяина. Возраст и прежняя профессия самые неопределенные. Исполняет свои обязанности лениво, неохотно и

неумело... Нечист на руку и, случается, запустит руку в карман, подавая пальто гостю...

Человек – нечто среднее между половым и официантом. Довольно неопределенен, потому что в его роли появляются разнообразнейшие элементы.

Услужаящий – самый безобидный и безответный «шестерка» грязного трактира; всегда сонный, потому что не спит по-человечески, голова всклокочена, потому что никогда не чешется, грязен до тошноты, чтобы гармонировать с прочей обстановкой заведения... Нищ, наг и ничего не имеет в будущем... Таким и останется навсегда, если не удастся перейти в ранг слуги или полового.

7

Ознакомившись в общих чертах с профилем шестерки, небезынтересно будет остановиться на некоторых экземплярах, выделяющихся из ряда обыкновенных.

Есть шестерки капиталисты, ростовщики и даже купцы, владеющие магазинами; тем не менее, служат они «шестерками»... Я уже говорил, что хороших «шестерок», преданных своему делу, изучивших это ремесло и старающихся работать ради пользы службы, становится все меньше и меньше, потому что условия службы положительно невозможны. Теперь образцовый «шестерка» редкость и его можно встретить только в Москве. Наши же, петербургские, «шестерки» в большинстве или выгнанные отовсюду неудачники, или заведомые плуты и аферисты; поумнее – наживают деньги, попроще и испорченнее – идут в арестантские роты. В справедливости последнего нетрудно убедиться, заглянув в статистику арестантов, отбывающих наказание. Оказывается, что процент трактирных слуг занимает первое место во всех наших тюрьмах...

Трактирные слуги – первые картежники и азартные игроки, они же сплошь и рядом укрыватели всяких преступников... Редкая большая кража, подлог, крупное мошенничество обходятся без участия, в той или другой роли, трактирного слуги.

Приведу несколько персонажей.

№ 1. Мишка П-в. Плотный, жирный парень, лет 45–47. Служит в «шестерках» по садам и кафешантанам... Представительная внешность, маленькие плутоватые глазки и солидная лысина... Знаком со всеми лучшими посетительницами заведения, где служит. Состоит «комиссионером» многих кутил и мотов. Человек со связями и протекциями. Несколько раз ему предлагали место буфетчика, но он благоразумно отказывается, находя, что положение «шестерки» имеет многие преимущества: во-первых, буфетчику не дают на чай, а вместо этого удостаивают рукопожатия, что в нынешний век недорого стоит; во-вторых, «шестерке» гораздо легче обчитать гостя и войти в стачку с посетительницей, чем буфетчику; в-третьих, каждая услуга «шестерки» оплачивается, тогда как буфетчику говорят «спасибо», из которого шубу не сошьешь; в-четвертых, наконец, у буфетчика гораздо больше ответственности и хлопот.

По этим соображениям Мишка предпочитает оставаться слугой, хотя с 1889 года он состоит в списке купцов 2-й гильдии и имеет большой магазин. Одно другому не мешает. В магазине он торгует с утра до восьми часов вечера, в девятом часу облачается во фрак и идет летом в сад, зимой в кафешантан. Здесь он «работает» и с парой красненьких возвращается к четырем часам ночи домой. Завтра опять то же. В нынешнем году Мишке труднее благодаря тому, что торговля в садах затягивается до пяти часов утра и ему некогда выспаться. Но и этому горю он помог, женившись. Пока он спит – торгует жена. Если спросят Мишку, чем он больше дорожит: магазином или службой, он, не колеблясь, ответит – службой! Да и в самом деле: в магазине он наживает не больше 20–40 % на товаре, который надо купить, а в саду он, рискуя, самое большое, своей физиономией, которую могут вымазать горчицей или подставить фонарь (и то и другое проходит, не оставляя следа), наживает нередко 20–40 рублей, смотря по числу посетителей и по состоянию упившихся. Не забудьте, что это в одну ночь, тогда как в магазине, чтобы нажить 40 рублей, надо сторговать на 100–300 рублей, чего никогда не бывает.

№ 2. Алешка-корявый – тоже «шестерка» садов и кафешантанов. Небольшого роста, худощав и увертлив. Не раз в него пускали тарелкой или солонкой, но он всегда ловко увернется и станет, разбойник, непременно так, чтобы пущенный в него предмет угодил в

зеркало, окно, лампу и т. д. «Нужно наказать его, – говорит он после, – пусть не бросается».

Алешка торгует преимущественно в кабинетах, и все его кабинеты постоянно заняты. Он, как приходит, расставляет на столы пустые бутылки и чайники, так что, когда входит «нежеланный» гость, он почтительно заявляет: «Извините, здесь занято». Зато для знакомых посетителей у него всегда имеется свободный кабинет: «Милости просим, ваше степенство».

Алешка состоит в тесном союзе с несколькими посетительницами, которые своих знакомых непременно ведут к нему в кабинет и здесь требуют такие вина и закуски, чтобы Алешка легче мог обсчитать и больше нажить: например, спросите вы по карте две порции – не скажешь ведь, что подано четыре, а спросите сардин, бутербродов, омаров, сыру и проч. – пересчитать все нет возможности; в случае спора посетительница всегда окажется на стороне Алешки и гостю приходится платить.

№ 3. Петька-игрок – «шестерка» хорошего ресторана. Степенен, во фраке, с курчавой шевелюрой. Днем гуляет на Невском в цилиндре, перчатках, коротком пальто и с тросточкой. Знает несколько фраз по-французски и ломает иногда «листократа». Все свободное время после запора ресторана посвящает игре в карты, в стуколку, иногда по 3 и по 5 рублей ставка. Денег у него нет, но умеет всегда достать на игру и играет довольно счастливо. Некоторые считают его за шулера, но так как до сих пор никто физиономии ему подсвечником не разбил, то и утверждать это нет оснований. Замешан в нескольких грязных историях. На обязанности «шестерки» смотрит только как на средство легкой добычи... Сорвал – хорошо, не пришлось – не надо.

№ 4. Ванька-ростовщик – парень лет сорока, отвратительной внешности. Груб и неряшлив. Все в трактире, начиная с хозяина, у него в долгу. Дает посетителям «на несколько дней», взимая рубль на рубль, причем рискует ничего не получить. В среднем на 5000 рублей, распущенных в долг, получает до 3000 рублей дивиденда. Азартный игрок на бильярде и не играет меньше 10 рублей партию...

№ 5. Ванюха-безгубый – получил это прозвище по причине откушенной губы. Кто и когда ему откусил – покрыто мраком давности. Служит в трактире средней руки и получил известность умением обсчитать пьяного гостя, которого положительно

гипнотизирует. Например, гость платит за две бутылки пива и дает 3 рубля. Ванюха подает ему на тарелке 40 копеек и твердо говорит: «За пиво 40 копеек – пожалуйста получить 40 копеек». Или с 5 рублей дает 60 копеек: «С вас за водку 60 копеек – пожалуйста получить 60 копеек».

– Ишь, разбойник, как верно считает, – скажет гость заплетающимся языком и сует деньги в карман. А Ванюха и глазом не моргнет.

Таковы петербургские «шестерки».

И все-таки винить следует не «шестерок», а те условия их невозможного быта, в которых порядочный слуга не может работать и уступает место мишкам и ванюхам...

9

Последние два дня своего интервью я посвятил серым и грязным трактирам.

Из всех видов и категорий петербургских трактиров самым несимпатичным и зловредным следует бесспорно признать «серый» трактир, предназначенный для публики средней – между чернорабочими и достаточными людьми, каковы мелкие служащие, торговцы, разносчики, приказчики, писцы, канцеляристы, артельщики и тому подобный люд. Я не хочу этим сказать, что для средней публики, или «серой», как её называют, вовсе не нужно трактиров. Напротив. Для этой публики трактир является единственным местом питания, развлечения, отдыха и удовольствия. Зло «серых» трактиров кроется в самой постановке дела, в их организации, устройстве и содержании. Это, проще говоря, не трактиры, а вертепы, служащие для спаивания посетителей и рассчитанные только на одно пьянство, разгул и разврат. Отнимите у этих трактиров их теперешние атрибуты в виде падших созданий, низкоградусной сивухи, гремящего органа и пьяной оргии завсегдатаев, заставьте держать их приличную кухню, доброкачественную провизию, чистую, благообразную обстановку и... и трактиры эти закроются сами собой. Вы спросите: почему? А потому, что тогда этот трактир не в состоянии будет платить 1000 рублей повинностей, 2000–3000 рублей за квартиру, 3000–4000 рублей на содержание служащих и т. п., и главное, не будет давать хозяину 5000–6000 рублей годового дохода. Я уже говорил, что трактиры в

Петербурге мельчают; приличные трактиры превращаются в серые, грязные, дешёвые, кабацкие... Это лучше всего доказывает, что последние трактиры выгоднее держать, чем первые. И действительно. Кто пойдёт в хороший трактир? Приличный человек, который выпьет, закусит, послушает орган, почтает газету и уйдёт; он много-много израсходует целковый, а в компании – два-три рубля. И только. Между тем такому гостю надо предложить выбор по карте, подать все чистое, свежее, доброкачественное. А это все стоит денег; тогда как серая публика невзыскательна, неразборчива, безответна, неумеренна, невоздержанна и, «разойдясь», истратит все, что есть в кармане, т. е. оставит в трактире больше приличного посетителя, хотя у последнего в сто раз больше амбиции, требовательности, гонору и крику. Серая публика «все сожрёт» и окуня от сига не отличит, конины – от черкасского мяса... А подай-ка приличному гостю телятину с душком? Тут и протокол сейчас наживёшь... «Хороводься» потом с ним! Неудивительно, что у нас в Петербурге приличному человеку (не говоря уже про дам) без шальных денег решительно негде закусить, некуда пойти. А рядом с этим серые трактиры спаивают, отравляют свою публику.

Чтобы не быть голословным, я дам несколько снимков с натуры по серым трактирам...

Невский проспект. Целые два этажа, первый и второй, залиты огнями... Первый час ночи...

В этом трактире (я его не называю, потому что беру как тип) 86 столов и за каждым сидит три – шесть человек, так что всех посетителей не менее 400–500 человек. Классифицируются они так: около ста падших женщин, т. е., другими словами, нет ни одного стола без участия «этих дам»; человек сто парней-подростков из торгового люда; есть прямо мальчишки лет 15–16, ушедшие тайком из артельной квартиры и спускающие последние гроши, нажитые или украденные; далее человек сорок пожилых служащих, т. е. приказчиков, сидельцев, артельщиков; человек тридцать темных личностей из комиссионеров, агентов-жидков и т. п. субъектов; человек 40–50 случайно попавших в омут и зашедших компаниями поесть или «попить чайку», повидаться, побеседовать; наконец – аристократия трактира, т. е. хозяева окрестных лавок, заседающие с хозяином трактира, обыкновенно или в отдельном большом кабинете, или внизу у буфета... Сидят человек

шесть-восемь. Угощает хозяин – бутылку «мадеры». Потом каждый из участвующих «отвечает», требуя тоже бутылку, пока очередь опять доходит до хозяина. «Мадера» переходит на «донское» или «бенедиктин» и требуется до тех пор, пока аристократия «намадерится» до мёртвой точки и разводится слугами трактира по домам. Каков хозяин – таковы и служащие. Хозяин спаивает свою публику, а буфетчик со слугами остальных посетителей...

Пьянство идёт повальное... На каждом столе батареи бутылок, графинов, а «музыка» органа гремит, не переставая, подбодряя сильно захмелевших... Языки сидящих заплетаются, позы принимаются непозволительные, споры, крики, брань, препирательство, циничные остроты, раскрасневшиеся физиономии, беспорядочные костюмы. Стыд, понятие о приличии – давно утрачены всеми. Дамы сидят на коленях у кавалеров, кавалеры ноги вытянули на колени соседям; слуги пьют вместе с гостями на их, разумеется, счёт, «по-приятельски»; теснота доходит до того, что некоторые пьют стоя, приткнувшись к окну, зеркалу или органу. Я служил часа три в этом вертепе и видел на столах все время такую пропорцию: бутылка или две водки и пара огурцов на закуску или несколько солёных грибов, бутербродов, – дюжина пива и никакой еды. Очевидно, здесь не едят, а только пьют, и даже не пьют, а прямо напиваются, и напиваются до потери сознания. Пока человек сидит – ему подают пития, свалился – убирают... Точно спорт какой.

О мере нет ни у кого ни малейшего представления. Человек «мама» не выговаривает, тычет только пальцем на пустые бутылки – и слуга бежит за другими, наполненными, и производит смену. Посетитель не может уже подняться с диванчика или стула без посторонней помощи, бессмысленно водит отупелыми глазами по сторонам, а ему все подливают! Это необходимо, потому что на этом зиждется вся торговля. Хозяин получает надлежащий «оборот»; буфетчик достаточно спустил «за голенищу»; слуга прилично «обсчитает» на пустых бутылках или «запустит арапа», а гость «ублагодотворится» во всю ширь своей натуры. Трактир прежде торговал до одиннадцати часов вечера, теперь торгует до часу ночи; но дайте ему торговать до трёх часов утра – и получите ту же картину царства пьянства.

Я нарочно постоял у буфета с полчаса, и за это время буфетчик отпустил: 34 графина, 8 полубутылок, 3 бутылки и 66 рюмок и

стаканчиков водки; 41 бутылку пива, бутылку коньяку, и на все это количество питий пошло: шесть бутербродов, семь огурцов, одиннадцать грибов, два кусочка селёдки и одно яйцо. Ни одной порции кушанья! Да кушаний и нет вовсе, даже пирожков не было. Кормить посетителей прямой ущерб хозяина, – меньше выпьют, трезвее выйдут. И таких вертепов в Петербурге не менее 120–130.

Теперь несколько иной тип, тоже серого трактира. Сытный рынок на Петербургской стороне. Кругом всего рынка, как кольцо, трактиры, и все на один фасон.

В трактире три половины: в первой водка подаётся косушками и полуштофами, во второй стаканами и графинами, в третьей рюмками и полубутылками. В первой – своя русская печь с закуской из рубца, капуста, колбасы и селянки на сковородке; чай здесь двоим стоит шесть копеек; во второй половине буфет с разложенными бутербродами, жареными рыбками, заливным судаком, куском ветчины, яйцами и соленьями. Тут же и водка разливается буфетчиком из одной четвертной в косушки, графины и полубутылки. Водка одна и та же, а продаётся по ценам разным, смотря кому и на которую половину подаётся; в первую половину – цены кабака, во вторую – дороже на 50 %, а в третью – на 150 %. Зато здесь, на чистой половине, органчик, кабинетики, мягкие стулья, занавеси. И публика разная. Разносчики, дворники, лакеи, сторожа – в кабацкой половине; приказчики, сидельцы, маклаки – у буфета, а наверху хозяева и «господа». Относительно пьянства и спаивания картина та же, только внизу ещё серее: циничные песни, драки и отборная ругань спившихся рабочих производится в более откровенной форме. Наверху то же пьянство, но чиннее...

Самая существенная разница между этими двумя типами серых трактиров заключается в том, что последние носят характер местный и потому торгуют неодинаково, а первые, как сборные, центральные, постоянно имеют одну физиономию. В трактирах местных дым стоит коромыслом только по субботам, в праздники, по понедельникам и после запора лавок, а в остальное время – хоть трактир закрывай: никого почти нет; в центральных же трактирах публика собирается с разных мест, постоянно меняется и определённых часов бойкой или тихой торговли нет.

Центральных трактиров для серой публики, как я сказал, до ста, в том числе: на Петербургской стороне зимой 3, летом – 4, на Выборгской – 2, на Васильевском острове – 3 (из них одно недавно стало торговать только до двенадцати часов ночи, вместо двух часов), в Коломне – 1, на Песках – 4, на Невском – 7, на Садовой – 4, на Вознесенском – 7, у всех рынков по одному.

Местных трактиров до двухсот, и все они группируются около фабрик, заводов, рынков, присутственных мест, казённых учреждений и, вообще, в людных населённых пунктах. В одном, например, Апраксином переулке 6 трактиров, около Мучного переулка – 4, Александровского рынка – 7 и т. д. В это число не входят «грязные» трактиры, а также «чистые» трактиры, которых на весь Петербург 8, и «шикарные» трактиры, которых 2. Я не считаю, разумеется, иностранных и фешенебельных ресторанов. Достойно же удивления, что на 644 трактирных заведения Петербурга всего 2 хороших русских трактира и 8 приличных. Процент невелик!

Заканчивая этот тип, я ещё раз подчёркиваю двойственность и тройственность одного и того же буфета старого трактира. Каждый буфет имеет два прилавка: один почище, с полотенцем для утирания губ, а другой без оно́го – выпивающие утирают рот рукавом или кулаком. В одном за 5 копеек наливают «барину» рюмку ёмкостью примерно $1/300$ ведра^[126] и наливают из бутылки с этикетом «столовое вино»; в другом за тот же пятак «мужичку» наливают стаканчик ёмкостью $1/200$ ведра и наливают из графина. Можно подумать, что эта последняя водка хуже качеством, но если вы посидите в трактире у буфета полчаса, то и увидите, как буфетчик доликает и бутылку, и графин из одной и той же четвертной. Что это – обман или обычай? Но и то, и другое неправильно. С одной стороны, чисто одетая публика переплачивает даром деньги, мечтая, что пьёт столовое вино, а с другой – простой люд получает здесь водку по ценам питейного дома, но в обстановке более благоприятствующей спаиванию.

Такое «деление» буфета должно быть безусловно уничтожено, и вместе с тем уничтожится наполовину кабацкий характер серых трактиров.

К трактирам «грязным» относятся трактиры: чернорабочие, извозчищи, постоянные дворы, чайные, закусовые, народные столовые и прямо кабаки.

Более безобразную картину, чем все эти «заведения» в праздничный день и понедельник, трудно себе представить. Здесь уже дело идёт не только о безобразии самих заведений, но всей окрестной местности, улицы и околотка. Не только жить в том доме, где помещается заведение, невозможно, но и на той улице не приведи Господи! Довольно посмотреть на картину, когда заведение закрывается. С криком, шумом, песнями, руганью, проклятиями вываливается из дверей ватага оборванцев, пропойцев, бродяжек, чернорабочих, – и все пьяные, безобразные, потерявшие человеческий облик, отравленные, одурманенные, очумелые... Они ничего не видят и знать не хотят; лезут, ломятся, напрашиваются на скандал, драку. Одни еле держатся, другие сваливаются и ползут на четвереньках, третьи совсем отдыхают на панели, четвертые ломятся обратно в закрытое заведение и поднимают шум, пятые вступают в драку и устраивают побоище...

Горе прохожему, попавшему в это время на панель. Хорошо, если его только толкнут, оплюют, а то избьют и замешают в скандал, если не ограбят... Проследите «Дневник приключений» и вы увидите, что большая половина грабежей, побоищ, увечий совершаются именно в грязных трактирах или на улице, тут же у дверей. Наш чернорабочий-ломовик и в трезвом состоянии груб, а напившись, он делается настоящим зверем... За два дня моего интервью в грязном трактире на Лиговке, был грабёж, в трактире на Песках – тоже грабёж; вернувшийся из трактира «муж» избил до смерти жену; около трактира, в Измайловском полку, упившиеся мастеровые устроили битву с переломом рёбер и т. д. и т. д. И это повторяется постоянно, из года в год.

В грязных трактирах находят приют и пристанище все воры и громилы Петербурга. Без этих трактиров не обходится буквально ни одно преступление громил; в трактирах они сговариваются па преступление, решают и составляют планы, производят делёж, сбывают плоды преступления и тут же, при несогласии, производят побоища с ножами в руках...

За моё служение кухарка обокрала Анненское училище^[127], её ловят с солдатами в трактире; часовщик обокрал своего хозяина – деньги

пропивал в трактире и квитанции сбыл маркёру; слесарь сбывал фальшивые золотые кольца в трактире, где его и арестовали. Словом, грязный трактир такой спутник всех порочных людей, что, не будь этих трактиров, не было бы и половины преступлений. В самом деле, что такое этот грязный трактир? Если человек голоден – он идёт в столовую, где за 4–6 копеек он получает сытный и здоровый обед. Теперь, благодаря Обществу дешёвых столовых^[128] и Обществу народных столовых^[129], в Петербурге можно получить прекрасный обед за самую ничтожную плату. Здесь подают за 6 копеек обед из двух блюд, за 1 копейку стакан чаю, за 1 копейку порцию хлеба, за 2 копейки кусок хорошего мяса и т. д. Если рабочий хочет выпить водки, он идёт в питейный дом, специально для этого существующий, где можно только выпить и уходить, а сидеть и бражничать негде. Для какой же цели процветают в столице две-три сотни грязных трактиров с возмутительной обстановкой? Что дают они посетителю?! Провизия по выбору самая ограниченная, а по качеству самая недоброкачественная, низкого сорта и небрежной стряпни; водка низкоградусная, сивушная; обстановка убогая, грязная; прислуга, достойная гостей...

Все помещение таких трактиров состоит из двух-трёх низких тесных комнат с промозглым вонючим запахом; сюда набирается народу «сколько влезет», так что повернуться негде; мебель состоит из простых скамеек и столов, посуда деревянная, никогда не моющаяся... Понятно, что никто не пойдёт сюда есть или пить, а идут для оргий или укрывательства, идут сюда порочные, преступные, которым другие общественные места недоступны; туда они боятся даже войти, чтобы не быть отправленными в участок. А здесь они в безопасности; их никто не тронет, а прислуга трактира скорее поможет укрыться. Мы знаем из уголовной хроники таких буфетчиков грязных трактиров, которые состояли в компании с ворами, делились с громилами, сбывали краденое, но не знаем таких, которые задержали бы подозрительную личность и передали её в руки правосудия. Оно и понятно, потому что сделай буфетчик один раз «предательство» гостя, и трактир не станет торговать, никто не станет ходить в него, а хозяин такого буфетчика, «убившего торговлю», выгонит вон.

Это органическое свойство грязного трактира: вся его публика состоит из подозрительных личностей уже потому, что все пьянствуют,

не имея легальных средств даже на кусок хлеба. Откуда же берутся деньги па пьянство? Сегодня один украл – угощает, завтра другой ограбил – поит приятелей и т. д. Ведь только на пропойство и идут все деньги, добываемые путём краж и преступлений. Вор, особенно рецидивист, не имеет ни квартиры, ни семьи, ни обязанностей или повинности, а иногда у него оказываются большие деньги. На что они ему? Начать честной жизни с ворованными деньгами он не может, потому что должен прятаться и скрываться; поместить куда-нибудь деньги тоже не может, остаётся одно пьянство. Они и пьянствуют, а грязные трактиры этим только и существуют, на это только и рассчитаны!

Но помимо зла внутреннего, органического, грязные трактиры, как я заметил, положительно опасны для соседних обывателей и прохожей публики. Чем же виноваты жильцы, принуждённые переносить такое ужасное и опасное соседство?! А это соседство действительно опасно, помимо неприятностей и безобразий, это можно доказать рядом фактов из того же «Дневника приключений».

Теперь ещё вопрос: как же избавиться от грязных трактиров? Я отнюдь не предлагаю репрессивных мер «закрытия»! Зачем?! Потребуйте только, чтобы грязные трактиры сделались чистыми, и пусть их процветают и торгуют многие лета.

12.

Закончу свои очерки очень распространённым типом трактирного завсегдатая. Каждый трактир имеет кроме своей «публики» ещё своих и «завсегдатаев», или «прихлебателей», как их зовут. Своя публика приходит в известные часы на время, по делу или для дела, а завсегдатай сидит с утра до запора заведения, сидит для провождения времени, для того, чтобы «примазаться» к какой-либо компании, напиться на чужой счёт или при случае «заработать» малую толику.

Кто такой этот завсегдатай?

Чаще всего – это павший лев, изображавший когда-то величину, силу и персону. Это – прокутившийся мот, проторговавшийся купец, прожившийся барин, спившийся чиновник, заштатный делец и, наконец, неудачник, тщетно перепробовавший всевозможные амплуа и профессии, не исключая свободного искусства, либеральных профессий и лёгких форм шантажа, вымогательства, аферных предприятий и пр. и пр. Лета, происхождение и звание этих господ

разнообразны до бесконечности: есть седые старики и безусые юнцы, есть мещане, ограниченные по суду правами, и есть люди дворянского происхождения.

И, невзирая на эти социальные, так сказать, отличия, трактирные прихлебатели все на один покррой: они хвастливы и лживы, грязны и ветхи по костюму, постоянно выпивши или пьяны, липки, как пластырь, податливы, как резина, навязчивы и назойливы до крайности, лишены всякой порядочности и самолюбия или обидчивости, болтливы без толку, услужливы без разбору и по своим побуждениям, вожделениям и намерениям вечно балансируют между попрошайством и уголовным обманом. Завсегдатай садится всегда у буфета, берет газету и читает или, вернее, не читает, а прикрывается газетным листом, чтобы высматривать кругом, не обращая на себя внимания. Его глаза воспалены, причёска в беспорядке, лицо с отёками и припухлостями, пальтишко рваное, сорочка грязная, сапоги дырявые. Все это, однако, не мешает ему сидеть развалясь, с апломбом влиятельной персоны, заложив ногу на ногу и высокомерно, фамильярно командовать.

– Петр Иванович (буфетчик), вели-ка мне подать зубочистку. А что, такой-то не бывал? Чем у вас вчера кончилась драка? Посмотри, не осталось ли на «текущем»?

«Текущий счёт» – это водка, оставшаяся недопитой в компании. Так как он сидел в компании, то считает себя вправе допить недопитое и доест несъеденное.

Если вы послушаете завсегдатая, то это такая всесильная и влиятельная особа, которая все может! Он знает пол-Петербурга, знаком с властями, свой человек в денежной аристократии, близкий приятель кого хотите и возьмётся выхлопотать что угодно, начиная с ордена «Льва и солнца» и кончая пикантной интрижкой. Он так великодушен и бескорыстен, что ему ничего не надо, только угостите его и дайте ему двугривенный на извозчика.

– Другой взял бы с вас тысячи, а мне ничего не надо, – приговаривает он, поспешно наливая рюмку, как бы боясь, что ему скажут «брысь!» и он останется натошак.

Завсегдатай любит вести речь о политике, о нажитых (тем-то или тем-то) миллионах, о близости колоссальных удач и наживы и говорит с авторитетом знатока. Но если его резко оборвут и пошлют в

физиономию «дурака», он съёжится, стушуется и робко будет выжидать позволения опрокинуть рюмочку. Тут уж он благоговейно будет слушать оборвавшего его и поддакивать на каждом слове, не осмеливаясь даже в пустяках иметь своё собственное суждение.

Содержатели трактиров и буфетчики относятся к завсегдатаям покровительственно и терпят их, главным образом, вот почему. В трактире, когда посетители перепьются, нередко завязывается спор между гостями и прислугой, в таких случаях «судьёй» является сама публика, и вот завсегдатай сейчас же выступает от лица публики и, разумеется, принимает сторону администрации трактира. Он, как истый оратор, произносит защитительную речь и по праву «гостя», т. е. постороннего лица, произносит решение. Кто не знает амплуа этого гостя, должен ему верить, потому что он здесь такой же посетитель, как и все.

Кроме, однако, этого «представительства» завсегдатай искренно готов оказать «своему» заведению всяческую услугу и нередко приносит пользу, например: написать какое-нибудь прошение, сходить куда-нибудь или, при случае, заставить компанию выпить лишнюю бутылку вина. Все это, разумеется, мелкие услуги, но ведь и сам завсегдатай мелок, много ли он стоит хозяину? Изредка – рюмку водки и бутерброд, а в большинстве случаев только газету и зубочистку... Но и эту рюмку буфетчик вернёт, когда завсегдатай будет сидеть в компании. Тогда припиши хоть две бутылки, завсегдатай убедит компанию, что вино выпито, он сам видел, сам считал и т. д. и т. д.

Завсегдатаи имеются почти в каждом трактире, но двух завсегдатаев не бывает. По пословице: «В одной берлоге не бывает двух медведей», если в трактире заведётся другой прихлебатель, то между ними завязывается смертельный бой, и побеждённый ретируется...

Говоря о завсегдатаях, я должен признать, что большинство их совершенно безвредные и жалкие существа, но попадаются экземпляры наглые и способные на всякие подлости, начиная с «анонимов». Большая часть анонимных писем и доносов принадлежит завсегдатаям и составляет их силу, которой многие боятся.

Таковы общие типы петербургского трактирного быта. Я опустил первоклассные французские рестораны, отели и проч., где слугами являются татары или иностранцы. Резюмируя все мною сказанное,

приходится воскликнуть: положение одиннадцати тысяч трактирных слуг давно требует упорядочения!

4. Шесть дней в роли факельщика

Кому покойники, а нам товарищ^[130]

В треуголке, обшитой позументом, в траурном фраке с крепом через плечо и с зажжённым факелом в руках, шествовал я по улицам Петербурга, участвуя в печальных погребальных церемониях...

Тяжёлые, до содрогания отвратительные скитания, но зато какие ужасные впечатления, какой страшный неведомый мир!

Ездил я шесть дней извозчиком, ходил бродяжкой, служил «шестёркой», но все это цветочки в сравнении с «Пироговской лаврой», с «Горячим полем», с недрами гробовых мастерских и кладбищенских трущоб...

Мои «желтоглазые» (извозчики) или «мышкинские» (официанты) сослуживцы – настоящие аристократы в сравнении с этими «траурными стрелками», пользующимися саванами как одеялами, ночующими под кладбищенскими мостками и считающими всех «покойников» за приятелей, а богатых в особенности....

Факельщики, читальщики, приказчики, штучники, подмастерья, горюны (плакальщицы), прачки (обмывающие покойников), наконец, сами гробовщики трёх категорий – это такой мир «отпетых», который приводит в содрогание при малейшем прикосновении к нему! Я на основании шестидневного опыта и близкого знакомства могу утверждать, что это вовсе не живые нормальные люди, а нечто среднее между населением и кладбищем. Мне кажется, что их следует считать просто «органическими существами кладбищ», подобно, например, червям, пожирающим трупы, или коршунам, бросающимся на падаль. У них нет ни одного общечеловеческого чувства! Всё их существование проходит или под влиянием хмеля, или в каком-то тупом столбняке. Каждый из них смотрит на акт смерти, как наши кухарки на полено дров, которое надо швырнуть под плиту, чтоб оно горело и давало кухарке нужную для её существования обстановку.

Гробовщик без покойника то же, что кухарка при холодной плите, т. е. без дров. Зато свои «дрова» гробовщик добывает такими путями и средствами, на которые решится не всякий рыцарь большой дороги

или глухого леса. Я познакомился с одним гробовщиком, который, смеясь, рассказывал, что его несколько сот раз спускали с лестницы, травили собаками, обливали помоями, отправляли в часть, избивали «товарищи» до полусмерти, а он всё-таки не только жив и здоров, но нажил каменный дом и капиталец.

– И знаете, благодаря чему? – спросил он. – Только потому что я никогда не обижался: меня спустят с лестницы или швырнут в меня поленом, и я через несколько минут опять тут, сделаю самую траурную рожу и стою. Бывало десять раз выгонят, а на одиннадцатый дадут заказ. Только этим и брал.

Совершенно также относятся к «делу» все гробовые парии! Цинизм самый грубый и бесстыжий ко всему святому, дорогому, начиная с неостывшего ещё трупа и кончая иступлённым горем осиротевших. Все это для гробовщика и факельщика предмет наживы, барыша, счастливого случая, которым он пользуется, чтобы рвать и рвать, посмеиваясь втихомолку, отпуская остроты и каламбуры. Очень многое из быта «траурных стрелков» совершенно непечатного свойства, так что я далеко не могу дать читателям полной картины пережитых мною за эти шесть дней впечатлений, но и того, что можно рассказать, довольно, чтобы согласиться со мной.

Да эти люди близки к тому, чтоб их назвать «органическими кладбищенскими существами»! Если бы мне предложили на выбор каторжную тюрьму или «Пироговскую лавру», я, не задумываясь, выбрал бы первое.

Расскажу по порядку мои шестидневные скитания.

Первый день, я разыскивал место найма и посетил «бюро» братьев Шумиловых^[131], Архипова^[132] и десяток мелких гробовщиков. Второй день я провёл в «Пироговской лавре» и на «малковской бирже». Третий – участвовал в православных похоронах, четвёртый – в лютеранских, пятый – в католических. Вечера этих дней я проводил в мастерских гробовщиков и среди их служащих. Последний день был посвящён мною «Горячему полю» и кладбищам. Попутно я познакомился с похоронами евреев, татар и наших раскольников.

1. В бюро

В стареньком рваном пиджаке и таких же брюках, в картузе, опорках и с привязной бородой я отправился наниматься к гробовщикам. Первый, к кому я попал, владелец «Высочайше утверждённого» бюро московский гробовщик Быстров^[133]. О, какая это огромная теперь персоне среди «траурного мира». Это не гробовщик, нет! Не простой похоронных дел мастер, а глава и представитель похоронного бюро! Да-с, голыми руками не трогайте! Мне ли, жалкому факельщику, подступиться к такой персоне! Да я и не рискнул открыть зеркальные двери важной величественной конторы; я пошёл со двора и тут узнал, что совершенно напрасно стал бы беспокоить важного гробовщика... Никаких факельщиков, как равно никаких «должностных» лиц, у «бюро» нет... Они также, как и все гробовщики, набирают подёнщиков для отправления всех погребальных служб. На дворе два мужичка чистили траурные попоны и ливреи. Они довольно бесцеремонно огрызнулись на меня:

– Много вас шляется на «бирже», ступай, убирайся...

– Да ты чего глотку-то дерёшь? – ответил я и показал ему уголок рублёвой бумажки? – Хочешь поднесу?

– Хо-че-шь... Поди, сам не хочешь! Слизнул верно! Ну, иди на уголок.

– К Летнему саду?

– Да... Я сейчас только кончу вот попону...

– Кончай, я подожду, у меня дело есть. Вы с похорон?

– Да, анерала с Моховой хоронили...

– Ну, ведь у вас все больше анаралов хоронят...

– Ещё бы! Бюра! Кому же, как не нам, важных господ хоронить? Сегодня две процессии пошли... Одна 800, а другая 1,100... Во как зашибаем!..

– Молодцы... А ваш хозяин дома?

– Нет, он в Москве. Там купца-миллионщика хоронит... ну, идём, что ли.

Мужичок, с головой похожей на копну пакли, из которой торчит один сизый нос, покровительственно протянул свою корявую, бронзового цвета, лапищу.

– А ты у кого работаешь?

– Без места, родимый. Продаюсь. Ищу, вот, работы, хочу в факельщики что ли, поступить.

– Дура ты этакая! Нешто факельщики у гробовщиков бывают?

– Ну, в читальщики или другую какую должность.

– Никаких должностей нет, окромя траур вот чистить, либо двор подметать. Нешто наш хозяин, можно сказать, в обеих столицах первый, и тот никого не держит – все подрядчики поставляют: и факельщиков, и чистильщиков, лошадей, кареты, даже гробы на Охте с подряда делают – семнадцать с полтиной десятков.

– Так. А ты, земляк, какую, значит, должность справляешь?

– Я на дворе и, окромя того, значит, для поручений.

– Каких поручений?

– А вот поставь флакончик и потолкуем, может, и тебя пристрою куда ни на есть.

Когда мы уселись на грязной половине гостиницы у Цепного моста и нам подали косушку с кислыми огурцами (полусгнившими, прошлогодними), я навёл разговор на «поручения».

– Моё дело, брат, маленькое. Когда бюро принимает заказ, я сейчас должен оповестить, значит, всех подрядчиков и наборщиков для нарядов. Сколько, примерно, надоть лошадей, читальщиков, факельщиков, карет, ельнику. Всех обегаю и наказы дам. Ну, иной раз и перепадёт гривенник, а то и двугривенный. Концы-то немаленькие: к старосте читальщиков на Загородный, оттуда в «Пироговскую лавру» к наборщику и потом дальше.

– Наборщик кто у вас?

– Ефим. Славный парень, брат: степенный мужик, у него до 60 факельщиков под рукой! Он в полчаса две-три смены может набрать и предоставить.

– Вот ты меня к этому Ефиму отрекомендуй. Я тебе целковый деньгами дам и угощение.

– Можно, отчего нельзя; Ефим меня обожает: он мужик степенный. Он и на Шумилова набирает: с мелочью не ведёт делов, только на листократов работает. А что-же ты не пьёшь?

– Я не могу, с похмелья голова болит; ты пей, пей, ничего.

– А что же ты места не поищешь? Служить покойнее.

– Зашибаю больно; долго выдержать не могу, а запил – шабаш!

– Да, ефто при месте невозможно, значит; да и Ефим браковать будет.

– А ты не говори. Я на дело не прихожу, когда пью; ему убытка не будет.

– Это точно. Ну, будь здоров. А к Ефиму можем сегодня под вечер сходить. Приходи.

– Ладно, приду.

Мужичонка окончил вторую косушку и, вставая, опять протянул лапищу.

– Ну, ладно, спасибо. Так, значит, приходи часов в 7–8.

– А мне нельзя ли у вас побыть до вечера? Мне идти-то некуда; ты скажи – земляк пришёл; я посижу на кухне.

– Можно, посиди, отчего же. Ты парень не ледящий^[134], коли две косушки поставил. Пойдём.

Мы вернулись в бюро. Меня интересовала обстановка, люди. Егор провёл меня на кухню. Здесь варили... какой-то клей с охрой для подкраски чего-то. Две женщины шили саваны; обе немолодые и обе с багровыми пятнами под глазами; на кухню выглянул какой-то благообразный господин.

– Егор!

– Я-с, – отозвался Егор, подбегая к господину.

– Наряд. По шестому разряду. Послезавтра вынос на Волково.

– По шестому, – сделал кислую гримасу Егор, запустив пятерню в свою паклеобразную шевелюру. – Это и завтра можно оповестить.

– Сходи сегодня, завтра некогда будет; два выноса у нас, ты с ельником пойдёшь. А где Илья?

– Попоны чистит. Я подожду, может ещё заказ будет.

Господин скрылся.

– Кто это? Спросил я.

– Миколай Семенович, главный приказчик. Он за хозяина теперь. Деньги нажил. Весной сразу схватил пятьсот.

– Да ну? За что?

– После скажу.

На кухню вышел другой мужичок, чистивший с Егором траур во дворе, когда я пришёл.

– Егор, скажи Михаилу Степановичу: там привезли с Охты гробы, два десятка, куда скласть? В сарай али в амбар?

Егор пошёл в контору, я вышел во двор. На ломовом возу штабелями были сложены некрашенные остоны гробов. Дерево сучковатое,

неровное; доски плохо пригнаны, со щелями, очень тонкие. Работа, видимо, небрежная.

– Ну, пойдём вместе, – вышел Егор, – к Ефиму. Кстати, я тебя, может, пристрою. А рупь когда дашь?

– Сейчас отдам, как только Ефим возьмёт.

– Возьмёт.

Мы зашагали с моим «покровителем». Он шёл не совсем твёрдо. Косушки на него повлияли.

2. Пироговская лавра

Солнце было уже на закате, когда мы с Егорушкой, после нескольких остановок в пути под красными вывесками, достигли Малкова переулка^[135]. Знаете, читатель, такой переулок? Это между Садовой и Фонтанкою, около Юсупова сада и Александровского рынка. Как только мы завернули за угол Садовой – физиономия благоустроенной столицы, первоклассного европейского города исчезла бесследно, и мы очутились в какой-то глухой провинциальной фабрично-ремесленной слободке. Направо глухая стена рынка, налево трактиры. Переулок полон народа. Играют на гармонике, поют, ругаются, кричат, дерутся, обнимаются с женщинами. Полная свобода, простота нравов, циничная откровенность и отрицание всякого понятия о приличии и общественном благоустройстве. Точно все законы, правила и приказы по полиции не имеют ни малейшего отношения к Малкову переулку!

Публика чувствует себя здесь полными хозяевами переулка, не признающими ни малейшего вмешательства в их дела, быт и условия жизни. Это не только их родина, отечество, но майоратное владение, дешёвый надел. А сама публика? Половина босые или в опорках, все без «головных уборов», в рубашках и шароварах с большими изъянами. Все под хмелем или в большом хмелю. Сидят, стоят, лежат, ходят, гуляют группами или парами, кто как хочет и где хочет. По рукам ходят косушки и полштофы. Бабы с корзинами выстроились вдоль панели и продают ягоды, апельсины, яйца, печёнку, пироги, рубец. Каково качество всех этих продуктов можно судить по тому, что «товара» дороже 3–4 копеек нет.

Егорушка со всеми раскланивался, всех он знал по имени отчеству. С особенным почтением поклонился он высокому старику Николаевских времён с щетинистыми усами, орлиными глазами и величавой осанкой. Старик стоял, облокотившись на створную дверь трактира и жевал губами. Он только что выпил и закусывал.

– Нашему мажору, почтение.

– Здоров. За мной?

– Нет, куда там? Ты ведь «почёт» особенный!

«Мажор» этот – тот самый, который в процессиях идёт впереди с жезлом и всю дорогу делает взмахи, ударяя жезлом об землю. Он один на весь Петербург и славится своим величием. Ему платится рубль, т. е. на 45 копеек дороже простых факельщиков.

– Второй день без дела, – сумрачно произнёс «мажор». – А это кто? – указал он на меня.

– Человек без места, просится в «траурщики».

Факельщики в своём кругу называются траурщиками. Мы пошли дальше. Группы народа стояли по обе стороны переулка. Миновав трактир и первые два дома, Егор свернул во двор дома Пирогова. Едва мы вошли в ворота, как в нос ударил букет. Кучи мусора, отбросы, нигде не видно следов ремонта, и запущено с незапамятных времён. Убожество гармонировало с публикой, бродившей по двору и состоявшей из каких-то человеческих скелетов с истлевших лохмотьях.

– Ну, Егорка, – окликнула нас какая-то женщина земляного цвета лица, в больничном халате и, по-видимому, совсем пьяная, – кого хоронишь?

– Тебя! – огрызнулся мой покровитель.

– Врёшь, меня, небось, не будешь хоронить.

Дружный смех толпы встретил эту остроту.

По узкой лестнице мы поднялись в третий этаж одного из многочисленных надворных флигелей, носящего название «кадетский».

Егор привычной рукой распахнул дверь и прошёл вперёд.

– Здорово, братцы! – произнёс он.

– Полно, ты говори не «здорово», «холера вас возьми», – откликнулся кто-то. – Ведь коли все здоровы будут, нам жрать нечего

станет. Наше дело покойническое. Вот «с покойником» хорошим можешь поздравить нас! Это так!

Большая комната с низкими окнами, некрашеным полом и нарами во всю ширину, была полна народом. Артель факельщиков собралась на ночной покой. Хотя нары были полны, но полный комплект ночлежников вдвое больше. Многие факельщики ушли на сенокос, на барки и другие летние, хорошо оплачиваемые работы. Зимой в этой же комнате их помещается вдвое больше. Но где? Вероятно, на полу, под нарами, потому что самые нары совершенно переполнены. Некоторые улеглись уже спать, подложив под голову полено, прикрытое армяком, другие сидели на нарах и разбирали какое-то тряпье; несколько человек, подложив на колени головы соседей, ловили в волосах их насекомых; один старик большой иглой штопал свою рубаху, сидя на это время без «оной». Под потолком, над самыми нарами висели для просушки выстиранные факельщиками саморучно принадлежности их гардероба. Почти все «под хмелем», а иные совершенно пьяные, ворчали, переругивались, посылали угрозы и отборные «словеса». Мы прошли через эту комнату, вошли в такую же смежную, и, пройдя последнюю, очутились в комнатке, чисто прибранной, увешанной картинками, с большим киотом икон в переднем углу. Налево под особым балдахином стояла двуспальная кровать; направо у стены другие кровати, а налево трапезный стол, табуреты и посудный шкаф. На одном из табуретов сидел, положив ногу на ногу и опустив весь корпус туловища на сложенные руки, высокий седой старик в красной рубахе. Небольшая седая борода, умные выразительные глаза и строгий, но симпатичный облик лица резко выделяли его из окружающей массы каких-то пришибленных, отупелых и нередко зверских физиономий. Старик сидел молча и чуть-чуть покачивался всем телом.

– Дяде Ефиму почтение, – вошёл Егор, делая мне знак рукой войти с ним.

– Здравствуй, Егор, присядь, – отвечал, не шевелясь старик и не замечая моего присутствия.

Я рассмотрел, что под балдахином лежала в кровати женщина, очевидно, жена Ефима, а на кроватях спали подростки – его сыновья. Окно комнаты упиралось в глухую стену, и полумрак разгонялся светом двух лампад. Духота, спёртость воздуха, испарения давили

горло и я с трудом дышал. Егор сел на табурет, не приглашая меня. Из драпировок балдахина высунулась голова седой женщины и опять спряталась. Дети не спали и ворочались в кроватях.

– Что хорошего? – спросил Ефим густым басом.

Голос его звучал как-то приветливо, без всякой сипоты или хрипоты...

– Народец на послезавтра пришли восемь человек.

– Ла-дно... У меня послезавтра Шумилову большой наряд. Ни-че-го, хватит.

– А вот, дядя Ефим, земляк мой просится к тебе в траурщики, не возмёшь?

Я почувствовал на себе пронизательный взгляд Ефима, который ничего не сказал и продолжал упорно на меня смотреть.

– Что-же ты молчишь? – обратился ко мне Егор, – говори...

– Хочу работы, – сказал я, – и фатеру здесь.

– Фатеру? Больно ты скор. У меня живут люди известные, податные, а ты из каких будешь?

– Я в приказчиках служил, отказали, заливаю не в меру; хочу попробовать траурщиком.

– Попробовать! Тут нечего пробовать! У нас строго, и кой-кого не берём! Если Егор за тебя поручится...

– Чего поручится? – перебил я, – Я могу залог внести, обеспечение; у меня хошь сто рублей найдётся.

– Ну, коли залог есть – пробуй. Условия ты знаешь?

– Нет.

– Цена у нас за похороны шесть гривен. Пятак мне – пятьдесят пять копеек на руки получаешь; чайные от господ. В бюро чайных просить ни-ни, там положение девять гривен – 85 на руки и больше никаких.

– Ладно, все равно!

– Если жить у меня желаешь, то полтора рубля в месяц за фатеру. Харчись как знаешь в Малковом.

– Я согласен. Я вам красный билет^[136] в залог предоставлю и останусь сегодня же. Паспорт у меня на той квартире, я после принесу.

– Оставайся. Коли деньги есть, паспорт неважная вещь. Паспорт будет, у кого есть деньги. Деньги-то не у кажинного есть, а паспорт у всякого. Как звать тебя?

– Миколаем! Так, дядя Ефим, вот десять рублей. Мы пойдём с Егором спрыснем мою службу, а после я приду ночевать. Завтра не назначишь меня?

– Приходи в четыре часа на площадь – может и попадёшь.

Егор стал прощаться. Ефим проводил нас до двери и показал мне свободную койку.

Мы ещё только спускались с лестницы, как нас нагнал какой-то молодой парень с рыжими усами, в картузе и со светящимися, как у кошки, глазами.

– Егорка, ты что ж нынче траурщиков сватаешь и бежишь? Ах, ты косой дьявол! Да ты лучше по Малкову переулку не ходи! Шапку снимем и затылок намылим! Это что за гусь? – ткнул он пальцем на меня.

– Пойдём, пойдём, леший, жри!

– Это Касьян, – рекомендовал Егор картузника; – лихой траурщик на все руки, прошёл огонь и воду; первый игрок на Горячем поле! Ты познакомься с ним! Пригодится, если сойдётесь.

В трактире Малкова переулка, куда мы зашли, была масса народа и все исключительно факельщики, читальщики и другой люд, живущий покойниками... Громкий разговор во всех углах касался исключительно траурных тем и циничных откровенностей из области погребения. Жутко было в этой «семье», но пришлось разыскивать столик, усесться и пить. Пить и слушать, принимать участие в беседе.

Касьян оказался словоохотливым. Он с места в карьер засыпал меня множеством тайн и новостей их «семьи»... Они вчера только, сорок человек, резались в банк на «Горячем поле» и он проиграл 111 рублей. Ну да наплевать! Ему и больше приходилось проигрывать; траурщик Данила оказался вором; он на последнем выносе стащил серебряную ложку и, хотя все это знали, но боялись выдать его полиции; а он не побоялся; пригласил Данилу в трактир, угостил водкой и тихонько послал за городным; иначе взять его было нельзя, потому что в «пироговской лавре» не сыщешь человека, если он спрячется, ни за что не сыщешь. Там «прописных» (с паспортом) живёт 5,000 человек, да столько же скрывается без прописки; по 100–150 человек набито зимой в квартире; на чердаках, лестницах, в подвалах везде ютятся траурщики; ни полиция, ни санитары сюда не заглядывают, потому что

сделать все равно ничего нельзя; народ отчаянный; с ним лучше не связываться.

Врал Касьян или нет? Почти нет. Когда я ближе познакомился с «Пироговской лаврой» и «Горячим полем», то рассказы Касьяна даже бледнели... Бледнели и трущобы «Вяземской лавры».

Трудно себе представить что-либо подобное в центре столицы.

3. Набор

Ночь в «Пироговской лавре» я провёл, разумеется, без сна, хотя и имел свою койку у Ефима. Но можно ли уснуть в комнате величиной 3х4 сажени^[137], в которой, кроме большой русской печи, помещается 40 человек ночлежников! И каких ночлежников?! Половина пьяных; все развесили тут же для просушки свои плотные «портянки»; вентиляции никакой... А насекомые?! Нет, нет; лучше на воздух... Не жить же мне здесь! Несколько ночлежных часов, а в пять часов утра все равно все поднимаются!

Я пошёл по переулку... Тихо... У забора рынка прислонились и дремлют несколько траурщиков. Солнце ещё не всходило. Где-то в стороне слышны слабые стоны. Я чувствовал усталость и присел у ворот одного из домов. В доме все спало. Готов был я и задремать, как вдруг точно из земли вырос Касьян и опустился рядом со мной на скамью.

– Ты чего же бродишь, не спишь? – спросил он меня, осматривая пристально с головы до ног.

И странно: глаза его как-то нехорошо блестели; сидеть с ним рядом в этом глухом переулке было не особенно приятно. У меня мелькнула мысль, не подозревает ли Касьян во мне переодетого сыщика? Слишком пристально он всматривался, да и сам он прожжённый траурщик, воспитавшийся на «Горячем поле», которое считается бродяжками «университетом». Он легко мог заметить мой «маскарад» своим опытным взглядом и сообщить свои подозрения «лавре». А тогда...

– Не спится, с непривычки, на новом месте, – отвечал я спокойно, не поворачивая головы.

– Сыграть хочешь? У тебя деньги есть? – продолжал Касьян.

- Спать хочу. Какая теперь игра? Я сел подремать.
- На биржу выйдешь?
- Разумеется, а то чего же я тут околачиваюсь?
- К Ефиму? Или все равно к кому?
- Нет, к Ефиму. Я хочу у него поселиться и работать.
- Слушай! После «выноса» пойдём на «горячее поле». Там будет игра и выпить можно. Летом там хорошо: наших на даче там не одна сотня. Привольно, воздух хороший и свободно. Там и спится лучше.
- Хорошо, увидим.

Касьян замолчал. Так мы просидели должно быть несколько часов, в дремоте. Прокричал петух трактирщика Васильева^[138], взойшло солнышко и переулочек стал оживать. Появились опять бабы с горячими ковригами по полторы копейки, рубцом и др. яствами. Как тараканы из щелей выползали траурщики с сонными, утомлёнными, опухшими физиономиями.

Никто не умывался, не здоровался и не перекрестил лоб. Протирали заспанные глаза, чесали пятернёй голову, ругали кого-то неопределённо, непечатными эпитетами и жаловались, что «голова трещит». Жаловались все, потому что большинство с вечера были пьяны, а остальные провели ночь в такой атмосфере, что и трезвый превратился в пьяного.

Вот уж поистине где было бы неуместно сказать «доброе утро». Зато тут и не принято «здороваться». Ну, у кого утро «доброе»?! Каждый встал с разбитыми нервами, полубольной, полуголодный, и встал для чего? Что у него в перспективе? Ведь в самом деле у этих людей, не имеющих ни кола, ни двора, нет никаких человеческих потребностей и самых элементарных условий общежития в смысле людской жизни! Бродяжка – тот считает своё положение случайным, временным, проходящим; чернорабочий имеет семью в деревне, куда ездит каждый год отдыхать; извозчик, официант, по крайней мере, обеспечен в куске хлеба и тоже имеет хату в деревне или жену в подёнщицах. А факельщик из «Пироговской лавры»? Заработок случайный, не постоянный; род занятий такой, что непривычного человека коробит от одного названия; обстановка хуже всякого животного. Месяцами они не обмывают физиономии, не моют рук; из сотни один имеет вторую смену белья; круглый год в одном костюме; единственное богатство и достояние их – сапоги.

Сапоги для факельщика главное и необходимое условие его заработка, принадлежность профессии, без которой он не может быть траурщиком и не заработает ни гроша. Как музыкант без инструмента, плотник без топора, работник без рук и факельщик без сапог; он может быть в одной рваной рубашке, но непременно должен быть в сапогах, потому что весь «парад» ему даст гробовщик, кроме сапог. Последние не полагаются и не даются, из опасения, что «траурщик» сбежит с ними!

К 5 часам утра «траурная биржа» была в сборе. В широком месте Малкова переулка, имеющим вид площадки, собрались факельщики. Картина, достойная кисти художника! Я видел группы пересыльных арестантов до облачения их в казённые халаты; видел тысячную толпу чернорабочих, ожидающих на Никольской площади найма; наконец, «интервьюировал» бродяжкой разные вертепы и трущобы Петербурга, но такой «картины» не видал. Больно и смешно. Грустно и едва сдерживаешь смех.

Представьте себе толпу в 250–300 человек пропившихся оборванцев в возрасте от 16 до 80 лет и в костюмах от дырявой ситцевой рубахи до женской кацавейки. Никто во всей толпе не имеет целых брюк, а некоторые из чувства скромности прикрывают руками изъяны «невыразимых». А позы, физиономии, ужимки?! Буквально нет двух-трёх физиономий «в порядке». Кривые, с провалившимися носами, подбитыми скулами, вырванными клоками бороды, с какими-то удивительными природными недостатками, например, узкий лоб, вдвое выше всей остальной части лица, или наоборот, едва заметные глазные щели помещаются совсем на лбу. У одного рот настолько ушёл в сторону, что он может доставать языком кончик уха; а у другого оторвало где-то всю верхнюю губу. Не подумайте, что все это «калеки». Вовсе нет. Они не обращают малейшего внимания на подобные пустяки и так привыкли ко всяческим «изъянам», что не замечают своего уродства.

В начале шестого часа на «биржу» вышли наборщики. Кроме Ефима набирать факельщиков пришли ещё четверо, таких же, как и Ефим, подрядчиков, взимающих за комиссию по пятаку с рыла. Мигом их обступили и начались переговоры.

– Мне восемнадцать человек к Шумилову, на Морскую.

– Мне шестнадцать человек к Филиппову^[139], на Конюшенную.

– Мне двенадцать человек для «бюро» на «Остров».

Условия найма всем известны, порядки тоже, так что разговаривать много не приходится. Ефим скомандовал «смирно» и стал отсчитывать: «раз, два, три». Кого он тронул по плечу, сказал «раз» или «два, пять, семь», тот взят и отходит в сторону. Я попал шестым к Шумилову на Морскую и отошёл к своей группе. Через полчаса биржа закрылась. Наряды все были набраны и человек 100 остались за штатом. День был неудачный – мало богатых похорон. Иногда случается, что не хватает людей, особенно летом, когда траурщики уходят на отхожие промыслы.

Заштатные побрели в трактиры, а избранные стояли группами. К каждой группе подошёл свой наборщик, осмотрел всякого, выстроил попарно и скомандовал «марш». В предшествии Ефима мы зашагали молча и сосредоточенно, направляясь на Морскую хоронить «анарала».

4. Вынос

В начале седьмого часа мы были на Большой Морской близ Гороховой. Ельник, густой слой соломы перед домом и шныряющие тёмные личности около ворот дома свидетельствовали, что здесь именно «вынос». Ефим скомандовал нам «стой» и пошёл собирать сведения. Минут через десять приехали и дроги с балдахинном.

Мы сгруппировались у ворот и вели беседу. Из восемнадцати человек большая половина были ещё пьяны, не успели отрезвиться после вчерашнего «угара». Стали крутить из газетной бумаги «цигарки» и обмениваться впечатлениями.

– Эх, житьё наше горемычное! Похороны енерала поди тысячи полторы стоят, а нам по 55 копеек с рыла. Хорошо, если наш покойник был добрый, тогда дадут на чай, а то и в пустую сыграет!

– Не дадут, так мы среди дороги и покойника бросим! Тоже церемониться не станем!

– Степановы траурщики в прошлом году так и сделали; бросили покойника на Гороховой и пошли назад. По рублю дали, только бы вернулись!

– А то как же? Тратят сотни, тысячи рублей, а бедным людям жалко двугривенный дать! Поди, нам не радость тоже здесь с шести утра околачиваться. Трудимся, не Христа ради просим!

Ефим вышел:

– Ребята, по 30 копеек на брата господа дали...

– По тридцать? Ну, не жирно! Чтоб им...

– Стройтесь в линию. Раздевайтесь!...

Как это раздеваться? Здесь на улице раздеваться? Да ведь у некоторых из нас и белья вовсе нет? Сняв зипун, остаётся как мать родила? Что это за безобразие?

Между тем траурщики уже раздевались. Косой Сенька действительно остался без рубашки. Большинство же в каких-то грязных лохмотьях, сквозь которые выглядывало голое тело.

Мимо ехали «ранние» обыватели и с удивлением смотрели на наш маскарад.

Ефим достал из ящика в дрогах несколько куч траурных облачений и стал примерять на нас фраки, панталоны, шляпы, крепы и белые кисейные шарфы, надеваемые через плечо. Фраки подгонялись не сразу; пришлось примерять по несколько раз и все это время 18 человек оставались раздетыми на улице, вызывая насмешки и остроты прохожих.

После я узнал, что такой порядок уличного раздевания существует у всех гробовщиков, не исключая и бюро. Дело в том, что по распоряжению господина градоначальника факельщикам запрещено ходить в своих нарядах по городу и они не могут одеваться в своём Малковом переулке; в квартиру же покойника их не пускают, опасаясь краж; на дворе облачаться не позволяют часто дворники, и волей-неволей остаётся только улица!

Мне кажется, подобное безобразие очень легко было бы устранить, обязав гробовщиков возить свою прислугу к месту выноса в каретах. Расход на кареты совершенно ничтожен по сравнению с теми громадными суммами, которые они берет за свои процессии. Во всяком случае, переодевания на улице составляет явление совершенно невозможное. Мне пришлось, например, простоять в одной рубашке добрых полчаса, пока Ефим пригнал мой фрак. Ну, а если на дворе 30 градусов мороза? Благодарю покорно!

Вынос был назначен в 9 часов утра. Совершенно одетые, мы празднично должны были ждать почти два часа. Некоторые посмелее пошли «нюхать» на кухню. Там иногда перепадёт стакан водки, а то и двугривенный за какое-нибудь мелкое поручение. Приехал «сам» Шумилов. Ефим встретил его и провёл «по фронту». «Сам» видимо остался доволен и прошёл в подъезд на квартиру покойного.

Томительно долго тянулось время. На улице собиралась толпа праздничного люда, глазевшего на приготовления выноса. Удивительная наша «толпа»! Чего она не видала? Что ей тут интересного? А стоит ведь часами!

Я попробовал заговорить с каким-то купцом, стоявшим несколько поодаль от толпы на панели. Надо было видеть с каким презрением, отвращением купец отскочил от меня, не дослушав даже вопроса. Точно я хотел укусить его. А ведь наряд мой был неплохой. Огромная треуголка с белым галуном, фрак, отороченный таким же галуном и брюки с лампасами. Так как белья (крахмальной машинки) ни у кого не было, то воротник и грудь закрывались белым шарфом, перекинутым через плечо. Разве не эффектный наряд? Но, б-р-р, мне самому этот наряд и эти траурщики были до того отвратительны, что я вполне понимал брезгливость отскочившего от меня купца.

У этих людей нет никакого понятия о чистоплотности как тела, так и души. Старый, выброшенный гробовщиком за негодностью покров составляет очень часто «любимое одеяло» траурщика! Не забудьте, что мало-мальски порядочный покров гробовщик никогда не бросит, а изрежет его на украшение гробов или костюмов. Все брошенное после похорон покойника до последней тряпки разбирается траурщиками нарасхват. Те, кому приходится жить в гробовых мастерских, охотно спят в запасных гробах. Дежурящие при гробе с покойником хладнокровно пьют и едят тут же. Слезы, рыдания, отчаяние близких также мало обращают на себя их внимание.

В начале десятого часа нас позвали «выносить гроб». Я не пошёл и остался с несколькими другими зажигать факелы. Минут через двадцать послышалось пение хора певчих, а за ним духовенство и все прочее. Нервы мои были не в порядке. Я взял свой факел и ушёл вперёд. Знакомый читателям «мажор» был уже на месте со своей булавой. О, как он был величествен в этом блестящем наряде и в сознании, что он открывает шествие, он даёт тон всей процессии и в

некотором роде он особа. «Мажор» не удостоил меня не только кивка, но даже не посмотрел на такую «дрянь». Он смотрел внимательно на балдахин, чтобы уловить момент тронуться. Наконец, он произнёс самому себе «марш», круто повернулся, взмахнул булавой и сделал шаг вперёд. Я поднял свой факел и пошёл в первой паре за ним.

Что я в эту минуту чувствовал? Мне было, прежде всего, ужасно стыдно. Я не стыдился ездить извозчиком, служить официантом, ходить бродяжкой. А тут невыносимо было стыдно, когда я, как дурак, бесцельно, бессмысленно шагаю по мостовой, а по обе стороны улицы стоит толпа и смотрит. Зачем я шагаю? Какую и кому я приношу пользу?! Не сущее ли это дармоедство, тунеядство? Что мы делаем с шести утра и до 11 дня, когда пришли на кладбище, разделись на могилах, сдали вещи амуниции, получили по 85 копеек и пошли в трактир. Наши обязанности были окончены в одиннадцать часов утра, но, Боже Правый, что это за обязанности? Пройти с фонарём несколько вёрст и все! Где же работа, труд, занятие, дело?

Вот за это бесцельное, ни за что не нужное дармоедство, тунеядство, которое, однако, оплачивается и составляет средство к существованию, и стыдно!

Очевидно, платится именно за эту дурацкую роль, служащую посмешищем, какой-то иронией над человеческим достоинством. Если дроги везут шесть лошадей, когда могла бы вести одна, это ещё извинительно, потому что лошадь может служить декорацией, но восемнадцать человек в шутовских костюм для декорации? Это, воля ваша, позор! Неудивительно, что люди, избравшие себе это занятие профессию, потеряли всякое представление о человеческом достоинстве!

5. Отпетый

– Не стоит! И так обойдётся, – объявил Ефим, когда зашла речь о проводах небогатого покойника на городское Преображенское кладбище по Николаевской железной дороге.

– Проводим до вокзала и довольно?

– Довольно! Не стоит ломаться...

– А вы позвольте мне проводить до места, – заявил я, – мне все равно делать нечего, а хочется отдать долг покойному как следует, до могилы. Там, ведь, дело найдётся.

– Глуп ты, милый человек, ведь «чайные» по двугривенному получены, больше ничего не дадут.

– Все равно, у меня усердие есть без «чайных».

– Поезжай, коли хочешь, я тебе не запрещаю.

Хоронили мы среднего чиновничка, оставившего вдову с пятью малолетними детьми. Горе, нужда и отчаяние у гроба не поддаются описанию. Слезы малюток-сирот, не сознающих ясно своей утраты, но горько плачущих над неподвижным трупом отца, производили подавляющее впечатление и хватали за душу. Нервы всех были потрясены до крайности.

– Барыня, покойничка помянуть пожертвуйте, – подошли к рыдавшей вдове два факельщика.

Она подняла голову, устремила на просивших бессмысленный, тупой взор и молчала.

– На чаек, сударыня, – повторили факельщики.

Я не вытерпел, схватил негодяев за шиворот и отбросил их в сторону. Я и забыл, что сам был в траурной треуголке. Мои «коллеги» вломились в страшную амбицию, подозревая, что я сам хотел, один, получить с вдовы «на чаек», благо вдова «расчувствовалось» и может нечаянно, по ошибке, «рублёвку» дать. Ругательствам и угрозам обиженных не было конца.

Мы проводили скромную колесницу до вокзала. Траурщиков было четверо; трое ушли, и я один отправился с поездом на Преображенское^[140] кладбище. Похороны устраивал мелкий гробовщик. Он сторговался за 55 рублей, но получил только 25 рублей задатку. Ему хотелось скорее получить остальные 30 рублей. «После возиться придётся». Он со счётом вертелся все время около вдовы, которая едва поспевала за ехавшей чуть не рысью колесницей. Вид вдовы был так ужасен, что даже гробовщик не решился заговорить с ней о счёте. На вокзале пришлось ждать. Вдова, окружённая детьми, совсем одна села или скорее упала на скамью и воспалёнными глазами следила за дорогим гробом, который понесли на платформу. Гробовщик не вытерпел:

– Сударыня, позвольте по счету получить остальные.

Испуганная она вскочила со скамьи и стала искать кошелёк.

– Благодарю вас, – раскланялся гробовщик.

Мне не удалось увидеть, сколько он получил и не обсчитал ли он вдову, которая ничего не видела и не помнила. Гробовщики пользуются такими моментами. Ведь не каждый день выпадают такие «случаи». А жить и пить надо ежедневно. Ergo^[141]: «момент следует ловить».

Для покойников и провожатых существует на Николаевской дороге отдельный вокзал, платформа и особые поезда. На платформе было около двадцати гробов, с дощечками «отпетый» и «неотпетый». Первых было восемь, вторых больше, десять. Последние, кажется, больничные судя по внешнему виду гроба и отсутствию кого-либо из провожатых. Гробы поставили в товарные вагоны. Ровно в половину одиннадцатого пришёл пассажирский поезд; к нему в хвост прицепили вагоны и мы поехали до станции «Преображенской».

День был чудный, жаркий. Пассажиры, ехавшие весёлыми группами на охоты, в гости, и не подозревали, какой «хвост» находится у их поезда. Стоны и слезы провожавших, убожество «последнего долга» и сильный трупный запах составляли принадлежность этого «хвоста». А трупные мухи, жужжавшие вокруг гробов и садившиеся потом на нас, траурщиков? Если бы пришлось ехать ещё одну-две станции, я, кажется, выскочил бы с поезда, бросив своё «интервью».

Но поезд остановился. Кладбищенские служители встретили наши вагоны с носилками. Один на один устали «отпетых» и потащили к вырытым заранее могилам. «Неотпетых» понесли в церковь, где началась уже литургия. На двадцать покойников было только шесть человек провожавших и один (я) траурщик! Более чем скромно! Тут, видимо, мало соблюдается церемоний.

Я пришёл к приготовленным могилам с дощечками. Их скорее можно назвать «колодцами». Гробы не «опускают», а «погружают» в воду. Когда все «погружены», их засыпают и втыкают шест. Этот шест с табличкой образует эмблему креста. На дощечке: «Иван Петров», «Марья Степанова». Но в который колодец погрузили Марью и в который Ивана – никто не знает. Дощечки, заранее приготовленные, лежали в куче и после их прибывали как попало. Скоро отдали «последний долг» всем этим Марьям и Иванам. В храме продолжалось ещё отпевание «неотпетых». На кладбище ощущался сильный трупный запах. Слышались рыдания, вопли отчаяния.

Скорее, скорее на свежий воздух. К платформе подошёл дачный поезд. Из окон виднелись нарядные туалеты дам, слышался весёлый говор, смех. Я побежал к вагону второго класса и занёс уже ногу на ступеньку, как меня кто-то схватил за рукав и грубо оттолкнул:

– Пошёл вон, куда лезешь!

Это был кондуктор. Я опять забыл, что на мне наряд факельщика.

6. Хозяева

Один из шести дней я провёл в мастерской «хозяина» средней руки в качестве «штучника», поставляющего гробы. Разумеется, гробов не делал и не поставлял, но мне хотелось провести этот день в «семье» гробовщика, чтобы постигнуть все скрытые пружины промысла и сделать наблюдения над внутреннюю жизнь этих мрачных ремесленников.

Какое душу мутящее кощунство и цинизм царят в этих тесных, грязных, подвальных «мастерских», пропитанных запахом сивухи, ладана и трупа?! Букет ужасный именно своим сочетанием. А эти люди, люди, утратившие страх, уважение и благоговение перед последним вздохом ближнего, перед тою загробною жизнью, куда они ежедневно напутствуют и провожают десятки людей!

Я приведу несколько фактов из жизни «хозяев», очевидцем которых я сам был и читатели пусть сами сделают выводы.

Степан Дмитриев, человек не первой молодости, семейный и богатый. У него дочь невеста и сын подросток занимаются приёмом заказов. Живёт он довольно прилично и вне сферы своей деятельности мог бы считаться вполне приличным купцом, но... но он потомственный гробовщик до мозга костей, унаследовавший все инстинкты и чувства принадлежать своей профессии. Он ходит в соседний трактир с условием, чтобы в случае смерти хозяина или жены его похороны были отданы ему; иначе он «ходить в трактир не будет». С тем же условием он забирает товар в лавках, нанимает квартиру, даже знакомится с кем-нибудь. Все помыслы и вожеления его направлены к... «покойникам», которые его кормят, поят и дают возможность богатеть. Он нежен с богатыми покойниками, как

влюблённый с невестой, и груб, жесток с бедными мертвецами, как ростовщик с безнадёжным должником.

Однажды на Выборгской стороне хоронили богатую старушку. Гробовщики один за другим стали визитировать к сыну старушки, когда умирающая была ещё жива. Сын пришёл в ярость и встречал каждого поленом дров. Явился и Степан Дмитриевич. Как человек опытный, бывалый, он пустился бежать обратно по лестнице, едва заведя молодого человека в кухню. Но предательское полено достигло его на площадке и грохнулось об его спину. Степан Дмитриевич даже присел, испустив стон. Нестерпимая боль началась под ложечкой. Он чувствовал, что полено отшибло у него что-то внутри. Горе, злоба, досада Степана Дмитриевича были так велики, что он решил отомстить за себя. Знаете, как? Он добился заказа хоронить старушку и приписал сыну к счёту ровно 150 рублей, во что он ценил полученные от полена повреждения.

Как нажил Степан Дмитриевич состояние? Все гробовщики дерут елико возможно! Одни и те же похороны они устраивают в 45 рублей, в 400 рублей, смотря по тому, с кого сколько можно сорвать и запросить. Для наглядности я приведу два преysкуранта похорон по 1 разряду и последнему, с указанием стоимости «товара» самому гробовщику.

1 разряд: Плата 950 руб. гроб металлический – 1,200 руб.

N.B. Могила, отпевание, духовенство, покров – в разряд не входят и относятся на счёт заказчика, во всех «бюро» и во всех разрядах.

1. Гроб (высокий и широкий) – 1 рубль 80 копеек.

2. Обивка гроба (коленкор с позументом или глазет) – 4 рубля 50 копеек.

3. Обивка бархатом – особо по соглашению от 10 рублей до 16 рублей 70 копеек.

4. Гроб металлический заграничный лучший – от 32-х до 60 рублей.

5. Такой-же русский – от 9-ти до 16-ти рублей.

6. Бронзировка гроба – 10 рублей.

7. Балдахин (прокатная цена) – от 5-ти. до 95-ти рублей.

8. Шесть лошадей (прокатная цена по 2 рубля.) – 12 рублей.

9. Шестнадцать факельщиков (по 60 коп.) – 9 рублей 60 копеек.

10. Читальщики – 3 рубля.

11. Свечи —6 рублей.

12. Катафалк (прокатная цена) – 1 рубль.
13. Наряд полиции – 3 рубля.
14. Публикации в газетах – 12 рублей.
15. Хор певчих – до 60-ти рублей.
16. Траур (в церкви и квартире с растениями) – по особому соглашению вне разряда.

Итого: гробовщик расходует 112 рублей 40 копеек, получая 950 рублей. Или 189 рублей 90 копеек, получая 1,200 рублей.

Последний разряд 45 рублей:

1. Гроб (высокий и широкий) – 1 рубль 80 копеек.
2. Обивка— 1 рубль.
3. Две лошади – 4 рубля.
4. Дороги (прокатная цена) – от 1 рубля 50 копеек до 2 рублей 50 копеек.
5. Два факельщика – 1 рубль 20 копеек.
6. Один читальщик – 75 копеек.
7. Свечи – 1 рубль.

Итого: 12 рублей 25 копеек при цене 45 рублей.

Очевидно, в обоих случаях барыш, получаемый гробовщиком, лихвенный, но он 45 рублей берет только при усиленном торге, стараясь сорвать за свои 12 $\frac{1}{4}$ рублей как можно больше. Что же касается первого разряда, то там тоже многие торгуются, в «бюро» или гробовщик охотно берут вместо 1200 рублей 700, 600 и даже 500 рублей. Но кто не торгуются – платят полностью и даёт гробовщику 700 % чистой пользы.

Какие же ростовщики могут похвастаться подобными процентами, взимаемыми за 2–3 дня «операции»?!!

В Петербурге умирает богатых гораздо меньше, чем бедных. Статистика показывает, что богатых похорон бывает 10–15 в неделю, а гробовщиков и «бюро» с отделениями расплодилось до 80! Устраивается травля, борьба, состязание, спорт с этими 10–15 счастливыми. Кому удастся сорвать заказец?

Способов спорта множество. Отмечу некоторые.

Три «бюро», Шумилов, Харитонов, Филиппов и др. завели прејскуранты с разрядами, на которых значится мелким шрифтом «печатать» и жирным «разрешается, С-Петербургский градоначальник генерал...» и т. д.

– Наш преysкурaнт утверждён правительством, – говорят они, тыча пальцем на «разрешается».

А в преysкурaнте запрос в 700 процентов!

Зaтем, все они друг перед другом строят балдахины, белые попоны, блестящие уборы и пр.

Дaлее, каждый гробовщик имеет агентов. Заводят связи с церковными и кладбищенскими служителями. Как только посылают в церковь за священником соборовать больного или приобщить святой тайне, сторож бежит к гробовщику... но сторожей много и гробовщиков много, поэтому дадут знать сразу нескольким гробовщикам, и раньше, чем к больному явится священник с дарами, на дворе дежурит уже гробовщик. Прислуга докторов, аптек, также на откупе у гробовщиков.

Но Степан Дмитриевич пошёл дальше. Каждое утро он берет с собой пачку своих торговых карточек и целый мешок медных и серебряных денег. Он выходит в то время, когда дворники начинают мести улицы, и идёт серединой проспекта. Каждому дворнику и швейцару он даёт монету и карточку. Смысл этой подачи ясен. Но Степан Дмитриевич забывает, что и другие гробовщики делают то же самое, так что в результате при каждых похоронах происходит столкновение нескольких, получивших «уведомление»...

В бытность мою факельщиком я был свидетелем следующего факта. Умер зажиточный купец. Вдова в отчаянии; приближенных никого нет, кроме прислуги. Гробовщик, получив согласие вдовы, поспешил немедленно принести гроб, свечи и катафалк. Покойника уложили, гробовщик ушёл. Через час является другой гробовщик, присланный прислугой. Вдова почти без чувств. Гробовщик, не задумываясь, перекладывает покойника в свой гроб, ставит свои атрибуты и выносит все вещи конкурента. Часа через два является первый гробовщик и проделывает то же самое, но он не успел окончить операцию, как явился противник. Произошла драка с кровоизлиянием. И все это над неостывшим ещё трупом, в присутствии полубесчувственной от горя вдовы!

И подобные инциденты не редкость! Для гробовщика слишком велик интерес заполучить «подрядец» и он не останавливается ни перед чем. Как волка кормят ноги, так и он, не будучи рыскающим

шакалом, не получит ничего. Все основано на хитрости, ловкости и проворстве. Чем больше сорвёт он «подрядов», тем больше наживёт!

Степан Дмитриевич один из первых шакалов и поэтому он богаче других.

7

Давно пора, мне кажется, положить конец возмутительным хищничествам гробовщиков у праха почившего! Не только нигде в мире, но и в Петербурге ничего подобного не происходит, когда умирает еврей, магометанин, католик, протестант или раскольник. Почему же можно так нагло издеваться над прахом православного?!

Покойника богатого бесцеремонно обирают, устраивая спорт, чтобы не сказать травлю; среднего покойника обманывают и ошипывают; небогатого оскорбляют и издеваются, а бедняка, особенного больничного, бросают с цинизмом без отдания последнего долга... И все это на глазах живых православных – братьев...

Публике посторонней все безобразия и бесчинства гробовщиков не так заметны, потому что они маскируются и скрываются, но кому приходила нужда с ними сталкиваться, тот знает, что это за люди и порядки! Чтобы судить, насколько «пора» православным христианам позаботиться о своих покойниках, я укажу на «больничных гробовщиков».

С переходом больниц в заведывание города погребение умирающих бедняков оставлено в каком-то неопределённом положении. Является к смотрителю гробовщик, предлагает хоронить «даром» бедных покойников и, сверх того, делает ещё взнос на церковь. Чего же лучше? Предложение гробовщика принимается, и он делает полным распорядителем и властелином мёртвых тел! До бедняков-мертвецов, не имеющих в Петербурге ни родных, ни близких, никому решительно нет дела, и гробовщик может делать с ними что угодно. Но ведь умирают и такие, которые имеют семьи, нередко состояния. Вот с этих-то последних монополист-гробовщик дерёт что хочет, потому что мёртвое тело – святыня в глазах семьи, находится в его руках! Ради этих-то покойников он и бедных даром хоронит. Но как хоронит?!

Прежде всего, он старается отправить как можно больше тел в прозекторскую медицинской академии или юрьевский университет. Туда тела отправляются голыми в ящиках; значит, не надо ни одеть покойника, ни дарового гроба отпустить. Отпевают ли их? Надо надеяться, что да...

Затем, тех, которых не удалось сбыть в фургон для отправки в прозекторскую, гробовщик кладёт в некрашенный, едва сколоченный гроб и чтобы не одевать, прикрывает сверху куском коленкора. В таком виде гробы парами отправляются на ломовиках к станциям железных дорог для отправки на загородные кладбища. Были случаи, что гробы разваливались раньше, чем довезут их до могилы и мёртвые тела вываливались. Бесцеремонность гробовщика в обращении с бедняками-покойниками переходит всякие границы и, только щадя нервы читателей, я не хочу приводить здесь ряд фактов.

По поводу так называемых «бюро похоронных процессий» следует заметить, что в нравственном и денежном отношениях преимущества этих «бюро» чисто мифические.

Обещание, будто «бюро» избавляет при похоронах «от всех хлопот», совершенно фиктивно. Оно не берёт на себя ни могилы, ни отпевания, словом, исполняет только тоже, что и все гробовщики. Цены же «бюро» гораздо выше всех других. Многие думали, что «бюро» упорядочит дело погребения покойников, но надежды эти вовсе не оправдались и существование нескольких «бюро» вызвало между ними такой же безобразный спорт, как и между простыми гробовщиками. Точно также «бюро» отрешиваются от даровых покойников, тоже неохотно берутся хоронить небогатых и точно также дерут с богатых 800–900 % барыша. Заслуг у них нет никаких перед обществом, церковью или администрацией, а «куши» они рвут не хуже обыкновенных Шумиловых, Архиповых и Филипповых. Одно из трёх «бюро» успело уже прогореть и обстановка магазинов, вместе с гробами и венками, описаны за долги. Это «бюро» сделалось жертвой конкуренции, а на смену ему два другие гробовщика хлопчут о новом «бюро».

Присматриваясь к тому, что делается в недрах гробовых контор и мастерских, невольно задаёшься вопросом: почему все они остаются вне всякого надзора, контроля и правил? Почему извозчики, которые взять живых, обязаны иметь приличные экипажи; эти экипажи

осматриваются два раза в год, клеймятся разрушительными штемпелями. Почему же мёртвых можно возить как угодно?! Дроги поломаны, угол отвалился, рессоры перевязаны верёвкой; на козлах сидит мужичина; рваный халат раздувается у него ветром и обнажается голое тело; попона у лошадёнки грязная, рваная; покров хуже тряпки. И никому нет дела до этого! Почему у нас говорят о таксе на хлеб, на извозчиков, а о таксе для гробовщиков нет и вопроса, хотя похоронить умершего бесспорно составляет предмет первой необходимости.

Посмотрите, с каким благоговением и любовью относятся к своим покойникам магометане и евреи. Во всех больницах висят аншлаги за подписью ахунов и раввинов, которые «покорнейше просят о каждом умершем их единоверце немедленно давать знать». Не успеет еврей или магометанин закрыть глаза, как прах его со всеми религиозными почестями обрядностями переходит в руки духовенства и затем ему отдаётся последний долг по всем правилам своей церкви. А русский?

– Волочи в покойницкую!

И волокут. А там «фургон» или дощатый гроб с ломовиком. Площадная брань, упрёки в «даровщине» и возмутительная грубость – вот атрибуты и напутствия больничных покойников. Да и не только больничных. При мне пришли сказать гробовщику, что на спуске Фонтанки вытащили мёртвое тело, нужен гроб.

– Не дам, – отвечает гробовщик.

Нужен ломовик отвезти утопленника в часть.

– Не повезу, – говорит ломовик.

Еще бы! Все это надо сделать даром. Для уборки палых собак и кошек городская управа имеет подрядчика, которому платит деньги, а до мёртвого тела никому дела нет! На это никаких сумм не ассигновано! «Бюро» также не имеет разряда для похорон дешевле 50 рублей, а ведь с мёртвого тела взять нечего. Один крестик на шее, да и тот медненький.

Однажды прибегают сказать, что в меблированных комнатах второй день сидит мертвец. Как сидит? Так. Сидел и умер. Прислуга номеров только на другой день заметила, что сидящий мёртв. Дали знать полиции. Врач пришёл – говорит, умер ударом, и ушёл. Следовательно приехал, составил акт и уехал. Надо покойника похоронить. Местный

околоточный надзиратель предложил хозяйке меблированных комнат похоронить.

– Помилуйте, да он мне за комнату не заплатил, а тут ещё хоронить!

Стал околоточный просить больничного гробовщика.

– Это не моё дело. Я хороню только из больницы.

Пошли к другим гробовщикам:

– Вот ещё! была надобность!

А похороны-то три целковых: гроб да ломовик.

Но у города нет и этих сумм, ассигнованных по смете.

Заканчивая своё «мрачное» интервью, я ещё раз высказываю надежду, что на указанные возмутительные безобразия, сопровождающие почти каждые похороны, будет обращено должное внимание и безобразия эти отойдут в область преданий. Необходимо, казалось бы, передать дело погребения и устройства похоронных процессий в распоряжение церквей, монастырей или благотворительных заведений.

Николай Платонович Карабчевский

«Полицейские дома в Петербурге»^[142]

Полицейские, или – как их прежде называли – «съезжие» дома, со своими обсервационными каланчами на верху, разбросаны в разных местах столицы.

Всех их счётом двенадцать по числу полицейских частей Петербурга. При каждом из таких полицейских домов имеются специальные места заточений для разного рода заключённых, так или иначе заарестованных полицией.

Сюда стекаются самые разнообразные элементы.

Оборванная, грязная ватага ночных беспаспортных бродяг, застигнутых полицейской ночной облавой: безобразно пьяная публичная женщина, за пять минут перед тем шумевшая и собиравшая толпу на проспекте; только что пойманный вор, с поличным в руках; извозчик, раскроивший оглоблей череп прохожему и, наконец, ещё весь дрожащий, бледный убийца, с несмытой кровью на руках, – все эти жертвы случая или печальных столкновений, вплоть до полупомешанного седого старикашки, с импровизированной офицерской кокардой на картузе, заблудившегося посреди бела дня и не знающего, где его дом, – все эти «подозрительные» в каком бы то ни было отношении личности влекутся рукой полицейского стража за одну общую решётку.

Второпях все это сваливается в одну общую кучу для того, чтобы потом сортироваться, препровождаться, караться, высылаться и т. п.

Нам довольно близко довелось наблюдать внутреннюю жизнь двух-трёх таких полицейских домов столицы, и думается, что некоторые из этих наблюдений, несмотря на то, что они относятся ко времени, когда полицейские дома служили ещё приютом и для подследственных арестантов и для лиц, отбывавших наказания по приговорам мировых судей^[143] не лишены и теперь некоторого значения.

Места заточения во всех полицейских домах устроены приблизительно одинаково, по одному типу. Длинный общий коридор тянется вдоль капитальной наружной стены, в которой проделаны

большие решетчатые окна, нередко выходящие на улицу, и другую, внутренней стеной, составленной из ряда непосредственно примыкающих друг к другу клеток – арестантских камер. Над дверьми каждой из таких камер, различающихся между собою лишь по объёму, прибита жестяная дощечка с надписью, изображающею принадлежность заключённых к той или другой группе или категории.

Все так называемые «общие» камеры устроены приблизительно одинаково: широкие нары, идущие несколько наклонно с двух противоположных сторон, загромождают, обыкновенно, всё помещение и оставляют затем небольшой свободный проход, где из двадцати заключённых могут ходить или, вернее, топтаться на месте трое-четверо, остальные же 16–17 человек обречены на всedневное и всенощное лежание в растяжку или сиденье «по-турецки» на своих койках.

«Общих» камер в каждом полицейском доме бывает обыкновенно три, не считая женских, которые безусловно отделены от мужских и существуют только при некоторых полицейских домах.

За исключением камеры для «благородных», которая также имеется не везде, остальные три общие камеры составляют в сущности одно целое, так как они отделены друг от друга лишь дощатыми перегородками и одной сплошной решетчатой шпалерой, выходят в общий коридор, где даже негромкий говор слышен из одного конца коридора в другой.

Эти *de facto* нераздельные камеры предназначались, тем не менее, для заключённых трёх совершенно различных категорий, как свидетельствовали об этом жестяные патенты, гласившее последовательно: «камера следственная», «камера мировая» и «бродяжная» или – более гуманно называемая собственно – «общая».

Таким образом, всё это «замкнутое» (в буквальном смысле слова), общество, как и всякое людское общество, делилось на ранги, сообразно патенту, вывешенному на видном месте.

«Господа следственные», – как величали их цивилизованные сторожа, а иногда и сами смотрители, – пользовались некоторым почётом и преимуществом, например, пред «господами за мировыми», которые, представляя из себя нечто вроде *tiers etat*^[144], в свой черёд относились с пренебрежением к своим соседям, уже не «господам», а просто – «бродяжным».

Такая градация, выработанная местными нравами, казалась тем более забавной, что между последними, т. е. «бродяжными», подлежащими частью высылке на родину, частью удостоверению в личности, попадалось более всего честных людей, повинных лишь в относительно пустой неисправности по части нашей пресловутой паспортной системы.

«Бродяжные» (большею частью, горемычные бобыли) отличались от других и своим костюмом. Редкий из «следственных» или «мировых», для сбережения собственного платья, наряжался в казённый холстинный халат (такие халаты выдавались от попечительного комитета о тюрьмах); между тем как «бродяжные» в большинстве случаев все сплошь были наряжены или в полосатые халаты, придающие им больничный вид, или в общеарестантские сермяги, которые делали их тогда похожими на колодников.

Результаты таких «сословных» градаций всей своей тяжестью падали на «бродяжных», выражаясь в том, что их посылали по утрам пилить дрова, мыть лестницы и ретирады, между тем как «господа следственные» и «за мировыми» подлежали лишь более лёгким домашним работам, как-то: выметании полов, стиранию пыли и т. д.

Здесь кстати заметить, что внешняя чистота и порядок в полицейских домах всюду замечательны. Камеры и особенно коридоры имеют обыкновенно блестяще-лакированный вид. «Бродяжные» в поте лица своего трудятся над этим, и чуть ли не каждые полчаса раздаётся голос смотрителя или его помощника: «ребята, пройдишь швабрами!»

Иные из смотрителей, наиболее усердные по службе, заводят даже на собственный счёт щётки и воск для натирания полов; и тут-то стоит посмотреть, как выплясывают «бродяжные» в своих полосатых, развевающихся халатах, стремясь придать заново выкрашенному полу вид самого безукоризненного паркета.

Для избавления местных обитателей от ещё более местных паразитов, еженедельно производилась посыпка нар и тощих тюфяков каким-то специальным снадобьем. Но и этот усовершенствованный способ истребления человеческих паразитов обыкновенно мало достигал цели, и оставлял ещё широкое поле для практикования более первобытных, но зато неукоснительно верных, способов их истребления.

Каждые две недели заключённых всех полицейских домов водили в баню Литовского замка. Путешествия эти совершались обыкновенно ранним утром, когда столица едва начинает пробуждаться. Для устранения побегов, легко возможных при таком многочисленном шествии, препровождаемых в баню арестантов обязательно наряжали в серые колпаки без козырьков. Мытье в бане собственного грешного тела, а вместе и белья, которое тут же сушилось и часто снова одевалось, доставляло засидевшимся на месте арестантам немало удовольствия.

«Благородные», согласно установившемуся обычаю, вовсе освобождались от обязательного хождения в баню. Они предпочитали отдать себя в жертву неопрятности необходимости пропутешествовать по улицам столицы в столь разношерстной компании.

Внутренняя жизнь в арестантских камерах всех полицейских домов весьма однообразна.

В камерах и коридорах на самом видном месте вывешены печатные правила «Инструкции», весьма подробно регулирующие жизнь заключённых. Её постановления весьма предусмотрительны; они не только определяют внешний порядок будничной жизни заключённых, но имеют в виду, по возможности, подчинить себе и нравственную их личность.

Что касается до внешнего распределения времени, по занятиям, то занятия эти исчерпывались удовлетворением общим потребностям арестантов. В шесть часов утра (зимой часом позже) при понуканиях дежурных сторожей: «вставать! все вставать!» — арестанты пробуждались от сна, наскоро убирали койки и приводили себя в порядок. Затем раздавалось громогласное: «смирно!» — являлся смотритель или его помощник с журналом в руках, для того чтобы сделать общую, именную перекличку. После переклички арестанты всех камер (кроме секретных, о которых речь впереди) собирались в общий коридор «на молитву», причём какой-нибудь доморощенный тенорок запевал «Отче наш», а остальные арестанты подтягивали ему общим хором.

Вслед за молитвой все снова расходились по камерам, и наступал самый оживлённый момент в жизни заключённых — полицейские служители разносили по камерам оловянные чайники громадных размеров с «казённым» кипятком для заваривания чая. Чаепитие

продолжалось обыкновенно добрых полчаса. Присев на корточки на своих нарах, арестанты, не торопясь, прищёлкивали сахаром и с расстановкой глотали горячий напиток из массивных оловянных кружек.

После чая производилась всегда основательная, так сказать, генеральная чистка и уборка лестниц, коридоров, ретиратов и т. д. «Бродяжных» в эту же пору высылали под конвоем одного стражника на двор рубить или пилить дрова и таскать воду.

Часов в десять, когда все уже бывало приведено в порядок дружными усилиями обитателей трёх соседних камер, снова являлся смотритель, с особыми списком в руках, по которому вызывали всех вытребованных на сегодняшний день к следователю, мировому судье, или в другое какое-либо присутственное место. Предстоявшие прогулки очень нравились засидевшимся арестантам, и каждый с нетерпением ждал своей очереди.

Прогулки, эти кроме удовольствия, иногда являлись в пору и с экономической точки зрения. Какие водятся у арестанта деньжонки весьма скоро уплывают на разные неотложные нужды, а у кого их достаточно, тот обязывался сдавать их в контору смотрителю на хранение, откуда он не мог получить более тридцати копеек за один раз. Правда, бывалые умудрялись иногда проносить с собой и все имевшиеся при них деньги, но в большинстве арестантского населения все же царила непокрытая бедность. А под замком жизнь только и красна невинными удовольствиями: чай да табак — единственная роскошь арестанта. Но и для этого всегда нужна копейка.

Арестант, отправлявшийся к следователю или по вызову мирового судьи, или для отбывания приговора, сдавался на руки полицейскому служителю, который обязан был конвоировать его до места назначения и там сдать под особую расписку в книге, имевшейся при нём. К месту назначения следуют обыкновенно пешком, причём приходится нередко пересекать самые людные улицы столицы. Во время этих-то переходов нуждающейся арестант ловко успевает спустить что-нибудь лишнее из своего гардероба: жилетку, пальто и т. п., и, таким образом, приобрести немножко деньжонок. Правда, конвоирующему стражнику строго-на-строго воспрещалось останавливаться на улице, особливо же — заходить куда-либо в магазины, трактиры и т. п., но ловкий арестант, и, не спрашивая, позволения, успевал иногда обделать дело, так что

зазевавшемуся провожатому оставалось только сплюнуть с досады и для вида «дать по шее» провинившемуся арестанту.

При подобном «препровождении» арестантов происходили нередко побег. Иногда даже при помощи самих конвоиров. К чести последних нужно однако же заметить, что в подобных исключительных обстоятельствах всего менее играют роль корыстолюбивые расчёты. Если это и случалось, то по мотивам довольно тонким.

Примером может служить случай, имевший место на наших глазах с одними из служителей полицейского дома.

Служитель этот, состоящий при женских камерах, много лет пользовался безупречной репутацией. Замечательно трезвый, исполнительный, хотя и несколько суровый с арестантами, он пользовался всеобщими уважением товарищей, начальства и самих заключённых.

В числе других арестанток содержалась в части некая «солдатская дочь» по имени Акулина, жившая тайными развратами, обвинявшаяся в ограблении пьяного богатого купца, ночевавшего у неё. Бойкая, словоохотливая, дерзкая с тюремным начальством и замечательно видная и красивая, эта Акулина сразу завоевала себе выдающееся положение среди своих товарок. Доставая водку чрез посредство дежурных служителей, она напивалась с утра, буянила, орала благим матом, задирали всех, за что и просиживала ночи напролёт с обнажёнными плечами в холодной камере арестантского карцера.

Только в дни дежурства непоколебимого в своей суровости стража она, поневоле, должна была вести себя прилично, потому что тот, не поддаваясь её соблазнам, не допускал возможности добыть ей водки какими бы то ни было способом. Естественно, что более надёжного проводника трудно было подыскать смотрителю для такой беспокойной и даже «дерзкой» арестантки. А между тем к допросу следователь её требовал чуть ли не ежедневно. Хотя обыкновенно избегали посылать часто арестанта с одним и тем же проводником, во избежание стачки, но здесь поневоле пришлось довериться ему одному, предпочтительно пред всеми другими служителями, которые, даже на глазах смотрителя, не могли противостоять чарам Акулины и оказывали ей видимое послабление.

Раза три или четыре эти путешествия совершились со всевозможным благополучием. Провожатый доставлял неугомонную

Акулину обратно в часть совершенно трезвую и даже, как будто, совсем уgomонившуюся. На четвёртый или пятый раз они снова пошли, – но в часть уже из них не вернулся ни тот, ни другая.

После долгих розысков удалось напасть на их след. В номере какой-то гостиницы средней руки отыскалась полицейская книга, бывшая при провожатом. По показанию номерного, «они», т. е. Акулина и её страж, заходили сюда не в первый раз, а в последний забыли эту книгу. Когда перелистали книгу, нашли и записку, в которой виновный прощался «с честными людьми» и писал без всяких обиняков: «погибнул через любовь».

Рассказывали (среди заключённых полицейского дома это «любовное приключение» произвело, разумеется, огромное впечатление), что честный страж, после первого же своего опыта конвоирования неугомонной Акулины будто бы со слезами на глазах умолял зрителя освободить его на будущее время от этой непосильной обязанности и просил в следующий раз послать с Акулиной кого-нибудь другого. Но зритель будто бы только пригрозили ему арестом. Бравый страж повиновался, и с тех пор стал уже бессменно препровождать Акулину к судебному следователю, пока, наконец, не «погибнул через любовь». Каждый Самсон найдёт свою Далилу!

«Следования» арестанта к месту назначения производились обыкновенно пешком; но арестанту, желающему ехать, не возбранялось нанимать и экипажи на свой счёт. Само собой разумеется, что такой привилегией пользовались весьма немногие счастливы. Арестанты, чувствовавшие чрезмерную слабость и вообще «больные», имели право быть перевозимыми бесплатно на извозничьих линейках. Но так как извозчики обязывались везти даром, то при этом соблюдалось правило, в силу которого при далёких расстояниях первый попавшийся извозчик обязан был провезти только известное незначительное пространство; затем арестант пересаживался на вторую, третью извозничью линейку и т. д., смотря по расстоянию. Такой способ передвижения весьма печально отзывался на труднoбольных, которые, если сами бывали неспособны двигаться, переваливались с линейки на линейку дюжими руками полицейского служителя и извозчика, для которых каждый арестант

был не более, как «кладь», почему они с ним и обращались как с настоящей кладью.

Нам довелось слышать полицейского служителя, который с неподдельным, но производившим тягостное впечатление, юмором рапортовал начальству о том, как он «доставил» в тюремную больницу вместо живой мёртвую старуху-арестантку. Её так усердно «переваливали» с извозчика на извозчика, что на четвёртом она «ёкнула и Богу душу отдала».

За всякую попытку к побегу и вообще за «упорное» неповиновение местному начальству провинившийся арестант немедленно переводился из полицейского дома в тюремный замок. Больные также препровождались в тюремный замок для помещения в местный лазарет, где и оставались впредь до выздоровления. Это обстоятельство заставляло заболевших арестантов перемогаться, т. е. скрывать свою болезнь до последней возможности. Для непривычного слуха название «тюрьма» сохраняло своё особенное значение, независимо от того, что по существу заключение в тюрьме, конечно, весьма немногим отличается от заключения в полицейском доме.

Обедали арестанты ровно в одиннадцать часов.

Двое-трое из «бродяжных» отправлялись под конвоем в арестантскую кухню, находившуюся в непосредственном заведовании «вольнонаёмной кухарки». Отсюда они возвращались в камеры с дымящимися мисками и порционными ломтями ржаного хлеба на всю братию. Иногда порций не хватало на всех, так как продовольствие отпускалось обязательно лишь по числу заключённых предыдущего дня.

Обед продолжался недолго. Содержимое объёмистых мисок уничтожалось в несколько минут, и опорожненная посуда относилась обратно в кухню «бродяжными» тем же порядком. На еду арестанты особенно не жаловались. «Брюхо – не зеркало!» – основательно рассуждали они.

После обеда, «на точном основании правил Инструкции», разрешается час отдыха. Однако, за неимением какого-либо для арестантов дела, этот час отдохновения продолжался обыкновенно вплоть до вечера, когда арестантам снова «дозволяется пить чай». На этот раз «казённого» кипятку уже не полагалось, и арестанты в

складчину приобретали таковой из соседнего трактира. Ужинали арестанты остатками от обеда часов в семь вечера.

Часов около девяти вечера вновь появлялся смотритель или его помощник, арестантов вновь выводили в общий коридор «на молитву», им делалась именная перекличка, и арестантский день считался законченным. В «общие» камеры вносились, очевидно, «незаменимые» ничем параша, решётчатые двери камор замыкались на ключ, огонь в коридорах убавлялся, и всюду воцарялась полутьма.

Жуткая тишина прерывалась лишь монотонными шагами дежурного стражника, да побрякиванием его ключей.

Кое-где по камерам слышался ещё порой возглас, подавленный смех или, надолго затянувшийся, повествовательный шёпот; но через час-другой все уже спали сном праведников. Только в дверях «благородной» виднелась обыкновенно яркая полоска света, и слышался несмолкаемый говор, продолжавшийся часов до двух, до трёх ночи.

Так проходил день – сплошь, в сущности «при открытых дверях» – для обитателей всех «общих» камер, в том числе, и «благородной».

Но кроме этих «общих» при полицейских домах имеются ещё, так называемые «секретные» камеры – узкие, неприютные, как только можно себе представить, полутёмные конуры с крошечным решётчатым оконцем под самым потолком...

Они предназначены для одиночного, безусловно, келейного, заключения. Двери их выходят обыкновенно в боковой коридорчик, совершенно удалённый от главного коридора.

Внутренний вид этих келий очень мрачен. Здесь, кроме правил помянутой уже выше «Инструкции», на самом видном месте вывешены ещё так называемые, «верные прибежища». Это тексты из Священного писания, отпечатанные большими буквами на полулистах картона. Своим содержанием они обыкновенно производят весьма сильное впечатление на только что приведённого арестанта. «Придите ко Мне все страждущие и обременённые, и аз упокою вас!» или: «Много зол праведнику, но Господь от всех избавляет его!» Так гласят эти «верные прибежища», которыми тюрьмы и полицейские дома обязательно снабжаются от «попечительного комитета о тюрьмах».

Особый «карцер» – также считается необходимейшею принадлежностью каждого «полицейского дома».

Это уже совершенно тёмная крошечная каморка, где невозможно вытянуться во весь, хотя бы средний, рост; каморка с холодным каменным полом, без всякой койки или подстилки. Сюда сажали провинившихся «против дисциплины арестантов», причём с подвергающегося карцерному заключению, – трудно понять, для какой цели, – снимали все верхнее платье. Если принять во внимание, что карцер вовсе не отаплился, и что на основании правил «Инструкции» смотрителю предоставлялось право продержать в карцере любого арестанта до семи суток с лишением горячей пищи, т. е. на хлебе и воде в продолжение всего времени заключения, то будет понятно, почему арестанты так недружелюбно косились на узкую глухую дверь мрачной каморки с чёткою надписью – «Карцер».

Арестуемые при «полицейских домах» никоим образом не могли, да едва ли и теперь могут считаться «случайными» и ещё менее «кратковременными» арестантами.

Не говоря уже о «подследственных» арестантах^[145], содержащиеся здесь месяцы и годы, и все остальное огромное большинство арестуемых «для следования» и «препровождения» точно также отсиживают здесь немалые сроки. Каждое арестуемое лицо обязательно вызывает о себе «переписку» в виде справок на месте родины и т. п., и одно это уже обеспечивает ему более или менее продолжительное «лежание на брюхе» в одной из общих камер, если только, по счастью, доставленную «личность» не сопровождает «особое отношение», приводящее обязательно прямо в «секретную».

Мы уже упоминали, что разделение арестуемых «по категориям» в полицейских домах, благодаря самому устройству мест заключения, представлялось часто фиктивным.

Как бы не был нравственно потрясён любой, только что задержанный «новичок», как бы ни был он искренно способен к раскаянию, часто вызываемому в человеческой душе, как необходимая реакция впервые совершённому преступлению, – стоит только ему переступить порог «полицейского дома» – всякие тяжёлые раздумья и угрызения совести как рукой сняло. Приветливо и радушно улыбающиеся лица новых товарищей немедленно успокоительно действуют на душу самого незакалённого грешника; ему достаточно сутки подышать здешней атмосферой, прислушаться к окружающим его толкам, чтобы окончательно примириться с постигнувшею его

участью, взглянуть на себя, как на достойного члена, хотя и не безукоризненного, но зато никогда не унывающего общества, где все ребята тёплые, друг друга не выдают, над всяким хитроумным полицейским стражем посмеиваются и, при случае, в грязь лицом не ударят.

Где тут размышлять и терзаться над собственным падением или несчастием, – другие интересы разом выдвигаются услужливыми товарищами на первый план. Начинается отупелое гуртовое лежание на брюхе изо дня в день, приправляемое заправскими анекдотами о взаимных похождениях, обсуждаются и дебатировются разные юридические тонкости и ухищрения; злобой дня становится забота о пустых казённых щах и крутой каше, поток свежих впечатлений ограничивается сообщением друг другу «придворных» известий: о сожитии смотрительской кухарки с пожарным унтером и т. п.

Словом, как бы ни были серьёзны мысли и глубоки чувства, неминуемо возбуждаемые в душе каждого человека первым невозвратным шагом на пути нравственного падения или свалившимся на него нежданно несчастьем, как бы непримиримо по отношению к собственному проступку ни были натянуты лучшие струны в душе человека, впервые сознавшего себя отверженными от людей, здесь на помощь являются услужливые руки, которые до тех пор станут наигрывать на этих душевных струнах, пока, наконец, к всеобщему удовольствию, они не попадут в общий аккорд и не станут затем навсегда издавать желанного бесформенного гула.

С этой минуты начинается настоящее падение преступника, настоящее принижение обездоленного.

Можно положительно утверждать, что при таких условиях огульное содержание разного рода арестованных даёт, во всяком случае, более рецидивистов, нежели полная безнаказанность и даже удачное сокрытие преступления.

Да и как возможно иначе? Что общего, например, между этим подслеповатым малым, попавшимся уже в третий раз, и на этот раз – за кражу из богатой квартиры с помощью подобранного ключа, кражу, которую он, пользуясь пребыванием хозяев квартиры на даче, совершил с замечательной дерзостью и ловкостью среди бела дня, в продолжении нескольких дней подряд, вынося постепенно всё наиболее ценное, и попавшийся только благодаря случайному

возвращению хозяина, — что общего между ним, дерзко выдавшим себя дворнику за присланного самим хозяином (что подтверждал и ключ, бывший при нём), пытавшимся в решительную минуту улизнуть из третьего этажа по водосточной трубе, а теперь упорно отрицающим свою виновность, несмотря на массу обличающих улики, — что общего между этою «красой и гордостью» целой воровской шайки и другим, лежащим рядом с ним на койке, юношей лет восемнадцати, который обвиняется в покушении на убийство своего отчима, терзавшего его, как плантатор негра? Этот мальчик до сих пор без ужаса и слёз не может вспомнить о страшной минуте, когда он, в отмщение за новый клоч выдранных волос, на удачу пустил ножом, бывшим у него под рукой. А между тем, двадцать четыре часа в сутки они лежат рядом, и не думаю, чтоб без влияния друг на друга.

Но это ещё не пример.

Здесь, по самой сущности различая характеров, вряд ли возможна какая-нибудь нравственная ассимиляция.

Другое дело — эти глуповатые разинутые рты «бродяжных», обступивших знаменитого «ходока» Лукшу, судящегося чуть ли не в пятый раз. Они на лету ловят каждое слово, которыми их удостаивает этот будущий князь Гакчайский.

«Отставной музыкант» Лукша, совершивший на своём веку много ловких мошенничеств и краж, известный полиции под разными именами, заарестованный на этот раз врасплох «как бродяга» только благодаря чуткому нюху ловкого сыщика, который, зная его в лицо, сам чуть не принял его за важного барина, каким тот себя выдавал; этот Лукша, некоторым образом оракул целой каморы. Молокососы же, пуще других упивающиеся его сладкогласием — трое безбородых учеников-мастеровых, повинные лишь в том, что, отбив от пристани чужую лодку, отправились на ней самовольно кататься «к взморью» и были задержаны затем «в безобразно пьяном виде».

Когда до подследственных арестантов добрался слух о новой тюрьме, предназначенной специально для них, они очень загрустили. Им не хотелось расставаться с относительно свободною жизнью в полицейских домах, чтобы променять её, как рассказывали всеведущие предрекатели, на келейное, безусловно, одиночное заключение в камерах новой следственной тюрьмы, где и света Божьего больше не увидишь, где и в суд поведут подземельем и из суда

выведут таким же путём, где и сторожа все будут припасены немые, чтобы и с теми разговоров никаких не иметь.

Но были и скептики, которые и слушать не хотели о новых порядках. По их мнению, это был один «слух пущен».... «Без табаку да без разговоров, – по их мнению, – в остроге совсем пропасть надо!»

С выделением из числа арестантов при полицейских домах «подследственных» и «арестных», отбывающих наказание по приговорам мировых судей, все же получается достаточная пестрота и разнокалиберность, так как тут оставлены все, о коих производится дознание и арестуемые по предварительному распоряжению мировых судей.

В описываемое нами время камера, в которой содержались все вообще числившиеся «за мировыми», представляла особенно яркую пестроту и разнохарактерность.

С одной стороны – мелкие жулики и воришки, по предварительному задержанию; с другой – приговорённые к аресту за разные полицейские проступки, более всего извозчики и кучера за быструю езду, и вообще нарушители тишины и порядка. Наконец, не малый процент «господ за мировыми» давали разные «оскорбители» словом и действием.

Из числа подобного рода «оскорбителей» в полицейских домах попадались законченные типы.

Приходит на память, например, один, слывший в Н-ской части за «майора», хотя он отродясь майором не был, а носил отставной военный мундир с красным воротником с чужого плеча. Этот «майор» избрал себе оригинальную профессию: или быть оскорблённым и получить зато «бесчестие», или, когда такими способом дело не выгорало, а жить было нечем, самому оскорбить и, следовательно, попасть в часть на даровую квартиру и пищу. Вся его жизнь проходила таким образом в искании своеобразного «счастья» по трактирным и другим – как он выражался – «спиритуалистическим» заведениям. Иногда он попадал под арест с подбитым глазом, исковерканной физиономией и вообще в сильном «упадке духа». Оказывалось, что «вышли неудачи»: он же избит, и он же попадал на выsidку за нарушение тишины и спокойствия. Поотлежавшись немного натура брала, обыкновенно, своё и, выпущенный вновь на свободу, он опять устремлялся на ловитву^[146] «своего счастья». Зимой, особенно во

время сильных морозов, когда без постоянной квартиры приходилось «невтерпёж», он почти не выходил из-под ареста. Бывало, только что отсидит свой срок, глядь, – денька через два-три, – снова появился «майор» и басит себе громче всех на вечерней молитве: «восписуем-ти Бо-о-городице!»

В этом разношёрстом обществе попадались и дети «по предварительному задержанию». Разные бесприютные горемыки, так или иначе подобранные на улице или, что ещё хуже, в кабаках и трактирах, содержимые под арестом до водворения к родителям, пересылки на родину и т. п.

Камера для «благородных», кроме внутренних преимуществ, в смысле некоторых послаблений для заключённых, отличается и внешнею представительностью. Это – не клетка для зверей, а обыкновенная, светлая, часто просторная комната с длинным рядом железных кроватей по стенам. Кровати на вид невзрачные, покрыты толстыми одеялами из серого солдатского сукна с небольшими жёсткими подушками, набитыми соломой. Но в таком виде казённая кровать остаётся только до своего очередного жильца. С появлением нового состоятельного жильца «из благородных», появляются тотчас и перины, и расшитые подушки, и стёганные одеяла.

Между окнами прилажен деревянный крашенный стол, окружённый низкими табуретами по числу кроватей. Вокруг этого стола «господа благородные» совершали свои ежедневный трапезы, предавались вечернему чаепитию и услаждали свои досуги неторопливой беседой.

Сюда реже заглядывает смотритель и его помощник; сторожа входят, снимая свои «кастрюли», а остальные арестанты взирают на заколдованные двери с решетчатыми прорехами с некоторой завистью и почтением. Здесь далеко за полночь допускались разговоры и полное освещение, между тем как во всех других каморах давно уже царит мёртвая тишина и обязательная полутьма.

Здесь встречались и из разряда «следственных» и из приговорённых к аресту мировыми судьями и из «разного рода» людей, имеющих между собою одну общую черту – принадлежность к привилегированному классу.

Вот, купец первой гильдии, из евреев, чёрный, как смоль, похожий больше на армянина, чем на еврея. Он вечно негодует на следователя, клянётся в его подкупности и дико при этом вращает белками. В те

минуты, когда он говорит о несправедливости должностных лиц, он входит в неопиcуемый азарт. Лицо его наливается кровью, и можно подумать, что это только что пойманный врасплох чеченец или вообще – азиат. Но стоит только издали показаться зрителю или вообще кому-нибудь из начальства, и грозный чеченец немедленно превращается в трусливого жидка, который смиренно, со слезами на глазах, толкует о том, что он – «честный купец у в первый гильдии», который «честно тургувал туваром», и неизвестно за что очутился под стражей. Из постановления следователя о заарестовании купца оказывается, что он по фамилии Рудольф Арон Блиндман и обвиняется в поджоге собственного, застрахованного в очень большой сумме, товара.

А вот, другой – «дворянин, лишённый прав»; по традиции, однако, все ещё – «привилегированный». На вид он ещё мальчик, хотя ему уже двадцать шесть лет. Он только что вышел из тюрьмы, куда был приговорён за кражу, а теперь обитает при части в «благородной», в ожидании высылки из столицы. Приписаться к какому-либо податному сословию он не желает в том самом месте, где помнит себя «честным дворянином», да и притом же он не имеет «приличных» средств к дальнейшему существованию «близ столицы, например, в Кронштадте». Несмотря на полное сознание своего, хотя и утраченного по воле людей, но прирождённого ему дворянского достоинства, он очень обязателен и услужлив. Пользуясь доверием зрителя, он играет между арестантами роль старосты, а «благородным» своим ближайшим товарищам по заключению, оказывает разные мелочные услуги, например, чистит платье, убирает постели, за что и получает соответствующая подачки. Иногда он бывал сентиментален и элегически сообщителен. Тогда он любил вспоминать о «купеческой дочке», которая любила его так сильно, что «может, даже от этого самого и померла» и которая уж конечно, не допустила бы его до такого «несчастья». Но... после её смерти он с тоски запил. Этим романическим обстоятельством, собственно, и объяснялась вся его дальнейшая «неприятная история». Впрочем, он не терял веры в будущее. Вдали от шумных развлечений столицы, в «новом и неведомом краю» он надеялся устроиться «по-новому». Тюремная жизнь его не особенно тяготила, но из прелестей свободной жизни он живее всего ощущал лишение биллиардной игры, страстным адептом

каковой был ещё в ту пору, когда водил знакомство с „купеческой дочкой».

Явясь под арест в лохмотьях, он во время пребывания в части, успел не только обзавестись приличным костюмом, доставшимся ему в виде награды от разных «благородных», долго ли, коротко ли бывших ему товарищами по заключению, но успел сколотить себе и кое-какой капиталец «на дорогу». В этом, впрочем, не могло быть ничего удивительного. Кроме доброхотных дателей, он не упускал из виду и своих прямых данников — «простых» арестантов, которым он поставлял в краткосрочный кредит табак, сахар, чай и всякий другой ходкий товар. При нужде, а иногда и просто из любви к искусству, он наушничал зрителю, чем и поддерживали между арестантами свой «авторитет». Его презирали, но побаивались. Ему, только этого и было нужно.

Содержался между «благородными» и молчаливый, очень задумчивый студент-технолог, ждавший терпеливо и кротко своей административной высылки на родину.

Приводили иной раз своеобразных весёлых «шутников» дня на два, на три «по приговору мировых судей» за разные более или менее «невинные» шалости в «Эльдорадо»^[147] и «Орфеуме»^[148]. Эти, несмотря на весёлую беззаботность нрава, всегда ужасно обижались (и совершенно основательно, прибавим мы от себя) на то, что их «засаживали вместе со всякими убийцами и подобными разными».

Басил здесь недель шесть высокий и статный «митрополитский певчий», попавший сюда «за мировым» по присвоению какого-то «чужого имущества на сумму двенадцать рублей». Оказалось, что он «занял» у какого-то знакомого «на свадьбу» сюртучную пару, а после свадьбы, вместо того чтобы возвратить, заложил её в гласной ссудной кассе. На голове у него была густая грива, вечно взъерошенная, как копна сена, и неизменно заспанное лицо. По желанию зрителя он учил арестантов петь «божественные молитвы» и исполнял должность регента во время утренних и вечерних общих молитв. Он был добродушен. Если он не спал, то непременно что-нибудь жевал и особенно «залихватски» выводил: «радуйся, невеста невестная!»

Содержался между прочими «благородными» и «гвардии капитан в отставке». Этот целый день пил содовую воду или лимонад-газес^[149]. Остальное время он лежал без сюртука на животе в постели и

похлопывал в воздухе каблуками, насвистывая мотивы из опереток. Обвинялся он в подделке бланковой надписи на векселе. Ходили также слухи, что в своей квартире он держал притон для азартных игр. Унывать было не в правилах «господина капитана», тем более, что ему грозила «только ссылка в не столь отдалённые», а, по его мнению, это были такие пустяки, о которых, собственно, и разговаривать не стоило. К тому же его не оставляла надежда и на оправдание. По его мнению, присяжные могли оправдать его по двум мотивам: «во-первых, – легкомыслие; ну а, во-вторых, – вообще смягчающие обстоятельства».

Попал однажды, в «благородную» чуть ли не прямо с парохода, доставившего его из Нью-Йорка, некий, скрывшийся года два назад и разыскиваемый полицией, несостоятельный должник, бывший модный портной Петербурга, молодой малый лет двадцати пяти, живо пустивший в трубу некогда знаменитый магазин отца. Этот тоже не унывал. Добродушное, моськообразное лицо его, покрытое веснушками, вечно улыбалось. Он и под замок явился в первый раз чуть ли не с песенкой из «La fille Angot^[150]», тогда ещё новой буффонады, которую он раз шесть успел прослушать перед своим отъездом из Нью-Йорка:

– «Quand on conspire, quand on conspire il faut avoir!^[151]»

– Откуда? – весело встретили его новые товарищи, как только щёлкнул замок за его спиной.

– А – из Америки! – эффектно отрекомендовался он, и снова тут же запел: „perruque bloo-onde, perruque blo-o-nde et collet noir!^[152]”

Много смеялись над ним, когда узнали, что он вернулся на родину (он был петербургский немец) по тем соображениям, что деньги, захваченные им с собою в два года все равно бы все ухнули, притом же, он соскучился, и что на родине ему предстоит... воссесть на скамью подсудимых в качестве злостного банкрота.

– А плевать! Меня выручат! Вы знаете, как отзывались обо мне мои парижские кредиторы? А ведь они главные! Они отзывались телеграммой на запрос следователя обо мне: „bon garçon, actif, mais dangereux!^[153]“ И он уже совсем весело запел «de la fille Angot je suis la mere!^[154]»

С этих пор он так и прослыл «bon garçon, actif, mais... dangereux!»

Привели «на благородную» в один дождливый и пасмурный вечер молодого человека с ещё более сумрачным и пасмурным видом; он

был бледен, как смерть, и дрожал, как лист. По страдальческому выражению его, как бы окаменевших в одном напряжённом выражении глаз, можно было догадаться, что он пережил только что страшную минуту. Оказалось, что он только что стрелял в свою любовницу.

Несмотря на то, что самые разнообразные причины приводят сюда «господ благородных», между ними, несмотря на все индивидуальное различие характеров и «несчастий», в конце концов, всё-таки устанавливается известная солидарность, и симпатия в сознании общей неволи.

Человек – везде человек!

Иногда общую тоску и апатию как рукой снимало; устраивалась чехарда, игра в жмурки, в цирк, бросание друг в друга тощими подушками и т. п. Слышался смех и весёлые выкрики, словно у расходившихся школьников. Пускался в присядку и стар, и млад, и «американский скиталец» – модный портной в качестве циркового берейтора ехал, к общему удовольствию, верхом на «митрополичьем певчем», который старательно изображал «выводного жеребца русской породы», обученного высшей школе цирковой езды.

Такое общее оживление наступало обыкновенно лишь поздним вечером во время вечернего чаепития, когда разгорались керосиновые лампы, и в камере от принесённого самовара становилось тепло и уютно. Оживлению предшествовало обыкновенно совершенно противоположное настроение, которое совпадало обыкновенно с наступлением сумерек и длилось час-другой. В камере царило тогда бессильное молчание. Заключённые поодиночке или подвое расходились по разным углам или, оставаясь лежать на своих постелях, упрямо поворачивали друг другу спины, скрывая почему-то лица. Слышались подавленные вздохи и заглушенные стоны. Никто не хотел «показать вида», но все отлично понимали, что каждый погружен теперь в своё собственное, личное несчастье, в свою собственную, личную заботу, и никому не приходило тогда в голову заговорить громко, из опасения спугнуть зловещую сосредоточенность душевных «сумерек» каждого в отдельности.

Такое состояние «сумеречной апатии» и упадка душевных сил заключённых прерывало обыкновенно (но далеко не сразу) появление сторожа с предложением сходить в лавку за провизией для вечернего

чая. Так как вечернее чаепитие происходило сообща, то каждый должен был внести свою лепту в общую трапезу. Один «записывал» полфунта^[155] икры, другой колбасы, третий сыру, масла и т. д. В конце концов, при восьми-десяти заключённых «благородной камеры» (она была рассчитана всего на двенадцать человек), даже при наличии одного-двух бедняков, не вносивших ничего (например, – «митрополичьего певчего» и, «дворянина, лишённого прав»), получалась все же весьма роскошная сервировка вечернего чая, удовлетворявшая даже прихотливыми вкусами таких заправских гастрономов, как «отставной гвардии капитан» или «американский скиталец».

По четвергам и воскресеньями в «общих» камерах и особенно в «благородной» замечалось с утра особое оживление. Это были дни «свиданий», и каждый более или менее нетерпеливо ждал, чтобы сторож выкликнули, наконец, его фамилию. Контора смотрителя в эти дни превращалась в приёмную, переполненную посетителями. Всего более являлось женщин, нередко с заплаканными глазами, грустными физиономиями и узелками в руках... Это были матери, жены, сестры, возлюбленные заключённых. По сторонам бросались нетерпеливые взгляды, слышались вздохи; а порой и рыдания.

«Простые» арестанты пользовались свиданием «через решётку», которою примыкал коридор к самой «конторе»; «благородные» допускались в самую смотрительскую контору, где свидания происходили под общим наблюдением смотрителя. Времени для свидания давалось немного, а потому все говорили разом, спеша и волнуясь, стараясь все высказать, и передать нужное.

Сцены при свиданиях бывали самого разнообразного характера, от трогательных до комичных в высокой степени.

Блиндман, – «купец первой гильдии из евреев» со своей «азиатской» наружностью, как манны небесной ждал всегда появления своей жены, которая должна была принести ему самые подробный сведения о результатах своих хождений, прошений и вообще – «хлопот». Бедная женщина, – на неё было жалко смотреть: всю неделю она бегала, как шальная, от одной двери к другой, к разным сиятельным и превосходительными лицам, куда её гнал муж, в надежде выхлопотать, наконец, себе свободу. Все «хождения» оставались бесплодны, и Блиндман выходил из себя, бранил жену, укорял её в равнодушии к его

несчастьем, и затем снова и снова молил её идти – туда и туда, и к графу тому, и к генералу этому.

– Ходи, все ходи! – энергично заканчивали он обыкновенно свои наставления.

Иногда жена отваживалась робко представлять ему доводы о бесплодности всех таких хождений, так как «сама Судебная Палата» отказала в освобождении. Блиндман терялся, но все же со слезами на глазах умолял её: «мой милый жена, я прошу тебе – ходи, ну, ходи! Скажи: так и так, господин граф, господин генерал, мой бедный муж завсегда не виноват, его послали в турму понапрасну... Ну, и плачь, плачь! Он будет тебе жалеть, будет за меня просить, я знаю, будет, – это верно!»

Блиндман, которому в своё время, как говорили, сошло немало плутней с рук, и теперь, несмотря на то, что попался в руки «нового суда», никак не хотел потерять веры во всемогущество графа такого-то и генерала такого-то.

Параллельно с колебанием его отношений к жене, сообразно получаемыми им извне известиям и заново всегда возгоравшимся в его собственной душе надеждами, шли и его отношения к самому Господу Богу. Это были весьма характерный для верующего еврея, – в высокой мере интимно – субъективные и личные отношения к самому Иегове, который непременно должен был самолично приложить руку к тому, чтобы его, Блиндмана, выпутать из судебного-тюремной западни.

Начиналось обыкновенно с того, что с середины недели Блиндман становился необыкновенно сосредоточен, задумчив и молчалив. С четверга он принимался поститься, не принимая ничего в пищу, кроме одной селедки за целый день. При этом он усиленно молился по несколько раз в день, удаляясь для этого в дальний уголок бокового коридора, облачаясь в полосатое покрывало и крепко-на-крепко затягивая ремнём свою обнажённую руку. Он молился со страстью, со слезами, с заклинаниями и разными обещаниями и обетами перед Богом. Так продолжалось вплоть до субботы, которую он переживал в каком-то особо торжественном ожидании, полном счастливых предзнаменований. Иногда он даже проговаривался товарищам: «у понедельник я поставлю угощение, во вторник или в среду меня освободят, – увидите»!

Но наступал следующий день – воскресенье, день обычного свидания с женой, и Блиндман возвращался в камеру мрачнее тучи, неистовый и яростный. Он поднимал кулаки, грозил ими самому небу, изрыгал хулы и ругательства. Если бы он был язычником, он, несомненно, тут же нещадно высек своего бога.

В тот день он становился прожорлив, досадовал, если нельзя было достать вина, так как не прочь был и выпить. К вечернему чаепитию он заказывал все самое дорогое и лучшее. На всём он был готов поставить крест, все ему было нипочём, так как в такие минуты он утверждал, что «Бога, все равно, нет, нет и не будет». В течение вечерней общей игры Блиндман, отличавшийся обыкновенно сдержанностью, старался превзойти всех своею шумливою весёлостью. Он ни за что не желал уступить пальму первенства даже «митрополичьему певчому» Попову, изображавшему «выводного жеребца русской породы», на котором ездил «американский скиталец», и, в свою очередь, просил «скитальца» ввести ещё новый номер в программу вечернего увеселения. В качестве «дрессированного на свободе жеребца арабской породы» Блиндман с азартом и увлечением прыгал через барьер, брал препятствия и вообще вёл себя, как школьник.

Его возбуждённо-богохульное и вместе жизнерадостное, или как он сам любил его характеризовать, «отчаянное» настроение продолжалось обыкновенно от злополучного воскресенья ещё день – другой. Он много при этом ел, если удавалось добыть водку или вино, пил и то, и другое, по вечерам неистово прыгал и бесновался, стараясь разом израсходовать всю свою жизненную энергию; но наступала среда, он снова садился на одну селёдку, усердно постился, называли Бога самыми нужными и ласкательными именами, простаивал целые часы на молитве, колотил себя нещадно в грудь и опять устремлял взоры свои к небу...

Так тянулось до следующего воскресенья, приносившего новое разочарование. В воскресенье аккуратно являлась его верная подруга жизни, ещё исхудавшая, ещё осунувшаяся от бесцельных хлопот и хождений, и трагедия начиналась сызнова.

Блиндман страстно желал свободы и, несмотря на всю любовь свою к жене, терзал её беспощадно.

– Ты ходи, все ходи!... И плачь, плачь, тебя будут жалеть, будут!

Несчастливая женщина, по-видимому, буквально исполняла наказания мужа, по крайней мере с каждой прошедшей неделей она принимала все более и более жалкий вид загнанной, всем надоевшей, повсюду уже бесцеремонно выпроваживаемой просительницы.

А он ей твердил своё: «ходи, все ходи!»

Русский «купеческий сын», содержащийся также довольно продолжительный срок в «благородной» «по случаю подозрения в мошенничестве» – сытый и холёный, тоже страстно жаждал свободы, но поступал несколько иначе. Он решил, что всё дело «в адвокате» и потому через посещавшую его еженедельно «невесту» (даму весьма развязную и всегда разодетую), заранее спелся с каким-то «защитником». В дни свиданий она вручала ему какие-то таинственные записочки, содержавшие ссылки на статьи закона, и лаконически объясняла: эта стоит, столько-то, а эта столько. На это «купеческий сын» ей неизменно заявлял:

– Денег, пойми ты, несколько не жалко... Невинному страдать неохота, – и рассовывал записочки по карманам.

«Митрополичьего певчего» посещала аккуратно старушка-мать. Она каждый раз безнадежно припадала к сыну на плечо, и по её доброму морщинистому лицу беззвучно катились обильные слезы. А сын, между тем, апатично поглядывал по сторонам и только изредка пускал в ход свой хрипловатый бас: «довольно, маменька, ей Богу будет, довольно»!

«Капитан гвардии в отставке», подделавший бланковую надпись на векселе, достаивался посещений весьма многих лиц. К нему наезжала иногда целая компания офицеров, товарищей по полку, не желавших рвать с ним отношений; они привозили с собою обыкновенно роскошные завтраки и располагались в задней комнате конторы так же удобно, как у Бореля^[156] или Дюссо^[157], с той лишь разницею, что здесь им прислуживал не расторопный стриженный татарин, а несколько мешковатый полицейский служитель. Капитана навещала также очень красивая рыжеголовая француженка. Она мило картавила, разливаясь на всю контору, и вносила с собою в казённую тюремную атмосферу раздражающий запах отличных духов.

Модный портной Петербурга – «американский скиталец» – разыскал сестру, которая теперь уже была замужем за каким-то богатым негоциантом, жила на Васильевском и аккуратно «на собственных»

приезжала к нему на свидания. Напрасно склонял он её внести за себя залог или взять на поруки, она наотрез ему в этом отказывала, но зато каждое воскресенье привозила ему в изящно упакованной корзинке пастеты и разные дорогие фрукты от Елисеева.

Бледного молодого человека, стрелявшего в свою любовницу, повадилась навещать какая-то экзальтированная полусумасшедшая «тётушка», дама из общества. Он очень конфузился её «выходок», но она, не стесняясь ничьим присутствием, аккуратно проделывала целые представления. Она становилась перед ним на колени, уверяла, что все женщины должны на него молиться, что он – герой, бог и т. д. К этому она добавляла, что все лучшие адвокаты наперебой рвутся его защищать, и что сам прокурор ей сказал, что он непременно откажется от обвинения.

У «простых» арестантов свидания длились обыкновенно всего минуты по две, по три на каждого. Они наскоро перекидывались приветствиями, наказывали самонужнейшее и, забрав принесённые гостинцы, отправлялись восвояси.

В общем итоге – как это с первого взгляда ни странно, – дни свиданий бывали по преимуществу днями плача и уныния. У того заболела жена и не пришла на свидание, другому принесли нерадостные вести о ходе его дела, третий был вообще расстроен свиданием, четвёртый объелся на радостях принесённым ему пирогом, а пятый спал на койке весь день, мрачно уткнувши голову в подушку, – у него никого не было близких, он никого не ждал, и каждый новый выклик сторожа только резал ему уши.

Содержавшиеся в «благородной», имели ещё то преимущество, что окна их каморы выходили на улицу.

Глядеть упорно на мимоидущих и едущих «вольных» людей – постоянное и любимое занятие заключённых, «Господа, идёт!» – кликнет сидящий на окне. – «Кто идёт?» – «Она!» – и все с шумом устремляются к окну, чтобы проследить глазами за удаляющейся никому неведомой «дамочкой» или «швейкой».

Дела никакого. Читать дозволялось лишь, так называемые «серьёзные» книги. В большинстве случаев с доставкой книг встречалось необычайно много затруднений. Цензором доставляемых книг являлся, конечно, смотритель, причём случались иногда любопытные курьёзы.

Определение серьёзности книги покоилось на довольно первобытных приёмах. Так, например, «Комедия всемирной истории» Шерра была абсолютно забракована, как комедия, а «Людовик XI в своём замке», нелепый переводной роман, как книга историческая, имела свободный доступ. В конторе смотрителя имелась также «казённая библиотека» – целый шкаф с Новым и Ветхим заветом и другими, по преимуществу духовного содержания, книгами. Но многие из смотрителей, считая эти книги более украшением конторы, нежели пищей для ума, и опасаясь за «аглицкий переплёт», на руки их арестантам не выдавали.

«Благородная» камора мелась, чистилась половыми щётками и вообще приводилась в надлежащий «лакированный вид» кем-либо из «простых» арестантов из «бродяжных», по преимуществу, которые с охотой несли эту работу, потому что от господ «благородных» им за это довольно щедро «перепало».

Пищей «благородные» не пользовались из общего арестантского котла. Им полагалось «на руки, сообразно чину» известное количество копеек на пропитание. Минимальная цифра – гривенник в сутки, который каждое утро выдавался «благородному» арестанту под его личную расписку в особой «шнуровой» книге. Тому, кто не имел собственных денег, приходилось очень плохо, плоше, нежели простому арестанту.

Арестантам денежным дозволялось иметь на свой счёт все, что угодно, съедобное и всякое питье, за исключением, разумеется, спиртных напитков. Курить также, в большинстве случаев, «благородным» негласно разрешалось; да и странно было бы иначе: строгости не помогают, а необходимость прятаться только увеличивает собою возможность пожара.

Кроме «общих» арестантов, о которых мы до сих пор говорили, есть в полицейских домах и так называемые «секретные», содержащиеся в отдельных, специально приновлённых для того, каморках, в безусловно одиночном заключении.

Сюда попадают арестанты по весьма различным основаниям. Большею частью по специальному, и нередко весьма таинственному, предписанию административной власти. Но ещё чаще сюда попадали городовые, полицейские служители и солдаты пожарной команды,

весьма строго преследуемые за пьянство и другие мелкие проступки по службе.

В среде «общих» арестантов, считающих себя относительно свободными, «секретные» всегда пользовались особым соболезованием и сочувствием: их называли «сиротами». В силу безусловной замкнутости жизнь их туго поддавалась постороннему наблюдению.

Можно было только заметить, что одиночное заключение действует на разнообразные натуры вообще в двух противоположно-типичных направлениях. Одни – вечно спят или, по крайней мере, дремлют целый день на кровати с закрытыми глазами и совершенно пассивно относятся к окружающему; другими, наоборот, овладевает какое-то неугомонно-нервное беспокойство: они вечно ходят из угла в угол, бормочут, жестикулируют и ни минуты не остаются на месте. Случались и попытки к самоубийству.

В полицейском доме, из жизни которого мы берём большинство примеров, был один секретный арестант, возбуждавший общее удивление и сочувствие. Несмотря на его крайнюю молодость, волосы на его голове были наполовину седые; прошлое его было очень печально, будущее – не лучше. Получая на правах «благородного» гривенник в день, он ел только один чёрный хлеб, да и тот часто убирался от него нетронутым. Случалось, что кто-нибудь из «благородных» арестантов, движимый состраданием, тайком подавал ему сквозь оконце, сделанное в двери, что-нибудь съестное или пачку папирос, убедительно прося не отказаться.

– Нет, зачем же? Я не имею права... это не моё!

И затем на все доводы он отрицательно качал головой, заканчивая беседу всегда одной и той же неизменной фразой.

– Оставьте! Все это – меланхолия, знаете. Вот если бы лимончику кусочек, лимончик, знаете ли спасает...

Ему старались давать «лимончик», который он тут же жадно принимался сосать.

Недели через две он окончательно сошёл с ума и был препровождён в дом умалишённых.

«Бродяжная камера» или общая, в собственном смысле, будучи вместительнее «благородной», следственной и мировой вместе взятых, имеет ту отличительную черту, что её обитатели никогда доподлинно

не знают, за что именно они арестованы. В самом деле, стоило спросить любого из «бродяжных» о причине его заарестования, и получался один и тот же ответ.

– А кто его знает, посадили, и все тут!

При ближайшем исследовании оказывалось, что один два года уже как просрочил паспорт и проживал без прописки по разным тёмным питерским закоулкам; другой – писал, писал в волость: «пришлите, дескать, паспорт!», а ответа все нету; третий «потерял», четвёртый – «отдал дяде Пахому, а дядя Пахом, леший его знает, куда сам подевался»; пятого – служивый какой-то обокрал и билет унёс; шестой – просто просрочил, потому что за новый платить надо, а денег «не случилось» – итак далее, всё в том же роде.

Аккуратно каждую ночь «бродяжная» камера подновлялась новой партией «беспаспортных бродяг», арестуемых полицией то в ночлежных домах, то по трактирам Сенной площади, то, наконец, на улицах – просто где-нибудь под забором или на ступенях церковной паперти, где, несмотря на осеннюю слякоть, спит себе бездомный бобыль, свернувшись клубом.

Попадались нередко и бездомные дети, ученики ремесленников, бежавших от хозяев и, за неимением пристанища, явившихся в часть. Эти ждут, пока вытребуют от хозяев их паспорта, или поджидают издалека какого-нибудь родственника, который мог бы их взять на поруки. Имелись здесь и вовсе «именующиеся», т. е. такие беспаспортные, личность которых никем в столице не могла быть удостоверена. Эти ждали своей высылки на родину по этапу.

Но можно было встретить здесь и «личностей» с более длинной и часто поучительной историей в прошлом.

Всеобщий смех «бродяжной» возбуждал, например, простоватый малоросс, который «из-пид Полтавы» явился в Петербург, чтобы подать какое-то прошение. Но бедный хохол чего-то не сообразил насчёт столичных порядков и прямо из «Комиссии прошений» очутился в части под арестом. Тут он очень забавно жаловался на свою участь и, потеряв всякую охоту подавать прошения, просил только об одном – чтобы его поскорее «к жинци» отпустили. Но, в качестве именующегося, (он не захватили с собою паспорта) ему предстояло быть препровождённым на место жительства не иначе, как по этапу.

– Оде! Я й сам бы скорышенько доихав! – удивлённо протестовал честный малый и при этом безнадёжно приговаривал, – теперечки вже треба хлиб собирать, а вони меня держут... а в нас у цим рику страсть як хлиба вродило!

С месяц он «посидел», прежде чем окончилась о нём переписка, и он дождался отправки на родину.

Содержался дня два в «бродяжной» и смуглолицый, с черными крошечными глазами турок в своём национальном костюме. Как и за что попал он под арест, невозможно было от него добиться, так как он ни слова не говорил по-русски. Он только испуганно глядел по сторонам, да безнадёжно указывали на язык. Надо было видеть, как его лихорадило от страха, когда его заперли за решёткой вместе с новыми товарищами. Он, вероятно, вообразил себя в Стамбуле и вспоминал его суровые обычаи. Многие утверждали даже, что ему мерещится длинный мешок, в который ему затягивают голову, и слышится грозный всплеск и ропот Босфора... Так ли это было на самом деле, или нет, трудно было дознаться; только напуган он был очень. Осторожно поджавши под себя ноги, он был так трогательно печален, черные глаза его так часто застилались слезами, что кругом поминутно затихали обычные шуточки, и воцарялось молчание, полное безмолвного не то любопытства, не то участия. Он посидел недолго. Дня через два его освободили, так как турецкое посольство согласилось выдать ему денег на обратный проезд на родину.

Кроме этих двух, сидели на «бродяжной» ещё один «именующийся» уже с совершенно сказочной историей.

Начать с того, что внешний вид его невольно обращали на себя всеобщее внимание. Он был одет в серый арестантский балахон, с жёсткими котами на ногах, и при этом носил очки в золотой оправе, что приводило в неописанное удивление всех его товарищей. Из его собственного рассказа можно было с достаточной ясностью понять лишь следующее. Служили он чиновником в Петербурге, но, получив более выгодное частное место в провинции, вышел в отставку и направился чрез Москву к месту назначения. Из Москвы ему пришлось ехать в сторону сотни две вёрст на почтовых. Не доезжая вёрст двадцати до какого-то уездного городка, с ним случилось то, что нередко случается с русскими отважными путешественниками: ночью, проездом через лес, на него напала шайка грабителей, которые, избив

его до беспамятства и обшарив до последней нитки, скрылись вместе с ямщиком, который был с ними в заговоре, и оставили его лежать на большой дороге. Кем он был подобран, он не помнил; он очнулся только на койке земской больницы.

Исправник, снимавший с него первый допрос, и слушать не хотел о его «хитросплетённой истории». По выздоровлении, он, как бродяга, был доставлен в Московскую пересыльную тюрьму. Из пересыльной тюрьмы он месяца через два был «препровождён» по этапу в Петербург, так как указал на своих прежних товарищей по службе, которые могли засвидетельствовать его личность.

Действительно, «именующийся» был скоро признан и аттестован тем самым лицом, за которое он себя выдавал. Из «бродяжной» каморы его перевели в «благородную», сообщив, что отныне он свободен, может оставить казённое платье и идти, куда ему угодно. Но тут-то и встретилось главное затруднение: ему решительно не во что было переодеться. Из собственных вещей у него только и были, что очки, да и теми ссудил его, в виду его абсолютной близорукости, молодой доктор земской больницы, более доверчивый, нежели местный исправник, к его многострадальной истории. За неимением собственного платья, он промаялся, в части ещё с неделю, не зная, что предпринять. Наконец, общими усилиями его товарищей по заключению, «господ благородных», был совершён действительно благородный поступок; несчастного кое-как экипировали с чужого плеча. В панталонах, едва хватавших ему до щиколоток, и в пиджаке, едва прикрывавшем поясницу (на беду он был замечательно худ и необычно высокого роста), вышел он на свободу, растроганный и умилённый добротой и участием своих случайных товарищей по заключению.

Примеры, приведённые мною, – исключения из общей типически-неизменной ассоциации элементов, составляющих обычный контингент населения «бродяжной».

Несравненно большую близость к типу завсегдатая «бродяжной» представлял собой крепкий краснощёкий субъект, бывший дворовый человек, приведённый по этапу в Петербург «из-под самого Таганрога», где он служил то кочегаром на пароходе, то приёмщиком угля на железной дороге. Целых три года прожил он в тех местах без паспорта, честно зарабатывая свой хлеб. А ушёл он туда совсем ещё

мальчиком, году по шестнадцатому. Отец его с братом, бывшие дворовые, занимались на селе сапожным ремеслом, снабжая своим товаром рабочих соседней фабрики, а его отпустили на заработки. Сначала мальчику приходилось плохо, – «нужда, всего хватил», однако – «обтерпелся» и зажил «даже очень хорошо». Выдавались месяцы, что он зарабатывал при приёме угля рублей по восьмидесяти в месяц; тут уж об отце с братом он совсем забыл и думать; отец в письмах сперва только журил его, требовал или денег, или чтобы он сам вернулся домой. Наконец, паспорта отец ему не выслал, затеяв «силой вернуть». Жил он три года без паспорта; однако, «трудно показалось», так как без билета не везде принимали. В виду таких обстоятельств собрал он сотенную, послал домой и адрес свой объявил, чтобы паспорт «беспрерывно выслали». Но старик-отец рассудил иначе: денежки он припрятал, а сына стал требовать по этапу. Малый простить себе не мог, что сам же и «дал накрыть себя», указал своё жительство. – «И зачем было объявляться? – сокрушался он, – нешто выйдет теперь из меня помощник в сапожном ремесле, да я почитай, и шило-то держать уже в пальцах разучился!»

Таких беспаспортных скитальцев по воле родителей или сельского общества, целыми партиями, по требованию волостных правлений, водворяют, в силу различных бытовых и экономических соображений на место родины. Одному оказали почёт – выбрали в старосты; он проклинал своё избрание, и по этапу препровождался к исполнению своей должности.

Относительно «бродяг» собственно «столичных» приходится сказать нечто иное. Это отнюдь не мощные «богатыри свободы», пускающиеся, вопреки всему, на чужедальную сторону искать счастья, это просто мелкие жулики, воришки, обитатели подвальных трущоб, описанных и не описанных нашими романистами. Между другими «бродягами» этого сейчас узнаешь и по внешнему виду: тощий, сгорбленный, испитой, с зелёным, болезненным цветом лица; его слышно издали по глухому кашлю, выходящему словно из надтреснутой груди...

На него и жалко, и гадливо глядеть. С ним нет никакой охоты заговорить.

Начнёт ли он рассказывать «свою историю», на первом же слове соврёт; заслушаетесь ли вы его случайно, он обчистит ваши

карманы... Это – паразит столичной жизни; но это прежде всего – петербуржец pur sang^[158]. Тяжёлым бременем легла на него мощная рука «цивилизации» и без малейшего труда раздавила между своими пальцами. Это – не откровенный стихийный «протестант» и не «вольная казацкая сила». Но, он, пожалуй, сильнее и того, и другого. Это – «ржа»^[159] цивилизации. А ржа точит и железо.

Не мешает сказать несколько слов и о так называемой «пьяной» камере.

Она вполне заслужила своё название. К ней невозможно без отвращения близко подойти свежему человеку. От неё разит горелым запахом сивухи, как от стоустого пьяницы в период запоя.

Обитатели в ней никогда не переводятся. Во двор каждого полицейского дома то и дело въезжает извозчик за извозчиком, с дворником во главе и какою-то бесформенной перекинутой поперёк линейки кладью, которая при ближайшем рассмотрении оказывается почти живым существом – человеком «в безобразно пьяном виде».

Из головы одного кровь льётся, как из зарезанного барана; другой – еле прикрыт разодранной пополам рубахой; третий утирает окровавленный нос мокрыми пальцами и ими же размазывает себе щеки; четвёртый... но я щажу брезгливость читателя. Стоит только часа два-три понаблюдать особый вход, ведущий в эту «пьяную камеру» (особливо в праздничный день), чтобы и не особенно впечатлительному человеку весь Божий мир показался одной сплошной клоакой.

Таких «пьяных камер» в каждом полицейском доме обыкновенно две: одна для мужчин, другая для женщин, которые в пьяном виде ещё более отвратительны, чем мужчины. Помещаются эти камеры всегда в нижнем или даже подвальном этаже. Всех пьяных, по мере подвоза, сваливают в одну общую кучу до тех пор, пока и для «городничего» больше места не окажется». Тогда направляют свежий подвоз в другой, ближайший полицейский дом.

Каждого заарестованного пьяного, прежде чем запереть в общую камеру, тщательно обыскивают и отбирают от него не только всё ценное, но даже снимают и верхнее платье. Эта предосторожность необходима в виду самого настойчивого поползновения на обворовывание друг друга. Попадают такие, что нарочно притворяются бесчувственно пьяными, чтобы в качестве волка попасть

в овчарню. Опустошения тогда «в пьяной камере» бывают весьма значительные.

Нетрудно представить себе внутренний вид этой «пьяной» камеры, когда она переполнена. Нередко здесь затеваются отчаянные схватки, и тогда горе тем из «бесчувственных», кто в общей свалке очутился не под нарами: их немилосердно затопчут. Подобные примеры бывали. Помочь горю в этом случае оказывалось почти невозможным – ни один полицейский служитель не рискнёт войти в «зверинец» в минуту общей травли. Да и всей служительской команды полицейского дома оказалось бы недостаточно для водворения порядку в этой сплошь пьяной компании.

Женское «пьяное» отделение не уступает ни в каком отношении мужскому. Только невообразимый «бабий» визг, писк и истерические завывания служат ей ещё специфическим дополнением.

Кроме «безобразно-пьяных» в собственном смысле, исправно подбираемых на улицах городовыми и дворниками, в «пьяных» камерах пребывают и более или менее постоянные обыватели и, особенно, обывательницы.

Каждый вечер в воротах полицейской части появляется вереница безобразных, избитых, растерзанных «пьянчужек из женского сословия», как называют их сторожа, они, пошатываясь и прихрамывая, сами направляются к знакомым дверям своего ночного приюта. В «пьяной» камере они у себя дома, начальство знает их наперечёт и им „не препятствует". На утро в знак признательности к своему родному пепелищу, они выполняют в камере все нужные домашние работы – выметают и замывают следы вчерашней оргии и затем исчезают до вечера, устремляясь по стогнам^[160] столицы искать себе дневного пропитания.

Пьяные, привозимые сюда, остаются в камерах «до вытрезвления»; но обычаем установлено выдерживать их целые сутки, так что в каждый данный момент «пьяная» камера вмещает в себе живые образцы разных степеней опьянения, которые можно выразить приблизительно в следующей убывающей гамме: «бесчувственный», «растерзанный и дикий», «буйно-пьяный», «просто-пьяный», «весёлый», «почти трезвый» и, наконец, – горемычно ожидающей свободы – «жаждущий опохмелиться».

«Пьяной» камерой заканчивается серия отдельных помещений для арестуемых при полиции. Но, понимая более широко слово «арест» к категории помещений для заключённых следует, без существенной натяжки, отнести и так называемый «приёмный покой», имеющийся обязательно при каждом «полицейском доме».

«Приёмный покой», как можно догадаться по самому названию, есть нечто вроде лазарета, устроенного на скорую руку.

Разделённый на две половины, мужскую и женскую, он помещается обыкновенно, в двух, трёх небольших комнатах, в каждой из которых есть достаточно места для трёх, четырёх кроватей. Эти кровати предназначены, главным образом, для случайно заболевших лиц, подобранных на улице и не могущих рассчитывать на более удобный приют. Здесь имеется в виду не лечение больного, ему подают только первоначальную помощь, если помощь ещё возможна, или констатируют факт смерти.

Масса «несчастных случаев», о которых ежедневно дают нам знать газеты, все эти криминальные драмы, которыми кипит суетливая лихорадочная жизнь столицы, заканчиваются обыкновенно здесь – на одной из жёстких коек полицейского покоя. Рабочий, упавший с лесов и размозживший себе череп; девушка, бросившаяся в отчаянии с высоты пятого этажа; подгулявший мастеровой, только что снятый с петли, на которой он хотел удавиться; отставной чиновник, вытащенный из воды, и пьяный фабричный распоровший себе ножом живот, – все эти горемыки, стремглав летевшие в объятия смерти подхватываются на лету «приёмным покоем» полицейского дома и здесь или навсегда закрывают свои отяжелевшие веки, или, возвращённые к жизни, с отрадой ловят заново луч света, блеснувший им сквозь решетчатые окна приёмного покоя.

Сюда же привозят всех, помешавшихся, расстроенных умственно, если родные или близкие люди не сумели или не захотели сами о них позаботиться. Их держат здесь на испытании в продолжение семи дней, умиряя, при нужде, горячечными рубашками, жёсткими ремнями и беспощадными, классическими рукавицами. Если после этого срока их состояние не улучшается, их отправляют в «Больницу всех скорбящих»^[161] на одиннадцатую версту, или в другой какой-либо «сумасшедший дом».

Во главе администрации приёмного покоя стоит полицейский врач, который ежедневно посещает больных; ближайшим же образом бразды правления держит в своих руках мутный фельдшер, который и живёт тут же со всем своим семейством в одной из комнат приёмного покоя.

Здесь, в противоположность всем другим больницам, приём больных не ограничен числом свободных кроватей. Каждый нуждающийся в ближайшей медицинской помощи, должен быть принят, хотя бы его пришлось положить на пол... Это, впрочем, и понятно. Иначе полицейские «приёмные покои» совершенно не удовлетворяли бы своему назначению.

Но следовало бы подумать о значительном их расширении.

Во главе управления каждым «полицейским домом» стоит «смотритель» – главное ответственное лицо за хозяйственное и административное благополучие вверенного ему учреждения. При нём имеются – помощники и несколько писцов, образующих «кантору», в которой сосредоточено все «делопроизводство». Всевозможных текущих «дел» и всяческой «переписки» у этих лиц бездна, так что служба их и хлопотлива, и ответственна.

В огромном большинстве, должности смотрителей заполнены отставными военными. Попадают даже гвардейцы. Помощники предпочтительно избирались из «стрикулистов»^[162], наклонных к письменности. В «канторе» можно было встретить «типы» решительно всех «ведомств». Где кому не посчастливилось, тот и идёт служить в «полицейскую кантору». Служба сама по себе не заманлива.

Для того, чтобы ладить с разнovidным составом арестованных, не прибегая при этом к суровым мерам, смотрителю нужно обладать тактом и достаточно ровным характером. Главная его забота в том, чтобы с внешней стороны всё обстояло благополучно и по возможности не было «кляуз» и «всяких доносов». Для достижения такого благополучия смотрителю приходилось не столько «руководствоваться справедливостью», сколько вечно и во всём политиканствовать, лишь бы только «не вынести сора из избы».

В то время, к которому относятся наши наблюдения, во главе столичной полиции стояло лицо столь же энергичное, сколько мало вдумчивое и стремительное в расправе с подчинёнными. Его боялись,

как огня, и в домашнем обиходе, между собой, полицейские чины иначе его не величали как «бешеный».

Иногда по простым анонимным доносам поднималась целая буря, смотрители и их помощники, без всякого расследования, летали с мест, а иногда даже и вовсе увольнялись со службы «по третьему пункту^[163]».

Нелюбимый арестантами, смотритель должен был быть всегда начеку. Если он пытался «подтягивать» арестантов, на него тотчас, «как бы со стороны» сыпались, как из рога изобилия, жалобы и доносы. На общую радость и ликование заключённых случалось, что такой смотритель очень скоро сам попадал на несколько дней под арест на гауптвахту. «Бешенный» не выносил «беспорядков», а под беспорядком разумел всякое, причинённое ему, беспокойство.

Когда после подобной «отлучки» смотритель вновь вступал в отправление своей должности, официально считалось, что он «возвратился из отпуска», но все арестанты прекрасно знали, что следует разуметь под этим «отпуском». Несколько дней смотритель обыкновенно обнаруживал значительное стеснение в обращении с арестантами.

Так как с «благородными» у смотрителя устанавливались обыкновенно отношения особые (обыкновенно за хорошую плату «благородные» столовались у него, т. е. им готовился завтрак и обед на его кухне), то нередко он делился с ними и своими огорчениями.

– А меня-то «бешеный» опять упрятал на три дня... чуть не согнал с места! Ну, ничего... увидите, дня через два сам вызовет, извиняться станет...

Следовали ли затем вызов и извинение, оставалось навсегда тайною огорчённого смотрителя.

Иногда «бешеный» внезапно, даже ночью, вдруг, посещал полицейский дом. Трепет шёл тогда невообразимый. Бывало большим чудом, если вслед за этим смотритель или его помощник не попадали под арест.

Привилегированным арестантам позволялось буквально всё, что только можно было дозволить, лишь бы «дозволение» не было слишком гласно и не слишком нарушало внешнее благочиние.

Безусловно, запрещалась игра в карты, так как это вызывало споры и острые конфликты, но игра в орлянку, крестики и т. п. азартные игры

поневоле, за невозможностью уследить, толерировались ^[164].

Одно время по инициативе «капитана гвардии» в благородной камере завелись было карты. Однажды возвращаясь из театра (смотрительская квартира выходила на тот же двор, как и камеры арестованных), смотритель заметил, что окна «благородной» до половины заложены подушками. Предосторожность эту предложил, всегда полный инициативы, «американской скиталец» – «Воп garson, actif, mais dangereux».

Трагедия получилась изрядная.

Несчастный смотритель буквально заболел от ужаса и злости, констатируя всю степень провинности «господ благородных» и восстанавливал порядок, путём отобрания колод и водворения подушек на свои места.

– Вы поймите, господа, поймите, чему бы я подвергся, если бы «бешеный» налетел на такую штуку... Сибирь, просто Сибирь!!! Господин капитан, вы – зачинщик! Я мог бы вас без дальних разговоров отправить в карцер на семь дней. Но вы поймите, господа, я человек благородный... слышите ли-с, да... благородный!

И смотритель чуть не рыдал, с силой ударяя себя в грудь.

Все, и вполне чистосердечно, дали ему слово, что «ничего подобного не повторится более».

Приходит на память и второй случай, где тот же смотритель пережил ещё горшие минуты страха и отчаяния за свою судьбу.

Виновником этого явился, знакомый уже читателю, первой гильдии купец Блиндман.

В числе поблажек, допускавшихся иногда смотрителем для кое-кого «из благородных», была одна весьма щекотливого свойства.

Под предлогом отлучки в частную баню, под охраной особо надёжного конвоира и, главным образом, «под честное слово» самого арестованного смотрителем дозволялось иногда женатым иметь свидания с законными своими жёнами «на стороне».

Свидания могли длиться час, другой. Смотритель «сам был женат», и понимал, что этим поощряются не столько дурные страсти, сколько охраняется святость семейного союза.

Блиндман, не стеснявшийся в материальных средствах и не хотевший вообще «ничего упускать», давно выговорил себе право и на такие матримониальные свидания. Несчастливая жена его, безмолвная и

всегда покорная, исправно отправлялась и на эти экстраординарные rendez-vous, протекавшие под бдительным надзором вооружённого стражника.

Несколько раз Блиндман с таких свиданий возвращался вполне благополучно. «Американский скиталец» никогда не упускал случая спросить его при этом:

– Ну, что «слепой человек»^[165], помылся чисто?

– Как надо! – с философским спокойствием кивал головой Блиндман.

Однажды Блиндман до поздней ночи не вернулся с подобного «свидания». Смотритель делился своим «ужасом» с благородными и поминутно в тревоге вбегал в камеру.

Наконец, «беглеца доставили». «Беглеца» в буквальном смысле слова, так как Блиндман действительно пытался бежать, и успел уже было в этом, но находчивый конвоир поднял на ноги всю полицию, и его задержали притаившимся в подворотне в каком-то глухом переулке, куда выходил подвальный этаж его собственного торгового заведения.

Привели его в камеру возбуждённого, красного, с взъерошенными волосами и глазами, налитыми кровью. Видно было, что он пережил «отчаянные» минуты. Доставил его целый полицейский конвой.

Смотритель налетел на него, как коршун. Тут было уже не до «нежных» слов, сплошь сыпались одни ругательства.

– Я тебя в бараний рог, в бараний рог... Сгною в карцере!

На утро, немного успокоившись, смотритель сообразил, что нужно прежде всего замять эту историю. Стоило это ему немалого труда, так как для того, чтобы спастись от «бешеного», приходилось входить в соглашение с приставом того полицейского участка, где был задержан бежавший арестант.

Блиндмана, против ожидания, смотритель не посадил даже в карцер, и, вообще, «ничего с ним не сделал». Но не прошло и недели, как по требованию следователя Блиндмана, к крайнему его отчаянию, перевели в Литовский замок. Все поняли, что это было «делом смотрителя», но все сознавали, что Блиндман это вполне заслужил. Нарушение «честного слова» считается тяжким грехом среди арестантов всех видов и наименований.

Отправление Блиндмана в «замок» сопровождалось некоторой зловещей торжественностью. Его препроводили в карете под усиленным конвоем. В глубине двора «полицейского дома», во время отправления стояла его несчастная жена и горько плакала. Сам Блиндман очень взволнованный, бессильно вращал белками, как затравленный зверь.

Отметим в заключение, что каждый полицейский дом находится под непосредственным надзором одного из товарищей прокурора столицы. Прокуроры – гроза для тюремного начальства, со стороны заключённых пользовались полным доверием, и еженедельные их посещения встречались самым радушным образом.

Кроме того, полицейские дома инспектировались местным полицейским начальством. Но эти инспекции имели чисто внешний характер. Всё внимание обращалось на чистоту коридоров и исправность амуниции у полицейских служителей.

Николай Иванович Свешников

«Петербургские вяземские трущобы и их обитатели» [\[166\]](#)

В Петербурге, близ Сенной площади, находится громадный дом князя Вяземского. Не знаю, с какого времени этот дом принадлежит теперешнему владельцу, но лет шестьдесят тому назад его называли более «Полторацким», и уже тогда он известен был петербургским обывателям своей грязной репутацией. И эта репутация имела основания: постороннему человеку, особенно в вечернее время, не безопасно было не только входить в него, но и проходить мимо.

Описание этого дома в первый раз сделано г. Вс. Крестовским в его романе «Петербургские трущобы»; затем некоторые лица также пытались описывать своеобразную жизнь его обитателей. Да и теперь по поводу разных происшествий, нередко кровавых, ни один из домов Петербурга не упоминается так часто в печати, как Вяземский. Но все эти наблюдения большею частью поверхностны и приправлены фантазией, хотя во многом и похожей на действительность.

Мне, как человеку давно знакомому с этим домом, и имевшему, вследствие разных случайностей, несчастье попадать на житье в него, пришла мысль также описать его, может быть, и неумело, но правдиво.

1

Вяземский дом выходит двумя большими флигелями на Забалканский (прежде Обуховский) проспект, а одним довольно красивым – на Фонтанку.

Во флигеле, выходящем на Фонтанку, занимавшемся в пятидесятых годах самим князем Вяземским и впоследствии несколько лет пустовавшем, находится теперь квартира управляющего домом и 3-й участок Спасской части. Во флигелях же по Забалканскому проспекту

помещается трактир, семейные бани, питейный дом и до десятка других торговых заведений.

Кроме этих трёх лицевых зданий, во дворе дома находится ещё четыре жилых флигеля, бани и множество разных кладовых. В этих флигелях помещается постоянный двор, чайная, на местном языке называемая «мышеловкой», вероятно потому, что заходящие сюда чины сыскной полиции частенько захватывают тех, кого нужно; затем в одном флигеле несколько корзинных мастерских, а остальные квартиры числом до полутора десятка заняты и в настоящее время также, как и прежде, не беднотой, но отребьями, отбросками, паразитами общества.

Это не беднота Песков или Петербургской стороны, голодная, но нередко приглашенная, благообразная и стыдливая; это люди хотя до безобразия рваные и грязные, частенько полунагие и полуголодные, но все же умеющие легко достать копейку.

Войдя во двор с Забалканского проспекта, вы встретите, прежде всего, нескольких женщин, больше частью уже подвыпивших, рваных и с испещрёнными физиономиями, которые умильно поглядывают на проходящих мужчин и подмигивают. Затем, на площадке, перед общими банями и на панели около бань, в летнее время вы увидите несколько десятков человек праздный рвани. Одни из них, разделясь на кучки, преспокойно играют в орлянку, другие смотрят на эту игру, а третьи просто сидят и ничего не делают. Далее, направо, в переулке, происходит подобная же игра, но только более крупная.

Напротив площадки, около флигеля называемого Столярным, на подстановочках сидят несколько женщин с корзинами порченных яиц (или, как их здесь называют, тумакон), чугунами, наполненными картофелем, лёгким, горлом, селезёнкой и противнями с жареной дичью, добытой из выгребных ям на Сенной и разной рыбы (торгующие этими снадобьями обязаны платить в контору дома по два рубля в месяц). Всё это продаётся очень дёшево: например, тумакон самые лучшие по пяти копеек за десяток, а последний сорт по копейке и дешевле. Но эти снадобья только и могут продаваться в Вяземском доме и перевариваться желудками Вяземских обывателей, в других местах они выбрасываются в помойную яму.

Проходя далее по двору, вы видите проезд на постоянный двор и тут же вход в «мышеловку», о который сказано выше. Это грязное, в одну

комнату с перегородками помещение, всегда бывает наполнено публикой самой низшей пробы; здесь вы встретите не столько постоянных обитателей этого дома, сколько людей бесприютных, не имеющих паспорта или Спиридонов-поворотов, лишённых права проживать в столице, но тайно вернувшихся в неё. В особенности же «мышеловка» служит главным притоном маленьким сенновским воришкам, так называемым «плашкетикам».

За Столярным флигелем тянется ещё длинный флигель. В нижнем этаже его находятся женские бани, отчего этот флигель и называется Банным. Половина второго этажа занята под постоялый двор, а в другой половине и в верхнем этаже расположены тринадцать мелких квартир.

Коли повернуть в проезд направо, то с левой стороны будет большой флигель, так называемый Стекланный коридор, а с правой длинный, деревянный забор, за которым в ныне упразднённом для жилья здании помещаются разные кладовые и конюшни сенновских торговцев. Перед этим зданием находится немощёная и неровная площадка. Три или четыре тряпичника, платя в контору дома каждый по пять рублей в месяц, снимают этот пустырь. Сюда к ним собираются все, так называемые, крючешники, разбирают всякую дрянь, набранную ими в помойных ямах, и продают тряпичникам всё, кроме рваной бумаги, которую относят в находящуюся под Стекланным коридором кладовую.

Пройдя упомянутый проезд, вы упираетесь во флигель корзинщиков, в котором помещается также домовая контора, квартира конторщика и дворницкая; перед этим флигелем находится самая большая площадь, почти вся заваленная брёвнами, принадлежащими корзинщикам. На брёвнах по праздникам в летнее время вы увидите непременно кучки мастеровых, играющих в карты или распивающих четвертную^[167]. Свернув из проезда налево, вы упираетесь в старый Полторацкий переулок, которым направо через ворота выходите на Фонтанку.

Из всех флигелей самый обширный и населённый – это Стекланный коридор. Он в два этажа и имеет пятьдесят квартир, одна половина которых называется прямыми, а другая – боковыми.

Когда вы войдёте в Стекланный коридор, то с первого раза глазам вашим представится настоящий обжорный ряд. Там, около стен

квартир, наставлены столы и скамейки и на них в разных посудилах кушанья гораздо более разнообразный, чем у Столярного флигеля. Тут, кроме уже названных раньше, есть и винегрет, и ботвинья, и молоко с творогом, и селёдки по копейке, и студень, и разные сласти: кроме того, имеются махорка, дешёвые папиросы и спички. Около проходов в квартиры стоят женщины и осипшим голосом выкрикивают: «Поди, щи с говядиной! Лапша, картофель жареный! Сычуги, сычуги» и т. п. Нельзя сказать, чтобы все это было вкусно, но зато дёшево и жирно; и если купить которое-нибудь из этих снадобий на три копейки, то можно удовлетворить какой угодно тощий желудок. В некоторых местах стоят женщины, подобные тем, что у ворот, но только более растрёпанные и в большем дезабилье.

Особенно оживлён бывает коридор летом в субботу вечером и в воскресенье, потому что в эти дни почти все бывают с деньгами. Рабочие и мастеровые получают расчёт; нищие, или, как их здесь называют, стрелки, тоже бывают с большой добычей, а около этих денежных людей перепадает и прочим. В эти дни почти все перепиваются, вследствие чего шум, гам, безобразные песни, смена одежды, а подчас и кровавые драки не прекращаются до понедельника. Но нижний этаж Стеклянного коридора как не безобразен, все-таки ещё не так опасен, как верхний.

С уничтожением «Малинника» ^[168] и Таировских ^[169] заведений в Вяземском доме, особенно в верхнем этаже Стеклянного коридора, нашли себе притон многие женщины самого грязного разбора. Предприимчивые квартирные хозяева, приютив у себя эти создания, понаделали в своих квартирах и принадлежащих к ним чуланчиках дешёвые номера и пускают туда желающих на свидания.

Здесь происходят самые безобразные сцены и оргии. Горе пьяненькому чужому человеку, который попадёт в этот коридор: он непременно будет обобран и, пожалуй, спущен с лестницы. И жаловаться ему некуда... Случалось, что некоторые приносили жалобы местным властям, но они прямо отвечали: «Ведь ты знал, что это Вяземский дом, знал куда шёл, так не чёрт тебя и нёс. Вперёд наука, не будешь другой раз тут шляться».

Но перехожу к самым квартирам и квартирным хозяевам и жильцам этого флигеля. Я уже сказал, что квартиры называются прямыми и боковыми. Как прямые, так и боковые состоят из одной комнаты, в

которой отделена перегородкой небольшая каморка для хозяев, остальное же пространство занято или сплошными норами, или койками. Прямые квартиры большие, квадратные, по четыре сажени в каждую сторону, по четыре окна на Полторацкий переулок: в каждой из них помещается до сорока пяти и более человек, исключая хозяев, боковые же меньше их в половину и только с двумя окнами в коридор, отчего комнаты довольно темны.

Хозяева этих квартир большою частью или отставные солдаты, или крестьяне Новгородской, Смоленской и Калужской губерний. Несмотря на то, что они платят за квартиры довольно высокие цены (прямые квартиры внизу отдаются по 38 рублей., аверху по 36 рублей., боковые – внизу по 18 рублей., аверху по 16 рублей. в месяц: кроме того, их надо отопить, осветить и заплатить за воду и очистку), несмотря на то, что жильцы их – отребье общества, квартиры оказываются настолько для них выгодными, что некоторые из хозяев составили себе капиталы в десятки тысяч рублей.

Конечно, от одних сборов с жильцов за углы они никогда бы не приобрели таких капиталов, но у них есть доход гораздо важнее – от незаконной, но выгодной торговли.

Не только в Стеклянном коридоре, но и в Столярном, Банном и частью в лицевом флигеле над трактиром, квартирные хозяева торгуют водкою и ведут эту торговлю настолько ревностно, что не прекращают её ни днём, ни ночью. Тут можно получить водку не только на деньги, но и под залог всякой мало-мальски стоящей вещи, а свои жильцы кредитуются под пенсионные книжки и под будущей заработок. У многих хозяев ревность к этой торговле доходит до того, что они не дозволяют жильцам принести ни одной сороковки. Случалось, что некоторым из них приходилось платиться за эту торговлю, но выгода от неё так заманчива, что и после штрафа они её не бросают. Многие посторонние люди, особенно сенновские торговцы, близ живущие мастеровые и легковые извозчики, хорошо знают эти беспатентные кабачки и частенько посещают их в то время, когда прочие заведения бывают заперты.

Эта торговля, столь выгодная для квартирных хозяев, оказывается пагубной для их жильцов. Последние постоянно находятся в долгу и, следовательно, в зависимости у своих хозяев, которые относятся к ним как к вполне уже закабалённым и подвластным невольникам.

Кроме забулдыг-мастеровых и чернорабочих, проживающих подчас с себя последнюю рубаху, тут находятся люди всевозможных грязных профессий; большая же половина жильцов – нищие, но не какие-нибудь калеки, а люди вполне здоровые, умеющие заработать деньги и другими путями.

После всего сказанного не покажется удивительным, что дом № 4 по Забалканскому проспекту, т. е. дом Вяземского, очень нередко упоминается в дневнике происшествий. Но далеко не все происшествия, совершающиеся в этом доме, попадают в дневник: здесь многое проходит и без последствий, особенно когда виновными являются сами хозяева.

2

Описав, как сумел, общее впечатление, производимое Вяземским домом, перейду к описанию своей квартиры, её хозяев и близко мне знакомых соквартирантов.

Квартира эта находится во флигеле над банями в третьем этаже. Она состоит из двух небольших и низеньких комнат, каждая – по два окна, кроме того, комнаты разделены ещё перегородками. В первой из них, которая вместе с тем и кухня, отделена маленькая каморка, где помещается сам хозяин со своим семейством; во второй комнате также отделена каморка и в ней поставлено шесть коек для жильцов; затем всё остальное пространство занято нарами, над которыми по стенкам прибиты полки и на них поставлена незатейливая посуда жильцов, состоящая большей частью из изуродованных и полуразбитых чайников, жестяных котелков и чашек, а в углах прибиты закоптелые, почерневшие иконы, перед которыми имеются простенькие лампадки. Под полками во всех щелях гнездятся неизбежные обитатели всех общих квартир – клопы и тараканы, а выходящие наружу стены в зимнее время постоянно бывают покрыты склизкой зелёной плесенью. На нарах кое-где валяется разное лохмотье, грязные, засаленные донельзя тюфяки и подушки, набитые мочалой, а в ином месте в головах лежит простое полено.

Вся мебель нашей квартиры, исключая нар и коек, заключается в двух маленьких столах, двух скамейках и нескольких тургашках^[170],

заменяющих стулья. Об опрятности квартиры можно судить потому, что полы и нары моются не более одного раза в месяц, о чистоте же воздуха нечего и говорить, в ночное время зловоние доходит до того, что захватывает дыхание. Этот воздух могут выносить только люди с загрубевшими лёгкими, а приходящие посторонние долго им дышать не в состоянии.

Всех жильцов в нашей квартире, исключая хозяйского семейства, около сорока человек. Большая часть из них отставные солдаты, живущие пенсией, прощением милостыни и разными пособиями; затем разные мастеровые, крючешники, собирающие кости и тряпки по помойным ямам, отставные служители придворного конюшенного ведомства и около десятка наборщиков или, как они себя величают, литературных кузнецов.

Но прежде, чем говорить о жильцах, нужно кое-что сказать о самом хозяине квартиры и его семействе.

Хозяин – отставной рядовой Пётр Степанов Коршунов, или, как его попросту называют, Степаныч. Он уже около тридцати лет держит одну квартиру и никогда добровольно не расстанется с ней.

Степаныч – уроженец Калужской губернии, до солдатства был крепостным крестьянином и в деревне жил очень бедно. Сданный почти юношей в солдаты, он года два пробыл под ружьём, остальное время до отставки прослужил денщиком у полкового квартирмейстера. Во время Крымской кампании Степаныч десять месяцев находился в Севастополе, где ему зачислили месяц службы за год; вследствие чего он на двадцатом году службы получил уже чистую отставку.

Степаныч начал сколачивать деньгу ещё на службе.

Он не стесняется рассказывать, что и там мух не ловил и наживал копейку всюду, где только представлялся случай, и к отставке сколотил сот шесть, семь рублей.

С этими деньгами он приехал в Петербург и здесь повёл дело с аккуратностью. Первое время он поступил в услужение к какому-то путейскому майору на маленькое жалованье, а затем уже, поглядевшись и ознакомившись с петербургской жизнью, принялся маклачить-барышничать на Сенной.

Сенная в старые годы была, как известно, самым удобным и безнадзорным местом для всяких тёмных промышленников и маклакам это приходилось вполне на руку.

– Э-х-х, – вспоминал иногда Степаныч, – Сенная в прежнее время была мать-кормилица. Сколько тут кормилось разного народа, и чем, чем только тут не промышляли. Особенно для нашего брата куда как было привольно. Бывало, выйдешь рано утром, а тебя уж ждут: либо сменку кому нужно, либо тёмненький товарец предлагают.

Поосвоившись окончательно с Петербургом, спустя ещё год Степаныч выписал из деревни жену, снял в верхнем этаже Стеклянного коридора боковую квартиру и приютил здесь нескольких фатовых, которые доставляли ему большую выгоду.

– Вот житьё-то было в Вяземском доме, – рассказывал он. – Платил я за боковушку только восемь рублей в месяц, а ночевало у меня постоянно человек тридцать. На нарах укладывалось человек пятнадцать, да под нарами клал столько же. Прописанных, настоящих жильцов было не больше, как человека три-четыре, а то так, кто с паспортом, кто и без паспорта – все ложись. А ребята-то все ловкие, денежные; бывало, как вечер, так четверти три да четыре вина выйдет. И вино-то в то время было дешёвое – за четверть только восемьдесят пять копеек платили. По три копейки за ночлег брали, а выгоднее теперешних пятачков.

Лет через пять Степаныч переменил квартиру и перебрался на Забалканский проспект в лицевой флигель. Но там ему почему-то не понравилось, он взял квартиру над банями и живёт в ней около двадцати лет. В этой квартире он похоронил первую жену и года полтора спустя опять женился.

– Здесь тоже сначала-то хорошо было, – говорил мне Степаныч. – По первому-то разу я здесь платил только двадцать два рубля в месяц, а жильцов-то было не столько, как теперь. Бывало, как выйдешь ночью, да посмотришь, так сердце радуется: и на нарах, и под нарами, и на печке, везде полно. А теперь вот всего тридцать человек и дела-то уж совсем не те. Теперь вот и пустил бы другого, да боишься. Отсидел я за два непрописанных паспорта четыре дня, так теперь уж и слабит. Сидеть-то ещё ничего, а вот как вдруг лишат столицы, так и узнаешь кузькину мать.

Десять-пятнадцать лет тому назад Степаныч был ловкий и смелый мужчина, не робел веста дела с разными тёмными личностями, о чём теперь говорить с похвальбой. Но он вёл эти дела с аккуратностью и никогда не попадал впросак. Не зная совсем грамоты, он имеет

хорошую смекалку, понимает судебные и полицейские порядки и за словом в карман не полезет.

С уничтожением на Сенной хлебных и обжорных ларей, уничтожились и барышники, и Степаныч занялся исключительно отдачей в наймы углов.

Хотя квартира его и сыра и грязна, но она всё-таки считается одной из лучших в этом доме и постоянно полна жильцами. В ней, как я уже упоминал, почти всегда находится до сорока человек жильцов. За квартиру с них Степаныч берёт недорого, по рублю двадцати копеек в месяц с человека, а когда случаются приходящие ночлежники, то по пяти копеек за ночь.

Конечно, одними сборами за квартиру Степанычу было бы невыгодно жить с его семейством; но он, по примеру прочих квартирохозяев, производит у себя распивочную торговлю водкой, которой у него выходит от двадцати до двадцати пяти вёдер^[171] в месяц и ссужает нуждающихся деньжонками под залог разных вещей за проценты, далеко превосходящие те, какие прежде брали жида в покупках и продажах.

Степаныч горько жалуется на существующие в настоящее время порядки, и хотя его жалобы несправедливы, но имеют свои причины. Прежде дела его действительно шли лучше: кроме торговли водкой и ссуды под залог, он покупал и тёмненький товарец и держал иногда у себя беспаспортных, от которых ему всегда была хорошая выгода. А теперь Степаныч, как человек осторожный, не принимает уже ничего подозрительного и оставляет ночевать у себя без прописки только известных ему людей. Он не столько боится мировых судей, сколько полиции, которая очень многих хозяев этого дома лишала столицы. Между прочими сенновскими привычками у него осталась привычка беспрестанно браниться площадными словами, несмотря на присутствие жены и детей, и надсмехаться над другими, особенно над пропившимися у него же жильцами.

Но к чести его нужно сказать, что он во многом лучше других хозяев этого дома. Он не затаивает, не захватывает вверенного ему на хранение или под залог, не спаивает и не обирает сам своих жильцов хотя и не помешает другим это сделать, притом, он пропившихся у него жильцов снабжает кое-какой одеждой на работу и даёт по пятаку на обед и на ужин.

Степаныч считается богачом; утверждают, что у него хороший капитал – не один десяток тысяч рублей, но он крепок и никто не знает в точности его средств. Все видят только, что Степаныч никогда не нуждается, за квартиру платит исправно, никому ничего не должен; его четыре больших сундука в квартире и отгороженная им большая кладовая на чердаке битком набиты разной покупной и закладной одеждою, а в долгах за одними жильцами, исключая посторонних, у него постоянно ходит до трёхсот рублей. В квартире нет ни одного жильца, который не был бы должен Степанычу, а некоторым он доверяет иногда красненькую и две. Но, конечно, такое доверие он делает только тем, у кого есть заработок или кто получает пенсию. Под пенсионные книжки он доверяет не только своим жильцам, но и посторонним. Зато, когда бывают получки, он сам провожает своих должников за пенсией в казначейство, опасаясь, чтобы они дорогой не загуляли, и там, из рук в руки, получает свои долги. Случается нередко, что получающему от пенсии не остаётся ни копейки, тогда Степаныч даёт ему рубль или два вперёд, как он выражается, поздравить Царя.

Степаныч свyksя с живущим у него народом, знает, когда и как с кем нужно обойтись, как удержать каждого в своих руках, и сразу видит, кому до каких пределов можно поверить.

Теперь Степаныч постарел, не так уж предприимчив, но страсть к стяжанию и скупость его всё более и более усиливаются. У Степаныча не пропадает даром ни косточка, ни тряпочка, не сторит ни один лишний пруттик, ни одна капля керосина. За провизией на Сенную он ходит постоянно сам, и денной расход его, как он говорит, никогда не превышает полтинника в день на всё семейство. Детей своих он балует, частенько даёт по копейке на гостинцы, но, вместе с тем, водит их в отрепьях, и, если потребуется купить что-нибудь из одежды или обуви, или книгу для ученья, он день ото дня откладывает эту покупку. Не охотник также покупать себе или жене что-либо новенькое, и старается обойтись какими-нибудь переделками или употребить в дело закладные вещи; посуда же и прочие хозяйственные предметы постоянно им приобретаются случайно. Когда же он собирается что-нибудь купить, то обойдёт весь рынок, выторговывая каждую копейку и упрашивая торговцев уступить небогатому человеку. Страсть к стяжанию у Степаныча доходит до того, что он при своём капитале не

постеснится поводить за полтинник нищего, прикидывающегося слепым.

Несмотря на его шестьдесят четыре года, Степаныч ещё довольно силён и бодр: он не поддастся иному молодому; но в настоящее время, как я уже упоминал, он редко прибегает к силе, и если ему необходимо иногда уговорить не в меру расходившегося жильца, он поручает это живущему у него племяннику, о котором я буду говорить позже.

Из жильцов своих Степаныч более всех расположен к старикам-пенсионерам, к нищим и к простым мужичкам, но недолюбливает мастеровых и особенно наборщиков.

– Ох, уж эти мне бескишечные голопузы, – говорит он. – Они спотворились очень водку пить, да любят, чтобы им кто-нибудь приспел, а я-то сам себе приспевал, а не для них.

И действительно, если бы он побольше доверял своим жильцам-наборщикам, то они бы постоянно пили и никогда не пошли бы на работу. Но об отношениях его к жильцам ещё придётся говорить, а теперь скажу несколько слов о хозяйке.

3

Жене Степаныча теперь уже за пятьдесят лет, но, несмотря на её года, она ещё довольно крепка и не считает себя старухой. Она охотница посмеяться, повозиться и поспорить, и равнодушна к молодым жильцам: при всём том она экономная и старательная хозяйка. Хотя она не обладает теми качествами, какие имеет Степаныч, и скорее простовата, чем хитра и рассудительна, но зато до беспокойности завистлива и жадна. Подобно своему мужу, она любит чужие угощения и не постыдится идти в трактир или портерную с любым нищим. Любимые её жильцы – наборщики, потому что они более других умеют ей угодить, величая и нахваливая её, и чаще других делают угощения. Степаныч ей не очень доверяет и нередко с ней ссорится, если она начинает распорядиться или ссужает в долг без его разрешения, наперекор ему делает по-своему.

Относительно воспитания детей она имеет самые узкие, или, вернее, дикие понятия. Она очень мало обращает внимания на их нравственность и ей все равно, что из них выйдет, лишь бы они умели,

подобно родителям, доставать и беречь деньги, Учение грамоте она находит пригодным только для того, чтобы уметь считать деньги и читать молитвы и псалтырь: а затем все книги и прочие учебные предметы. по её понятию, составляют только одно баловство и лишний перевод денег.

– К чему им много-то учиться? – говорит она. – Ученье хлебом не кормит: оно кормит только благородных, а не нас. Нашим детям не в департамент идти. Научатся читать, писать, да считать деньги и довольно. А все эти истории да грамматики только нарочно выдумали, чтобы больше денег с бедных людей брать. Мы-то не учёные, да век-то нажили, слава Богу.

4

Я уже упоминал, что детей у Степаныча трое: две дочери и сын. Старшей дочери тринадцать лет, младшей семь, сыну – десять лет. Младшие обучаются в приюте Цесаревича Николая, а старшая перешла уже в школу при Девичьем монастыре. Все они со способностями, но среда, в которой растут, очень вредно отзывается на их нравственности и характере. Они и теперь уже мало послушны родителям, а с жильцами ведут себя очень грубо. По их понятиям, жилец совершенно подчинённый человек их отцу и матери. Жилец не смеет сделать им никакого замечания, а они могут его обругать, как им хочется, и родители за это с них почти никогда не взыскивают, говоря, что они ещё глупы, что с них теперь ещё нечего спрашивать, а как вырастут, так научатся, как нужно обращаться.

Несмотря на свои лета они, подражая родителям, уже дают некоторым из жильцов в долг по несколько копеек на водку и получают за это вдвойне.

Если кто-нибудь из жильцов придёт с получкой, то они не отстанут от него, пока не выклянчат на гостинцы. Такое попрошайничество родители им не запрещают: они или делают вид, что не замечают его, или прямо сами научают их просить.

Прощая своим детям всевозможные шалости, и почти не обращая внимания на их нравственность, отец и мать, между тем, очень строго взыскивают с них за всякий, хотя бы и маленький ущерб. Разбить,

разорвать, потерять, а также купить какие-нибудь игрушки, книжки, картинки и тому подобное, – спаси Бог.

– Лучше эти деньги пролакомить, – говорит мать, – чем тратить на такие пустяки: по крайней мере, знаешь, что сладко съел.

В заключение нужно сказать, что эти дети очень вздорны и редко пройдёт час, чтобы они не поссорились между собой, не подрались, или не жаловались друг на друга. Но это не их вина.

5

Племянник Степаныча Мамон Ястребов, короче называвшийся Мамоном, приехал из деревни лет семь тому назад. В то время ему было около семнадцати лет. Несмотря на то, что половина его лица покрыта большим чёрным пятном, поросшим щетиною, он не безобразен и притом не глуп. Сначала он поступил было в типографию, но потом дядя отсоветовал ему жить на месте.

– Что там, велико ли жалованье – восемнадцать рублей в месяц, – говорил он, – лучше будешь торговать старьем в рынке, так больше достанешь.

Мамон бросил работу; но и торговать не пошёл. Он сделался не по одному имени Мамоном, а настоящим, то есть, брюхом.

Вместо торговли, он, проживая у дяди на квартире, знакомился с вяземскими промышленниками, учился у них разным проделкам, играть в карты в орлянку и на биллиарде, и впоследствии сделался самым завзятым игроком Вяземского дома.

Иногда дядя посылал его в рынок продавать какие-нибудь случайно купленные, выменянные, или оставленные в закладе вещи: но торговля его была неудачна: он редко приносил сполна вырученные деньги, и дядя перестал его посылать. Но Степаныч терпел его, а хозяйка любила. Он для них был человек нужный. В случае какой-нибудь неурядицы, нарушения порядка в квартире, т. е. чересчур опасной драки, грозящей уголовщиной или оскорбления хозяина, Мамон, как здоровый и сильный парень, являлся усердным помощником старику. Рука у него была хлёсткая, и все побаивались его, а те, кому доставалось испытать на себе его силу, вероятно, и теперь ещё вспоминают его.

Мамону жилось хорошо: квартира готовая, хлеб-соль готовые, водка – тоже, а работы никакой; жильцы совершенно справедливо говорили: «здесь только живётся хорошо – коту, да Мамону».

Мамон обладал какою-то страстью споить, обыграть, если придётся, то подчас и обобрать. Он находил в этом особенное удовольствие и иногда не жалел своих денег, лишь бы только втравить человека, а потом похвалиться тем, что тот через него пропился или проигрался. Он был хотя и не настоящий шулер, но в квартире своей играл наверняка, будучи убеждён, что здесь, если и заметят его плутни, то для него не выйдет ничего неприятного. Впрочем, его проделки всё-таки оказались для него гибельными. В августе прошлого года, пойманный в шулерстве во дворе нашего дома, Мамон был до того сильно избит, что в скором времени слёг в больницу и через три месяца отдал Богу душу.

И не один Мамон Ястребов, но и многие здесь, но дожив своего века, отправились на тот свет.

6

Напрасно было бы описывать всех жильцов Степаныча, но о некоторых из них нельзя не упомянуть.

В углу задней каморки, т. е. в отделении для сожителей помещается отставной канонир Пётр Фёдоров Собакин со своей возлюбленной Марьей Хомовой.

Последняя – вдова городского, женщина довольно пожилая, имеет троих детей, которые помещены в каком-то благотворительном заведении. Она отлично умеет «подстреливать», т. е. просить милостыню на умирающего мужа и полунагих голодных детей... Она стреляет на улице на ходу и по квартирам, и каждый раз приносит домой какое-нибудь мужское, женское или детское бельё и рубля полтора или два денег. Часть денег они пропивают вместе с Собакиным, а остальные он или отнимает у неё насильно, или крадёт у сонной.

Сам Собакин гораздо интереснее. Он ещё не очень стар – ему теперь сорок два или три года – и вполне здоров; но он уже с семьдесят шестого года в чистой отставке.

Собакин уроженец Тверской губернии, Ржевского уезда. В солдаты он был сдан в семьдесят втором году и из его формулярного списка видно, что он неизвестно почему беспрестанно был переводим из бригады в бригаду, из батареи в батарею, пока, наконец, не попал в Бобруйскую крепость в исправительные роты за то, как он говорит, что с компанией пьяных товарищей сбросил офицера в реку.

Побыв полтора года в исправительных ротах, Собакин был освобождён и зачислен опять на службу, но тут он заболел и попал в Киевский военный госпиталь.

В госпитале ему пришла мысль совсем отделаться от службы. Он начал развивать в себе болезни и притворяться, и, наконец, пролежав слишком полгода, признан был неизлечимо больным и уволен в отставку.

Получив увольнение от службы, Собакин на казённый счёт был отправлен на родину, где в скором времени оправился и удачно женился. Но он недолго прожил в семье, начал пьянствовать, издеваться над женой, тащить у своего тестя сначала понемногу, затем побольше и, наконец, будучи послан на мельницу с двумя возами ржи, продал рожь, а деньги пропил. Тогда тесть, выйдя из терпения, выгнал его вон из дому и он явился в Петербург.

Сначала он поступил здесь на какой-то завод, но, проработав с месяц и получив расчёт, попал на Сенную, а с Сенной в Вяземский дом, где, пропив не только имевшие деньги, но и одежду, принялся «стрелять» – просить милостыню.

В то время только что кончилась турецкая война и помощь пострадавшим воинам сыпалась со всех сторон. Собакин, прикидываясь, смотря по обстоятельствам, где параличным, где слепым, где хромым, где раненым, для чего надевал чужую кавалерию, являлся во все попечительства, благотворительные учреждения, придворные канцелярии, к лицам высокопоставленным и к частным благотворителям и всюду получал вспомоществование. Кроме того, он, как числящийся неизлечимо больным, выхлопотал себе ежемесячное трёхрублёвое пособие, которое получает и по сейчас каждую треть года. Едва ли найдётся ещё другой такой человек, который сумел бы так искусно притворяться и обманывать самый опытный глаз, но если бы и нашёлся, то у него не хватит силы и терпения так долго выдерживать напущенную на себя болезнь или юродство. Собакин

иногда упадёт на землю, забьётся, затрясётся, начнёт тяжело вздыхать и стонать до того, что у него выступит пот, или, прикинувшись слепым, устави́т на какой-нибудь предмет свои оловянные глаза и простоит сколько угодно времени не моргнув. Он так ловко умеет вводить в обман, что доктора не раз, признавая его больным, выдавали ему очки, костыли и всякие лекарства.

Собакин, когда трезв, тих и робок: его на квартире почти и не слышно и он редко ходит со двора. Если ему не удаётся выпить, то он частенько ест один хлеб с водой, а не пойдёт просить: но как только выпьет стакана два-три водки, то готов идти куда угодно. Иногда он берёт кого-нибудь в провожатые и ходит под видом слепого по рынкам, магазинам и к разным лицам, известным своей добротой, а иногда вооружается костылями и двигается, волоча ноги. Но, как только, настреляв, подходит к воротам Вяземского дома, то бросит костыли и с песнями, криком и отборной бранью, тряся над головою набранным им подаяннем пляшет и скачет по двору.

Когда же ему придётся получить порядочное вспомоществование, то он берёт извозчика и, также с песнями и криком приезжает в Вяземский дом, где у Степаныча и в других квартирах нередко в тот же день пропивает свою получку.

Пьяный он кричит, ругается, озорничает до нахальства и не даёт покоя никому в квартире, не только днём, но и ночью. Сколько ему ни говори, упрашивай, ни усовещивай, он не будет слушать, а ещё больше начнёт озорничать. Его можно унять только силою, но он очень хитёр и если видит, что до него хотят добраться серьёзно, сейчас начинает шутить, смеяться, плакать так, что поневоле на него плюют и махают рукой.

Собакин за прошение милостыни был выслан по этапу и лишён столицы на три года. Тогда он приходил сюда только на несколько дней, чтобы получать пенсию: остальное же время бродил по окрестностям Петербурга, начиная от Царского Села до Чудова, а когда поспевали грибы — уходил в лес за Охту, где проживал до осени в шалаше, собирая грибы и продавая их на Пороховых или на Охте. Теперь его срок кончился, и он свободно прописался на квартире у Степаныча.

Несмотря на все причиняемые им беспокойства, несмотря на его безграничное озорство, Степаныч относится к нему очень

снисходительно, потому что Собакин более других оставляет денег в его коморке.

7

У самых дверей на отдельной скамейке занимает место Саша Столетова, по прозвищу Пробка.

Сколько лет Пробке никто не знает, да она и сама этого не знает. Ей можно дать и сорок, и шестьдесят, потому что лицо её настолько обезображено, что даже самое время отказалось сделать на нём какой-либо отпечаток. Пробка помнит только, что когда-то она была солдатской дочерью и затем, давным-давно, уже приписана мещанкой в Шлиссельбург.

Пробка пала ещё в ранней молодости и долго находилась в известном тогда на Сенной «Малиннике»^[172], а когда поустарела, то хозяйка выгнала её и она скиталась в Таировом переулке^[173], в котором существовали заведения ещё грязнее, чем в «Малиннике». Наконец, она стала уже негодна и для этих заведений.

И вот, она перешла в Вяземский дом. Дни она стояла, как и теперь ещё стоят подобные ей женщины, в кабаке; но её и здесь уже стали обегать. Тогда она завела себе любовника, безногого георгиевского кавалера, который заставил её добывать ему деньги на пропой. С тех пор Пробка начала «стрелять», но она не заходила дальше Сенной. Её благодотворители исключительные сенные торговцы: мясники, рыбаки, зеленщики, селёдочноки и др.

Пока был жив её кавалер, он из своего пенсионера платил по третям за квартиру за себя и за неё, а она обязана была приносить ему каждый день торбу хлеба, говядины для щей и шесть гривен денег. Когда ей случалось не принести положенной контрибуции, он её бил немилосердно и таким образом выбил ей левый глаз, все зубы и переломил переносье. А сколько доставалось её бокам, спине и т. п. — нечего и говорить: я думаю, ни одна ломовая лошадь под кнутом пьяного извозчика не вынесла того, что выпало на долю Пробки.

Но она оставалась жива: от неё как будто отскакивали побои, и вероятно, поэтому она и получила название Пробки.

Лет семь назад, Пробка попала в Комитет для призрения нищих. Её назначили к высылке, и она, по совету своего возлюбленного, пожелала отправиться на его родину в Ростовский уезд Ярославской губернии, куда и он обещался приехать; но вскоре после её высылки заболел и с пьянства умер.

Пробка, потеряв возлюбленного, недолго нажила на месте высылки и возвратилась, именем Христовыми, опять в Петербург. Но ей плохо везёт здесь. Её раз восемь уже возвращало в Ростов, так как, напившись, она буянит и попадает в полицию.

Рваная, грязная, безобразная, с растрёпанными волосами, Пробка, шатаясь по корпусам сенновских торговцев, кричит, поёт песни и не хуже любого мужика ругается. Мясники, зеленщики и молодые ребята ради развлечения навешивают на неё разные украшения вроде бараньего хвоста, свиного уха и т. п., обливают водой, пачкают лицо грязью, а иногда украшают лентами, цветами.

Пробка ходит на Сенную раз пять в день и каждый раз приносит корзину мелких обрубков говядины, рыбы, зелени, рваных селёдок и проч. Всё набранное она тотчас же распродает в Вяземском доме, а деньги пропивает.

Степаныч, отчасти из жалости, а более из-за того, что Пробка немало пропивает у него в каморке и каждый день исправно платит пятаки за ночлег, держит её без прописки, а когда бывают обходы, то высылаёт её в коридор, где она забивается за мусорные корзины, или прячет её под нары, заставляя сундуками.

8

Василий Алексеев Халюзин, крестьянин Нижегородской губернии Балахнинского уезда, проживает у Степаныча тоже не первый раз, и, как временный жилец без прописки, спит постоянно под нарами.

Халюзин, как и все вообще низовые крестьяне, мужик крепкий, здоровый; он, несмотря на свои пятьдесят семь лет, и теперь ещё легко носит на своей широкой спине четверть ржи^[174] или девятерик муки^[175].

Смолода Халюзин занимался крестьянством, кое- что зарабатывал на стороне, жил порядочно и даже скопил около тысячи рублей. На эти деньги он принялся покупать лес и каждую весну строил суда, называемый ослонками. Суда эти Халюзин нагружал кладью в Нижнем Новгороде и сплавлял в Астрахань, где и перепродавал их армянам. Так прошло десять лет и в течение этого времени Халюзин продал с барышом десять судов.

В восьмидесятом году Халюзин поплыл в одиннадцатый раз в Астрахань. Но тут случилось какое-то несчастье; вероятно, он или не доставил кладь в срок, или подмочил или как-нибудь иначе испортил её, только грузовладелец арестовал и отнял у него ослонку. Халюзин начал судиться с купцом и судится теперь уже десятый год. Дело его без всякого результата странствует по разным судам.

С восемьдесят первого года Халюзин шестой раз приходит в Петербург хлопотать по своему делу. Он подавал несколько прошений и в Сенат, и министру юстиции и на Высочайшее имя. Вероятно, ему всюду отказывают и только страсть к сутяжничеству, упрямство и те подаяния, который он собирает здесь, тянут его в Петербург.

Халюзин может быть и не стал бы так скитаться и сутяжничать, если бы был человеком семейным. Но так как его семейство состоит только из одной жены, то он забросил своё хозяйство, отдал землю для обработки соседу, а сам скитается и побирается на все лады. Подавая прошения о своём деле, он вместе с тем упоминает в них о бедности и просит вспомоществования или на ведение дела, или на прокормление, или на дорогу. И такие вспомоществования ему выдавали несколько раз десятками рублей, а иногда отправляли его на казённый счёт на родину. Кроме того, он обращается с просьбами на бедность ко всем известным благотворителям, а на улице не пропустит почти ни одного человека, чтобы не «подстрелить».

Халюзин, являясь в Петербург, никогда не прописывает своего паспорта, потому что считает себя временным жителем, и ему жаль платит больничные и за прописку.

Хотя Халюзин и не обладает умом, но довольно хитёр, пронырлив и весь пропитан ханжеством. При всём этом он вполне русская широкая натура и любит разгуляться. Получит иногда какие-нибудь рубли, является на квартиру и кричит:

– Пётр Степаныч! Ваше степенство! Я сегодня, слава Богу! Хочешь ли тебя угощу? Пойдём в трактир чайком напою, по пирожку закажу. И Алексеевна-матушка, – обращается он к хозяйке, – и ты пойдем, и тебя угощу. А вот старикам-то, старикам-то надо винца поднести. Эй, вы, дураки! Подходите сюда, выпейте водочки. Вот Халюзин каков! Халюзин добрый!

И он поочерёдно начинает звать жильцов в каморку и потчевать водкой, а затем забирает всё хозяйское семейство и отправляется в трактир.

Халюзин готов угощать водкой встречного и поперечного, но вместе с тем он трясётся над каждою копейкой, когда её надо тратить на что-нибудь другое, а набранный им хлеб, булки, селёдки, яблоки и прочее, он перемнёт, перетрёт в мешке, или в карманах, но никогда не поделится с другими.

Проживая здесь в течение пяти-шести месяцев, Халюзин никогда не раздевается и спит постоянно в своей «хорнайке» (поддёвке) и в сапогах, а шапку, кушак, рукавицы и торбу не выпускает из рук и когда ложится, то прячет по карманам.

Степаныч раза три укрывал его, так же, как и Пробку, от полиции, но в последний обход его не удалось спрятать, и он в ретирадном отделении был захвачен и опять исчез.

9

Так же, как и Халюзин, в нашей квартире ночует всегда под нарами Цымбульский со своей любовницей.

Цымбульский, хотя и старый знакомый Степаныча, но в настоящее время он не постоянный жилец у него, так как не им еет права проживать в столице. Большею частью он ходит ночевать в ночлежный приют в седьмую роту Измайловского полка. Но так как там мужчины разделены от женщин, то он довольно часто, с позволения Степаныча, остаётся у нас: Днём Цымбульский постоянно пребывает в нашей квартире: тут он и обедает, и отдыхает.

Цымбульский происходит из польской шляхты. Отец его был управляющим у какого-то богача-пана и, во время своего управления, нажил несколько тысконок капитала. На эти деньги он приобрёл в

Гродненской губернии маленькое поместье, которое и оставил двум своим сыновьям.

По смерти отца Цымбульский повёл разгульную жизнь и скоро прожил доставшиеся ему по наследству деньжонки, а потом, недолго думая, продал и свою часть имения за две тысячи рублей.

Скоро и эти две тысячи были прожиты, и через год Цымбульский принуждён был скитаться голодным. А тут ещё приспела очередь на службу и Цымбульского сдали в солдаты.

Но недолго пробыл он и на службе. Находясь однажды на работе на железной дороге, он упал с платформы под поезд и ему оторвало руку. По излечении, Цимбульский оказался уже неспособным служить и получил отставку.

Выйдя в отставку, Цымбульский приехал в Петербург и начал хлопотать о вознаграждении за увечье. Он нашёл себе здесь адвоката, который от имени его подал иск к правлению железной дороги в размере тысячи рублей. Почему-то адвокат его опоздал в суд, и дело оказалось проигранным. Тогда доверенный правления пригласил Цымбульского к себе и предложил ему помириться на сто рублей.

Давно уже не имея у себя таких денег и видя, что его дело проиграно в суде, Цымбульский охотно принял предложение, взял эти деньги и дал подписку не предъявлять более никаких требований к правлению изувечившей его дороги. Ненадолго хватило Цымбульскому ста рублей. Три дня квартира Степаныча была пьяна на его деньги, а на четвёртый ему самому уже не на что было опохмелиться.

Как человек увечный, Цымбульский не мог снискивать себе пропитание и потому подавал прошения почти во все благотворительные учреждения и получал много вспомоществований. Кроме того, Цымбульский со свойственной ему польской пронырливостью, выхлопотал себе от комитета о раненых пенсион первого оклада, из Санкт-Петербургской Городской Управы ежемесячное трёхрублёвое пособие и в настоящее время получает всего сто сорок пять рублей в год. Но этих денег Цымбульскому не хватает, потому что, кроме пьянства, ввевшегося, как говорится, ему в кровь и в плоть, он не может обойтись без любовницы, которая живёт на его полном иждивении и также любит выпить. Вследствие этого,

Цымбульский ежедневно «стреляет» по лавочкам. Он достаёт много денег, но много и проживает.

Цымбульский так привык «стрелять» и так много достаёт, что частенько говаривал:

– Я бы с удовольствием отдал свой вечный пенсион, только бы не запрещали мне ходить по миру.

Семь лет тому назад Цымбульский за прошение милостыни был выслан из Санкт-Петербурга на родину, в Гродненскую губернию. На пенсию ему можно бы было и там существовать безбедно, но страсть к пьянству и своей любовнице тянет его в Петербург.

И вот Цымбульский до настоящего времени уже тринадцать раз сходил этапом на родину, и тринадцать раз пешком слишком за тысячу вёрст, иногда полуодетый, в морозы и в слякоть, возвращался в Петербург.

Пенсионные книжки Цымбульского, находится ли он здесь, или отправляется на родину, постоянно лежат у Степаныча в залоге. И последний доверяет ему под всю получку, будучи уверен, что Цымбульский, как лишённый столицы, не заведёт скандала, не посмеет отказаться от своего долга.

Но все-таки, несмотря на то, что Цимбульский много получает и много достаёт, его житье волчье: даже Степаныч ввиду того, что он лишён столицы, не всегда позволяет ему ночевать в своей квартире. Только летом в тёплое время Цымбульский беспрепятственно спит на коридоре, потому что Степаныч за коридор не отвечает.

10

Отставной рядовой Викентьев, почему-то прозванный Гайдуком и известный более под этой кличкой, занимает отдельную койку. Это тоже старый знакомый Степаныча.

Гайдук вероисповедания католического. В солдаты он поступил из крестьян Виленской губернии. Здоровый, плечистый и сильный мужчина, он был зачислен в кавалерию и большую часть службы находился на Кавказе. Он захватил ещё войну 1853 —56 годов, затем несколько раз был в походах и сражениях против горцев и в одном из сражений был ранен.

По его словам, он также участвовать при взятии Шамиля. Гайдук, вероятно, служил хорошо, усердно, потому грудь его украшена Георгиевским и за покорение Кавказа крестами и несколькими медалями.

По усмирении Кавказа, Гайдук был переведён в Кирасирский её Величества полк, где и кончил службу.

Смотря на его рост и сложение, надо предполагать, что Гайдук в своё время был богатырь и теперь ещё, несмотря на шестьдесят пять лет, он не поддаётся никакому здоровому молодцу.

Находясь на службе, он за ловкость управления лошадьми заслужил расположение своих начальников; а потому, выйдя из полка, Гайдук сначала служил здесь на нескольких местах по берейторской должности и получал довольно порядочное жалованье. Но на воле он спознался с пьянством, которое каждый раз доводило его до того, что он спускал с себя всё до последней рубашки, и загоняло в Вяземский дом.

Гайдук ещё мужиком был женат на своей единовежке, но не любил свою жену, и хотя последняя находилась в Петербурге, она жила розно. А потому, когда он получил отставку, в которой его прописали холостым, он намеренно умалчивал, что он женат. Видя себя по документу совершенно свободным, Гайдук спутавшись с одной девицей, решил на ней жениться. Не задумываясь долго, Гайдук выправил все документы для своего брака, нашёл нужных свидетелей и даже упросил своего покровителя князя Г. быть посажённым отцом.

Года два Гайдук жил со второй своей женой, но по какому-то случаю об этом проведала и первая, и возбудила против него преследование. Гайдук был арестован и шесть месяцев находился под следствием.

Но заступничество того же князя Г. и графа В...а выручило его. Князь Г. приискал ему присяжного поверенного, заплатив за защиту пятьсот рублей. Гайдука оправдали и даже разрешили ему сожительство со второй женой, отстранив первую.

Но недолго Гайдуку пришлось прожить во втором браке. Вторая его жена, так же как и он, любила выпить и, кроме того, пригуливала. Гайдук знал это и не обижался, потому, что, благодаря этому, ему нередко перепадало угощение; но однажды, на Никольском рынке, она, пьяная, до того была избита, что в скором времени сошла в могилу.

Гайдук, так же как и Цымбульский, получает от Комитета раненых высший оклад пенсионера – шестьдесят рублей в год, тридцать шесть руб. из губернского казначейства и двадцати пяти рублёвое пособие. Но ему также не хватает этих денег. Он часто подаёт ещё прошения о вспомоществовании и, кроме того, собирает милостыню по лавочкам и трактирам. За нищенство он несколько раз побывал в комитете для призрения нищих, раза четыре был высылаем на родину, и был лишён столицы на три года. Но теперь срок его высылки кончился, и он снова живёт прописанным у Степаныча, снова собирает всевозможные подаяния и по временам пьёт горькую чашу до того, что его принуждены бывают отправлять в больницу.

11

Егора Степанова Кислякова у нас называют Лесной Дед.

Кисляков лет двадцать тому назад служил в придворном конюшенном ведомстве, но за что-то был выгнан из службы и сослан в Оренбургскую губернию. Ему, может быть, и вечно пришлось бы там находиться, но года полтора после его высылки последовал всемилостивейший манифест, освободивший его от изгнания. Кисляков послал прошение на Высочайшее имя и его не только простили и разрешили возвратиться, но даже назначили небольшой пенсион.

Возвращаться из места ссылки Кислякову пришлось пешком без денег. Сначала он пошёл в Астрахань, думая найти там на судах или на пароходах работу и доехать до Нижнего Новгорода. Но работы на этот раз не оказалось и Кислякову пришлось именем Христовым тащиться в Петербург.

Сойдясь с одним пройдохой, каких у нас на Руси бродят тысячи, они, смотря по обстоятельствам, звали себя где за странников, где за колдунов, а где за знахарей-лекарей и, таким образом, совершили дорогу безбедно.

Кисляков был человек семейный, у него остались в Петербурге жена и малолетний сын. Жена по высылке его начала кормиться милостыней и иногда, искривляя и подвязывая себе правую руку и крестясь левой, доставала порядочное количество денег и хлеба.

По возвращении Кислякова в Петербург, он поселился с семьёй в Вяземском доме. Сам Кисляков начал ходить в лес за мётлами, а жена его продолжала «стрелять» и к этому же они приучили и своего малолетнего сына.

Жизнь их была безбедная, получаемого пенсионера хватало на уплату Степанычу за квартиру; то что добывал Кисляков на мётлах, они пропивали, а хлеб, и разное снадобье для приварка в достаточной мере собирали жена и сын.

Кислякова раз восемь попадалась в Комитет для призрения нищих и наконец, была выслана на родину мужа в Москву. Муж последовал за ней, и они года три проживали в Москве, на Хитровке. Хотя там и привольнее было «стрелять», чем в Петербурге, но не так выгодно, почему, как только сделалось возможным, они опять возвратились в Петербург.

Сынишка в это время у них подрос, познакомился с другими сверстниками в Вяземском доме, и из маленьких стрелков сделался форточником. Как ни худы его родители, но нельзя допустить, чтобы они научили его этому ремеслу; однако, они знали, чем он занимается, и охотно принимали добываемые им деньги и вещи. Два раза он попадался в кражах и два раза отдавали его на исправление родителей; наконец, в третий раз его помести в колонию для малолетних преступников. Маленький Кислёнок, так его звали, несколько раз бегал оттуда и, совершая разные проделки, таскал, что попадало родителям, которые его скрывали от поисков полиции. Но пословица говорит, что «долго ли верёвочке не виться, а кончику быть», так и Кислёнок раз попался где-то дворникам в руки и те, не желая с ним возиться и отправлять в полицию, своим судом расправились с ним так, что Кислёнок, покашляв и поохав с неделю дома, принуждён был отправиться в больницу и, промаявшись так месяца четыре отдал душу Богу.

Года через три умерла жена Кислякова и с тех пор он стал Лесным Дедом.

Кисляков хотя и числится постоянным жильцом нашей квартиры, так как прописан тут, но почти всё время проживает в лесу за Малой Охтой, где у него устроен хороший шалаш. На квартиру его загоняют только сильные морозы.

Кислякову теперь уже шестьдесят пять лет, но он довольно крепок и силен. Он легко носит из леса в город на своих плечах по семидесяти мётел, а в каждой метле, по крайней мере будет от двух до трёх фунтов^[176] весу. Здоровье его настолько удовлетворительно, что он, несмотря на то, что ходит зимой и летом в холодном пальто, и в опорках и почти постоянно по моклышку в снегу и в воде, никогда не хворает. В баню он ходил не более как три или четыре раза в год и никогда не стирает своего белья, а как наденет рубашку, так и носит её до тех пор, пока она совсем не истлеет на нём. Водку он никогда не пьёт маленькими стаканчиками, а на первый раз берёт и выпивает разом сороковку, и потом уже продолжает пить чайными чашками. На кушанье Кисляков совсем не брезглив, будь хоть прокислое, хоть протухлое, он всё есть и ест без разбору, часто смешав вместе и постные щи, и мясной суп, и селёдку с огурцами. Он уплетает это месиво с таким аппетитом, что только за ушами пищит.

12

Поплевкин — отставной жандармский унтер-офицер. Он из солдатских детей и в службу поступил из кантонистов. Сначала он был барабанщиком, потом музыкантом во втором кадетском корпусе и впоследствии перешёл в жандармы на Николаевскую железную дорогу, откуда и получил отставку.

По выходе в отставку, Поплевкин служил в городских, сторожем в окружном суде, досмотрщиком при Санкт-Петербургской таможне, и на некоторых других местах, но, несмотря на свою способность подслуживаться и делом, и языком, он почему-то плохо уживался на местах.

Поплевкин ещё на службе был женат и имел сына, который в настоящее время служит техником на Путиловском заводе. Лет пятнадцать дому назад Поплевкин разошёлся с женой и с тех пор не видится ни с ней, ни с сыном. Что за причина их добровольного развода, Поплевкин никому не говорить, но, по-видимому, он сам был неправ, потому что хотя он и редко и неохотно упоминает о жене, но всегда говорит:

— Если бы я был такой, как моя жена, так я был бы счастливый.

Впрочем, надо сказать, что он крепок: хотя его и тяготит одиночество, хотя в нём и проявляется иногда желание узнать, как живёт его жена, но он старается скрывать свои чувства и желания.

Поплевкин получает небольшой пенсион, около тридцати пяти рублей в год. Конечно, этих денег ему не хватает на прожитие, несмотря на то, что он ведёт самые скудные расходы, и Поплевкин занимается выделкой канительных яиц к Пасхе, кроме того он умеет делать ризы на иконы и разные безделушки из фольги.

Способ приготовления им яиц таков: он покупает тысячу или более тумачков (гнилых яиц), выдувает из них всю внутренность, то есть белки и желтки, сушит скорлупу в печке, потом заклеивает находящиеся на концах отверстия цветной бумагой, и после этого обматывает яйцо со всех сторон тонкой канителью^[177], которой у него выходит один фунт на шесть или на семь сот яиц. Потом, приклеив из аленькой тесёмочки маленькую вешалку, разносит яйца по мелочным лавочкам, или продаёт в розницу на вербе.

Каждое яйцо ему обходится менее полутора копеек, а в продаже средним числом оно идёт не менее пяти копеек.

Поплевкин пьёт запоем, вероятно, эти запои были причиной его развода с женою, неуживчивости на местах и, наконец, довели до Вяземского дома. Он рассказывает, что прежде, когда он бывал без места, занимался продажей образов и книжек, но потом пьянство его сгубило. Он не мог выправить себе жестянки для разносной торговли и за это его несколько раз забирали в сыскную полицию и судили у мировых судей. Когда он попал в Вяземский дом, то вместо торговли, нашёл более выгодным ходить по миру.

У Поплевкина для добычи дни распределены систематически – так в субботу он обходит круглый, Пустой и Старый Александровский рынки, Невский, Владимирский и Литейный проспекты, Калашниковскую пристань и проч. окрестности; в воскресенье – трактиры на Сенной, по Обуховскому и Вознесенскому проспектам и развалку в Новом Александровском рынке, по вторникам – Васильевский остров, Петербургскую и Выборгскую стороны, а в прочие дни ходит в Апраксин рынок, в казармы за хлебом и на Сенную за говядиной и прочим снадобьем.

Таким образом, Поплевкин ходит месяца полтора или два, экономничает до такой степени, что тратит в день только копейки три

на чай и две на варку кушанья. В это время он расплачивается с долгами за квартиру и за водку, покупает себе разных нужных и ненужных вещей, и скапливает десятка три рублей. В это время у него никто и ничего не выпросит, даже спичку, или щепотку табаку и то он редко кому одолжит.

Но потом Поплевкин, ни с того, ни с сего запивает, и тут у него идёт, что называется, дым коромыслом. Поплевкин беспросыпно предаётся самому широкому разгулу. Он потчует всех и каждого и, не выходя из квартиры, в несколько дней пропивает все свои деньги. Пропив наличные, он начинает пить в долг до тех пор, пока Степаныч не положит предел; а затем он начинает уже, штука по штуке, закладывать свои вещи и остаётся в одном изорванном белье и опорках.

Дня четыре пять после запоя, Поплевкин бывает какой-то болезненный, несмелый и страдает бессонницей; когда же окончательно выходит, то Степаныч понемногу начинает, его снаряжать. Степаныч более чем к кому-либо расположен к Поплевкину потому, что тот прав или неправ бывает хозяин – всегда держит его сторону и при случае не прочь заменить собой покойного Мамона, т. е. заступиться за Степаныча действием.

По совершенном вытрезвлении, Степаныч даёт Поплевкину пальто, сапоги, денег на хлеб, попоивает чаем и затем уже Поплевкин снова принимается за свой систематический сбор и снова начинает экономить и беречь всякий грош.

13

Теперь следует кое-что сказать о наборщиках. Всех наборщиков в Вяземском доме находится около двадцати пяти человек. Живут они партиями по несколько человек в одной квартире. У Степаныча в настоящее время квартирует их до десятка и все они как будто сшиты на одну колодку – одного пошиба. Все они ещё довольно молодые люди, но уже убившие своё здоровье, и убившие не работой, а слабостью к пьянству.

Мастера они хорошие, (впрочем, они не любят, чтобы их называли мастерами: их работа не мастерство, а художество) и работу у них

очень выгодная: случается, так они зарабатывают рубля по три и по четыре в день. Но немногие из них работают на постоянном месте, большая часть то и дело переходит из одной типографии в другую, и далее получки денег не работает, а потому иной из них в течение года поработает в двадцати типографиях.

Но не столько времени они находятся на работе, сколько пьянствуют. Заработав где-либо несколько рублей, уплатив из них часть на квартире, они тут же покупают бельё, блузы, какие-нибудь сюртуки, пальто и т. п. Затем начинают spryskivatsya свою покупку и обновки, и spryski продолжают до тех пор, пока не только не останется ни копейки денег, но даже никакой хламида на себе, которая стоила бы хоть пятак. Как деньги, так и вещи, они пропивают всей артелью. Когда израсходованы все наличные деньги, начинается спускание вещей; под конец они пропивают с себя последние рубашки и кальсоны и затем нередко прикрывают своё грешное тело каким-нибудь бабьим лифом, а если этого не найдётся, то на плечи надевают мешок, а низ завязывают рогожей.

И грустно, и смешно бывает на них смотреть; делается стыдно за человека; но для них – пока они в разгаре, пока не вышел окончательно хмельной сумбур из головы – всё это ничего не значит. Они не тужат, что пропились, что остались совсем раздетые, но ещё считают это особенной находчивостью и даже друг перед дружкой похваляются. Если же кто из товарищей не захочет спустить с себя всё, подобно другим, то он, по их выражению, начинает уже злоумствовать и между ними тот уже не товарищ – на него сыплются всевозможные порицания, поступок его считают подлостью и ему стараются делать всевозможные каверзы.

Если какой-нибудь приятель забредёт к ним со стороны, то они, всей артелью стараются также, что и он, волей-неволей, спустил с себя всё, что может иметь какую-либо ценность.

Случается так, что попойки у них продолжаются недели по две и по три. И, Боже мой, какой им после этого приходится терпеть и голод, и холод! Так как они забрали Степаныча в руки, т. е. задолжали ему более, чем бы он хотел им верить, то он даёт им на обед и на ужин по пятаку. Но они и эти пятаки пропивают, а сами остаются или голодными, или выпрашивают корочки хлеба у нищих.

Несмотря на то, что все они люди немного поучившиеся и все одарены небольшой дозой понятия, но с пристрастием к пьянству они положительно потеряли и рассудок, и самолюбие, и стыд. Когда пьянство захлестнёт их, они готовы на какой угодно поступок. Пропить, заложить или продать чужую вещь они считают предосудительным. А если товарищ напился пьяным и уснул, то они уже без церемонии пользуются всем, что у него есть, будь это наличные деньги или вещи. На это у них один ответ: «ведь мы пьяные были. Если бы были трезвые, так этого никогда бы не сделали».

Под пьяную руку или с похмелья некоторые из них не стесняются также пройти и «пострелять». А то бывает и ещё хуже: иной и руку запустит постороннему в карман. Но всё-таки следует оговориться, что такой поступок и между ними считается предосудительным, и очень немногие из них на это способны.

Кроме того, то они должны Степанычу за квартиру и за водку, кроме того, что он даёт им пятаки на хлеб, он также принуждён бывает снабжать их и одеждой. Случается нередко, что он раза два или три в течение года одевает их и отправляет на работу, они закладывают и его вещи и являются полунагие.

Другой жилец этого не посмеет сделать – побоится Степаныча, но наборщики надеются, что товарищи их не выдадут, а с артелью Степанычу не справиться и в суд он не пойдёт – поругается и тем дело кончится.

Впрочем, они никогда не отказываются платить должны деньги, и у кого что берут – расплачиваются: но трудно бывает уловить их с деньгами, а потому Степаныч или его хозяйка, когда бывают у них получки, постоянно встречают их в дверях типографии, и там обирают, если не все, то часть денег.

У наборщиков мало общего с прочими жильцами в квартире. Насколько они артельны между собой, настолько же держатся особенно от других, и у них есть даже особенные названия некоторым предметам: так кабак, где они преимущественно собираются и где получают сведения о работе, они называют министерством, закусочную – пыркою, обед или порционные дневные деньги – топором и т. д.

Степаныч наборщиков недолюбливает.

– Я, – говорит он, – лет пятнадцать держал у себя и вёл дело с мазуриками, да и те у меня такой пакости не делали. Что там творят на стороне – это их дело. Они за это отвечают перед Богом и перед законом, а на квартире бывало ведут себя смирно и честно. А эти голопузики бескишечные только и норовят как бы кого опутать, да промотать чужое.

И, действительно, многие из них уже понагнали его: одни, задолжав и бросив свои просроченные паспорта, шляются по приютам, другие ушли на родину по этапу, третьи умерли. Но к ним особенно расположена хозяйка, потому что они, когда бывают при деньгах, не скупятся и частенько угощают её пивом, до которого она большая охотница.

Наконец, в дополнение ко всему сказанному, следует прибавить, что и последствия их пьянства бывают пагубны. Не говоря уже о том, что через пьянство они частенько прихварывают и попадают в больницу, но и самая смерть их большей частью бывает преждевременна.

Так, один из них, ещё очень молодой человек, год тому назад умер в нашей квартире пьяный от удара.

Другой, пропив хозяйское пальто и боясь показаться на квартиру (тогда ещё был жив Мамон), в сильный мороз забрался спать под лестницу и схватил воспаление лёгких, от которого через полгода тоже сошёл в могилу.

Третий сын музыканта первого кадетского корпуса шлиссельбургский мещанин Александр Янов чуть не кончил жизнь самоубийством. Он был самого скверного, раздражительного и придирчивого характера. Его во многих типографиях не любили и потому он частенько оставался без работы. В последнее время он, пропьянствовав подряд более месяца, пошёл искать работы, но вместо типографии попал в Обуховскую больницу в отделение беспокойных. Полежав там дня три и зная, что у товарищей должна быть получка, а при получке всегда бывает водка, он выписался из больницы. Рано было ему выписываться, он ещё не оправился окончательно, а, главное, следовало бы поостеречься, но он опять взялся за стаканчик и спустя два дня, задумался.

Никто у нас на квартире не обращал на него внимания, потому что после большого пьянства такое состояние бывает у многих. Так прошёл день. На другой день Янов выпросил у Степаныча пальто,

пошёл к отцу, который кем-то служил в Александринском театре, вероятно, его там не приняли или он сам не решился явиться, только он скоро возвратился.

Возвратясь, Янов снял и отдал хозяину всю одежду, которую брал у него и, не говоря ни с кем ни слова, просидел весь вечер и всю ночь. Ел ли что Янов в этот день – не видал никто. На следующий день, часов в десять, одев на себя какой-то валявшийся под нарами бесполоый сюртук, он ушёл с квартиры.

Часа в два вызвали Степаныча в домовую контору, куда из участка приведён был Янов. Он ходил в участок жаловаться, что его на квартире били: «всю ночь», говорил, «меня били».

Конечно, хозяин сказал, что его никто не бил, а что на него с пьянства нашла дурь.

– Так води же его на квартиру, – сказали хозяину в конторе, – да смотри за ним.

Придя из конторы, Янов опять просидел весь вечер и всю ночь и все бормотал:

– Бейте, бейте, бейте! Всех не убьёте. Пойду в сыскную, все расскажу...

Спал или нет Янов в эти двое суток, и ел ли хоть что – нибудь, я не могу сказать, но на другой день, когда Степаныч положил ему на нары три копейки, он не взял этих денег.

Наконец, после обеда он опять ушёл, оставив на нарах и три копейки, и табак. Нет его час, нет другой и вечер прошёл, его нет, и ночевать он не приходил. Степаныч подумал, что он куда-нибудь скрылся, на утро сходил в домовую контору и отметил его выбывшим.

Прошёл ещё один день, а Янова всё нет. Наконец, вечером, один из наших квартирантов достал где-то «Ведомости Санкт-Петербургского Градоначальства и Санкт-Петербургской Полиции», в которых мы прочитали следующее:

«20-го февраля, в пять часов пополудни шлиссельбургский мещанин наборщик Александр Янов 27-ми лет, проходя в нетрезвом виде по Обуховскому мосту, бросился через решётку в реку Фонтанку. Он тотчас же благополучно был вытащен».

Не знаю, почему Янова признали в «нетрезвом виде» но я положительно знаю, что он последние двое суток ничего не пил, а когда ушёл с квартиры, то ему не на что было напиться.

Василий Павлов, молодой и высокий человек. Отец его и теперь ещё состоит биржевым артельщиком и там же находятся два его брата. Кроме того, отец Павлова имеет портерную и постоянный двор в Ямской.

Павлов сначала был отдан в ученье в наборщики, но потом, когда вышел из ученья, спился со своими товарищами, и отец, желая его исправить, определил его тоже в артельщики. Но недолго Павлову пришлось быть артельщиком. Он что-то набедокурил, его выгнали из артели и не выдали залога, который был им внесён в артель.

Тогда Павлов сошёлся опять с наборщиками и вместе с ними попал на квартиру к Степанычу. Сначала ему был здесь почёт, Павлов утверждал, что ему следует получить из артели сто двадцать рублей. И вот, во-первых, рассчитывая отчасти на эту получку, а во-вторых, на его состоятельных отца и братьев, Степаныч и в особенности его жена доверились Павлову и месяца четыре держали его на своём кушаньи и отпускали водку.

Павлов задолжал Степанычу около сорока рублей, но, разумеется, получить денег ему ниоткуда не удалось. Артель наотрез отказала ему в возврате залога, а отец и братья, хотя и давали ему понемногу, но он все получаемое от них немедленно пропивал. Тогда Степаныч отказался его кормить, на квартире же ещё продолжал держать, надеясь, что Павлов как-нибудь расплатится. Но он прожил у Степаныча более года, а заплатить ему долг не мог. Они нигде не работал, а жил так себе около своих товарищей и, кроме того, не прочь был прихватить и чужбинки.

Однажды кто-то из наборщиков принёс из типографии печатный бланк кассы ссуд, на котором выдаются квитанции на заложенные вещи. С похмелья они надумали этот бланк пустить в дело. Павлов написал на бланке, что приняты в залог ценные вещи и послал этот билет продать.

Тут же в коридоре нашёлся барышник и билет был продан за полтинник. На эти деньги Павлов сейчас же купил полштофа водки и распил его с товарищами.

Между тем, барышник, купивший билет, пошёл в кассу ссуд выкупить вещи, чтобы в свою очередь их продать и сколько-нибудь заработать на этом. Конечно, билет признан был подложным, и барышника арестовали. Он указал, у кого купил билет, а тот, в свою очередь, объяснил, что получил билет от Павлова.

Павлов попал под суд за подлог. Кроме того, что он просидел в предварительной тюрьме четыре месяца, его присудили к девятимесячному аресту в рабочий дом с последствиями. По окончании срока ареста, его выслали на два года под надзор полиции в Валдай... Но Павлов недолго пробыл здесь: ему не понравилось; он выхлопотал перевод в другой город и вместо того возвратился в Петербург. С тех пор Павлов шестой раз выхлопатывает себе перевод и шестой раз возвращается сюда. Он побывал в Новгородской, Тверской, Псковской и Эстляндской губерниях и через короткое время по приходу на место уходит оттуда. Летом он проживает в Петербурге подолгу, потому что обходы бывают реже, да и скрываться удобнее, где ни запрятался – везде тепло, а зимой ему никогда не приходилось жить в столице более двух недель.

Теперь он пришёл из города Везенберга^[178] с проходным свидетельством в город Краснояр, Астраханской губернии.

Несмотря на довольно холодное время, он всю дорогу шёл в одном пиджаке и дырявых сапогах. Ноги у него все в болячках – до такой степени потёрты: но, несмотря на это, он не унывает: тотчас по приходе в Вяземский дом, он с товарищами поймал какого-то пьяного, обобрал его на пять рублей и за ночь пропил все деньги.

Степаныч, напуганный недавно бывшим обходом, при первом появлении Павлова не пустил, но когда он явился вторично уже с пятью рублями, принял его и дозволил хоть целый день отдыхать.

– Днём спи, сколько хочешь, – говорил он, – нар мне не жалко, а ночью, брат, извини, не могу, потому что мне, пожалуй, за тебя придётся потеть.

– Что же тебе не жилось в Везенберге? – спросил я Павлова.

– Да что, братец мой, – отвечал он, – там с голоду помрёшь. Там все чухны (эсты). Станешь с ними говорить, просить поесть, они не понимают. Станешь им показывать на рот, что вот есть хочу, а они только кривляются, гримасничают. Беда чистая!

– А теперь как же ты думаешь пробраться в Астраханскую губернию?

– А как: известно, попадусь здесь, меня и отправят этапом; да ещё и одежду казённую дадут.

– Что-ж ты там думаешь делать?

– Там я найду на свою долю работы, Слава Богу, сила есть.

Действительно, у Павлова сила есть; посмотреть па него – залюбуешься... Высокого роста, хорошо сложенный, с правильными очертаниями лица и выразительным взглядом, он выглядит положительно красавцем: к тому же не глуп и все-таки кое-чему научился. Невольно пожалеешь, что такой молодец пропадает.

Павлов почти совсем отшатнулся и от своих родных. Однажды как-то он пьяный пришёл и стал требовать от них денег, но отец не дал столько, сколько он просил, и Павлов пригрозил на отца: «я тебя, – сказал он, – когда-нибудь поймаю и зарежу». С тех пор отец стал его опасаться, и когда Павлов приходит к нему, то хотя и даёт ему иногда по несколько рублей, но к себе в квартиру не впускает, несмотря на то, что Павлов, после этого всем говорил, что пригрозил отцу сгоряча, вовсе не имея намерения привести когда –нибудь свою угрозу в исполнение.

15

Кстати будет сказано несколько слов о «Лютном Стрелке» – Чернове.

Он – кронштадтский мещанин и тоже был наборщиком. Он долго жил в Вяземском доме, но потом сошёлся с одной швейкой, также проживавшею в этом доме, и женился на ней. У жены его есть старуха, которая живёт чуть не с детства у каких-то господ в услужении. И вот она, обрадовавшись, что дочь её, которая прежде вела разгульную жизнь, выходит замуж, дала ей приданное. Старуха повытаскала сберегаемые десятками лет в сундуках её разные вещички – платье, бельё и прочее, и, кроме того, отдала скопленные её долголетней службой триста рублей. Конечно, на первое время молодые выехали из Вяземского дома и наняли комнату; но так как и сам Чернов и его супруга, оба были пристрастны к стаканчику, то скоро прожили всё

приданое, и менее чем через полгода Чернов опять очутился в Вяземском доме.

Он жил в номере на нашей лестнице. Однажды он взял у хозяйки пальто, чтобы сходить на работу и пропил его. Хозяйка подала на него жалобу мировому судье, и Чернова за растрату приговорили к четырёхмесячному аресту в тюрьме и затем лишили столицы на три года. Его выслали на место приписки – в Кронштадт.

Там он не мог найти себе работы, кормиться же чем-нибудь было нужно, то он пробовал ходить на выгрузку пароходов. Хотя Чернов и очень здоровый, высокого роста плотный мужчина, но всё-таки эта работа ему показалась тяжела, при том же она не так выгодна и непостоянна, а потому он решил возвратиться опять в Петербург без паспорта. И вот теперь нет ещё и двух лет, как Чернов лишён столицы, а он уже тринадцать раз возвращается в Петербург и тринадцать раз его отсылали обратно этапом в Кронштадт. В первое время, когда он приходил сюда, он ещё кое-где работал: в мелких типографиях, или таскал дрова, бил сваи, чистил площади и т. п.; но потом приучился «стрелять», и нашёл, что это выгоднее всякой работы. «Стреляет» он на ходу и на якоре, т. е. садится где-нибудь на корточки, снимает с себя фуражку, кладёт в неё копейку и кланяется каждому проходящему. Чернов «стреляет» отчаянно. Он выбирает самые людные места, например, на Садовой улице, на Забалканском проспекте, и достаёт очень много, иногда за час, за два, он тащит уже рубля два и более; за это его и прозвали «Лютым стрелком». Настрелянные деньги он несёт в Вяземский дом, где у него проживает жена, и здесь с нею и со своими приятелями-наборщиками пропивает.

16

Кроме описанных мною лиц, у нас в квартире проживают и ещё «стрелки»; затем есть тряпичники, которые ходят по помойным ямам с крючком, или как они называют, с «приказчиком»; есть также и трудящиеся люди – разные мастеровые. Но положительно можно сказать, что во всей нашей квартире, исключая Степаныча, нет ни одного безусловно трезвого человека. Иной, правда, подобно Поплевкину, и не пьёт месяца полтора и два, то потом как зарядит, то

уж не выходит до тех пор, пока не пропьёт с себя всё, и пока Степаныч не устанет верить.

Редко бывает, чтобы у нас в квартире было тихо, особенно при получках и во время праздников происходит такой содом, что описать трудно.

Исключая своих жильцов, к Степанычу ходит много постороннего народа: то выпить, то с закладами, а потому в праздники в квартире у нас народ толпится, точно в кабаке на ярмарке, с тою только разницей, что там, хотя и шумно, но нет такого безобразия и наглого цинизма.

Особенно отличаются у нас выходящим из ряда безобразиями дни Пасхи и Рождества Христова.

Уже накануне этих праздников не бывает ни одного трезвого человека, а в самые праздники попойки начинаются с раннего утра. Где ни посмотришь на столе, на нарах, везде стоять сороковки. Квартиранты в самом неприглядном демагогии ораторствуют, поют песни, пляшут. По мере того, как хмель начинает кружить головы, собеседники делаются, судя по характеру, или дружелюбнее, или ожесточённые – в одном углу целуются, а в другом – уже схватились драться, причём как те, так и другие орут во всю мочь.

Ни один праздник не проходит без большого скандала, нередко бывают довольно крупные драки, причём и противники не щадят друг друга: бельё и одежда летят клочьями, носы разбиваются в кровь, под глазами навешиваются фонари; но эти наружные украшения являются только придатками к тому, что попадает в грудь и бока. Бабы, большею частью, стараются вцепиться в бороды. Иногда эти драки отзываются тяжёлыми последствиями для здоровья участников, которых приходится отправлять в больницу.

Но не только в праздники у нас бывают побоища, и не одни лишь пьяные дерутся. Сам Степаныч на свою руку охулки не положит, особенно когда страдают его интересы. Для примера опишу бывший на днях у нас возмутительный случай.

Один из корзинщиков Вяземского дома заложил Степанычу за рубль и за сороковку сапоги с условием при выкупе заплатить двадцать копеек процентов. Не имея, чем выкупить, он захотел их продать и для этой цели привёл с собою двух барышников, надеясь выкупить сапоги и дополучить с них на похмелье. Дело не сладилось: с барышниками он не сторговался, и сапоги остались у Степаныча. В это время

Степаныч и хозяйка куда-то отвернулись, а корзинщик, оставшийся в каморке, видя, что за ним никто не смотрит, схватил сапоги и удрал. Хватились – сапогов нет и побежали разыскивать. Корзинщика поймали на дворе, но сапогов при нём уже не было – он успел их кому-то передать. Тогда Степаныч с женою притащили корзинщика в квартиру.

– Где сапоги?

– Я не знаю, – отвечал корзинщик. – Я не брал. Утащили должно быть барышники.

– Как барышники? Ты, такой, сякой, утащил! Снимай пальто, – кричал Степаныч.

Овладев пальто, Степаныч схватил корзинщика за волосы, повалил на нары и начал бить сперва кулаками, а потом сбросил его на пол и продолжал топтать ногами. Тут только я вспомнил его слова. «Я бить не буду по рылу. Это дурак только бьёт по рылу. А я сделаю тёпленьким и мякеньким; будет помнить, как начнёт кашлять».

Степаныч бил несчастного воришку в грудь каблуками. Тот просил прощения, плакал, обещал заплатить, но Степаныч не унимался и бил до тех пор, пока не измучился.

Место его заступила хозяйка. Хотя она и очень здоровая баба, но скоро устала и отбила себе руки. Тогда она схватила железный прут и, несмотря ни на просьбы, ни на моления, ни на стоны несчастного, била его этим прутом, пока совсем не измучилась.

Более получаса продолжалось истязание. Хозяин и хозяйка по несколько раз принимались бить корзинщика и до того остервенились, что страшно было на них смотреть.

Более полувека я прожил, видал много злых, безжалостных людей; видал, как бьют мазурики, видал, как бьют арестанты, но никогда не приходилось мне видеть, чтобы женщина могла до такой степени рассвирепеть.

На что зачерствелые сердца у наших жильцов, но и из них миноге уходили, отвёртывались, зажимали уши, чтобы не видеть и не слышать этого побоища. Никто из нас не осмелился в это время сказать ни единого слова разъярённым хозяевам, потому что большая половина квартирантов находится в полной зависимости от них, а независимые – слабосильны и боятся за свою шкуру.

Наконец, несчастного выбросили за дверь в одной рубашке. Как он добрался к себе – я не знаю.

– Ну, уж досталось же ему, – говорил Степаныч, – не пропадай моё даром. Теперь сыт будет. Пожалуй, и не миновать больницы. Вот так-то лучше, а то что тут – веди в участок, да после путайся с ним, ходи к мировым; а нонче суд-то каков...

И он только махнул рукой.

Впрочем, подобные побоища в нашем доме не редкость, и в нашей квартире они случаются не в первый раз. Бывало, иной после драки уходил в больницу и уже более не возвращался.

Безусловной тишины и спокойствия в нашей квартире не бывает, но все же случаются недели, в которые, начиная с среды и до субботы, бывает потише, потому что в эти дни мастеровые уже отрезвляются, уходят на работу, да и у прочих в эти дни большей частью наступаешь безденежье, только по утрам и по вечерам возникают, какие-нибудь старые счёты и пререкания.

Я уже говорил, что все жильцы в нашей квартире пристрастны к водочке. Они не жалеют своего и не пощадят чужого, никогда не поберегут загулявшего человека, но ещё постараются нарочно травить, и крайне недружелюбно смотрят на остепенившегося и начинающего понемногу поправляться.

– погоди, – говорит, – чёрт прорвёт, сравняешься и с нами.

При всём том, в этих людях имеется известная доля доброты. Если они завистливы и недоброжелательны к своему собрату, имеющему какие-нибудь гроши, то, напротив, не прочь бывают пожалеть неимущего, угостить и накормить его.

17

Но довольно о своей квартире; нужно кое-что сказать о других и о коридоре.

Напротив нашей находится квартира № 16-ть. Эту квартиру года три назад держал крестьянин Савинов из Новгородской губернии Валдайского уезда.

Из себя он был мужик здоровый, плечистый, и не только лицо, но и широкий выбритый затылок были у него постоянно красные, как

кумач. Говорили, что он прежде на своей родине держал кабак, и, кроме того занимался перевозкой краденых лошадей. Говорили, что он там судился, сидел в тюрьме и за проделки по приговору общества ему не дозволили более производить торговлю.

Тогда Савинов взял паспорт, уехал в Петербург, и здесь поселился в Вяземском доме, о котором знал ещё в деревне от своего кума, тоже здешнего квартирного хозяина.

Савинов и здесь не ловил мух. Сняв квартиру, он, кроме того, что производил в ней, как и прочие, распивочную торговлю, держал жильцов, без разбору – и с паспортом, и без паспорта и приютил у себя нескольких тёмных промышленников.

Между прочими жильцами у Савинова проживал банный вор Никешка по прозванию Щербатый.

Никешка был старорусский крестьянин: он прежде был сам банщиком и потому хорошо знал все петербургские бани и многих банщиков, знал также, где и как сподручнее украсть.

Кражи он обыкновенно производил в двадцати и десятикопеечных банях и для этого одевался всегда в самую дешёвую, но приличную одежду.

Подойдя вечером, особенно под праздник, к каким-нибудь баням, он не сразу входил туда, но иногда по целому часу высматривал какая публика идёт в баню. Если он замечал пьяненького, то уже прямо шёл за ним и следил, куда он будет класть одежду – отдаст ли сторожу, или оставит на скамейке. Если намеченный им субъект оставил одежду на скамейке, то Никешка располагался рядом и по его уходе в баню перекладывал свою одежду на его место, а его клал на место своей, и немного побыв в бане, одевался в чужую одежду и уходил. Но если тот отдавал одежду сторожу, то он старался подменить у него билет и тогда уже по билету вынимал её у сторожа.

Так он поступал в десятикопеечных банях, но в двадцатикопеечных дело выходило у него ещё проще. В двадцатикопеечных банях одежда обыкновенно оставляется на скамейке, а потому, Никешка, приходя туда в такое время, когда бывает много народу, подсаживался раздеваться к кому-нибудь, имевшему более ценную, чем у него одежду, и, когда тот уходил в баню, то он, проследя за ним и за банщиками, шёл обратно одеваться в чужую одежду. Если же было не совсем удобно

переменить одежду, то Никешка стаскивал у соседа что было поценнее и завязывал в свой узел.

Конечно, подобные проделки не всегда сходили ему безнаказанно с рук. Никешке попадало в бани несколько раз и шайками, и кипятком, раза четыре он посидел в тюрьме и с лишением права являться в столицу высылался да родину. Но, как ловкий промышленник, привыкший уже к своему ремеслу, Никешка по высылке долго не оставался в деревне; с паспортом или без паспорта он возвращался опять в Петербург и принимался снова за те же дела.

Никешке случалось поддевать куски очень хорошие.

Он иногда приходил из бани в дорогих пальто, енотовых шубах, при часах и с деньгами, а раз пришёл в полном военном полковничьем костюме.

Однажды, вместе с одеждою, Никешке попал бумажник, в котором находилась не одна тысяча денег. Никешку, как известного банного вора, полиция разыскала, но денег при нём не нашла. Он успел их передать Савинову, а тот в свою очередь припрятал их в укромное место. На этот раз Никешку судили в Окружном суде, но осудили довольно легко: он был приговорён на год в тюрьму и, по окончании срока, его, конечно, опять выслали из столицы. Деньги его оставались у Савинова, и тот дал Щербатову клятву, — съел горсть земли, — что никогда его не оставит, и где бы он ни был, найдёт его и отдаст ему половину его денег.

Вслед за Никешкою за укрывательство беспаспортных выслали из Петербурга и Савинова. Несмотря на то, что приближенные Савинова уверяли, что он повёз с собою в деревню семь тысяч рублей, которые успел прикарманить в Вяземском доме в течение двух лет, и с этим капиталом ему было бы привольно жить в деревне, он всё-таки там не остался, сумел подмаслить волостного писаря и, переменив фамилию, снова явился в Вяземском доме, и в том же флигеле снял опять квартиру.

На этот раз ему недолго пришлось держать квартиру. Хотя домовая администрация и прикрывала его, как хорошего и податливого жильца, но, спустя месяца три, полиция его признала и снова выслали из Петербурга.

В скором времени после второй высылки Савинова, стали переделывать его квартиру и в камере, за обивкой, нашли

одиннадцать паспортов, но как эти паспорта туда попали – никто уже не допытывался.

С тех пор Савинов хотя и появлялся в Петербурге, но не проживал здесь. Года два назад он поселился за Невской заставой, но там ему не понравилось, и он уехал совсем в деревню.

Никешка же, отбыв свой срок в тюрьме и сходяв этапом в деревню, опять возвратился сюда, но ему недолго пришлось пробыть в этот раз в Петербурге; он снова попался в краже в 1888 году был осуждён в арестантские роты на три года.

* * *

Есть у нас по коридору и ещё квартира № 18, о которой нельзя не упомянуть.

Квартира эта содержится также крестьянином Валдайского уезда Никитой Агаповым. (По нашему коридору есть несколько квартирохозяев – все из одного места – родственники, да кумовья).

Этот крестьянин, хотя и не такой широкоплечий, как Савинов, но тоже довольно здоровый и сильный мужчина, в деревне, говорят, слыл за настоящего конокрада. Он от этого и не отпирается, и даже однажды, под пьяную руку, желая похвастать тем, что в деревне, при случае, прятал лошадей на подволоку (на чердак), затащил к себе в квартиру в третий этаж лошадь. Бедное животное, подгоняемое вверх по лестнице кнутом, взобралось само, но когда пришлось его спускать вниз, то принуждены были, связав ему ноги, тянуть его с лестницы волоком.

Впрочем, деревенская жизнь Агапова хорошо неизвестна. Но лет пять тому назад он, покинув деревню, некоторое время работал в Кронштадте в порту. Однако там ему не посчастливилось: за какую-то кражу ему переломили руку и, кроме того, пришлось отсидеть в тюрьме целый год.

Из Кронштадта он возвратился в Петербург и сначала поселился у своей сестры, державшей по нашему коридору квартиру № 16; здесь ему удалось у сестры же из сундука вытащить девяносто рублей.

Перебрали всех жильцов, но на Агапова, как на своего человека, сначала не подумали.

Агапов имеет в деревне жену и детей, но он бросил своё семейство, и несколько лет тому назад связался с одной вдовою – своей землячкой, и от этой связи у него тоже имеются дети. Этой-то землячке он тогда и передал украденные у сестры деньги.

Спустя два месяца после этой удачной кражи одного из земляков Агапова, тоже квартирного хозяина, за какие-то проделки лишили на три года столицы и выслали этапом на родину (теперь этот хозяин уже возвратился и держит рядом с нашей квартиру № 14, но о нём, хотя и вскользь, будет упомянуто ниже).

Тогда Агапов, заплатил высылаемому земляку за нары и прочие принадлежности квартиры, которые устраиваются на счёт квартирных хозяев и составляют их собственность, снял его квартиру на имя своей любовницы.

Дело у Агапова сразу пошло недурно, потому что место было уже насиженное, квартира была полна жильцами, которые и остались у новых хозяев. Но Агапов, не довольствуясь своими жильцами и тою распивочной торговлей, которая велась при старом хозяине, завёл у себя в небольшом размере дом терпимости и притон картёжных игроков...

Нередко случается, что завлечённого этими сиренами, предварительно споив и обобрав начисто, выталкивают, на коридор почти голого.

На картёжную же игру к Агапову собираются не только свои жильцы, но и приходящие с других квартир и с воли (про всякого, не живущего в Вяземском доме, говорят, что он нездешний, а с воли). Агапов и сам охотник играть в карты, но со всех игроков у него на игру установлен сбор: так, каждый участник в игре, прежде всего, обязан заплатить по пять копеек за карты, затем за свечку, на пиво и хозяйке за хлопоты. Кроме того, каждый выигрывающий большой ремиз непременно обязан брать из коморки сороковку водки и угощать своих собратий. Конечно, при такой игре, если она продолжится порядочно времени, никогда не бывает выигрывающих, а все проигрывающие, потому что почти все деньги переходят в каморку. Это очень естественно, потому что у Агапова есть постановление: никто не имеет права с выигрышем уходить из-за стола, пока игра совсем не прикончится.

Некоторые завистливые из квартирохозяев жаловались на Агапова в домовую контору и, говорят, посылали анонимные письма в полицию; но Агапов хорошо ладит с дворниками и конторщиком и для того, чтобы полиция не накрыла его врасплох, внизу лестницы постоянно находится стрёмщик, на которого игроки также обязаны делать сбор.

Таким образом, Агапов благоденствует и форсит. Он ходит постоянно в красной вышитой узорами рубашке и в сапогах с наборами, на шее у него всегда повязан шёлковый платок, а сверх жилетки распушается шейная серебряная цепочка с такими же часами.

18

Недавно в квартире № 14-й, хозяин которой, как я упомянул в предыдущем очерке, за беспорядки в восемнадцатом номере был лишён столицы на три года, умерла старуха, известная здесь всему дому под именем Саши-селёдочки.

Саша ещё молодой приехала в Петербург и сразу же поселилась в Вяземском доме. Какую она вела жизнь в молодости теперь в доме никто не помнит, но вот уже более двадцати лет она по большей части занималась здесь торговлей, смотря по обстоятельствам или в Стеклянном коридоре, или в разноску. Саша была очень изобретательная и деятельная женщина, но также, как и все жители этого дома, имела пристрастие к стаканчику. Она пила запоем. Запёт бывало и крутит недели две и три. Всю квартиру угощает и, пока не пропётся до последней рубашки, не отстанет. Пропёт и деньги, и товар, и тряпки с себя, и квартирному хозяину задолжает – и тогда уже начинает опять раздувать кадило. Нечем ей было взяться за торговлю, она выпрашивает на квартире какую-нибудь кацавейку и отправляется «стрелять».

Обыкновенным прошением милостыни она не занималась, но выпрашивала подаяния на умерших, уверяя простодушных благодетелей, что у ней помер муж, или сестра, или дети, которых ей не на что похоронить, но которых у ней на самом деле совсем и не бывало. На покойников охотно и побольше подают, а потому сборы у Саши всегда бывали обильны. Но Саша была аккуратна и, хотя это занятие много приносило ей выгоды, она, из боязни ответственности

за него, не делала его специальностью. Как только она мало-мальски справлялась, то расплачивалась с хозяевами, выкупала свои вещи и принималась снова за торговлю.

Торговала она всевозможными снадобьями, преимущественно же селёдками. Она тут же на Сенной в селёдочных лавках по дешёвой цене собирала брак и рассортировав его на квартире, которые получше носила продавать под Смольный в богадельню, а остальные продавала в Вяземском доме. Товар ей доставался недорого, да она и сама им не дорожилась. Конечно, на воле она продавала дороже, но в Вяземском самые дорогие селёдки у ней были по три копейки за пару, а то и по копейке и дешевле.

Несмотря на свои преклонные лета, Саша не могла жить без любовника и, в последнее время, держала при себе даже двух: одного старого знакомого, который ей кое-чем и помогал при торговле, она держала так себе, по привычке, а другого для удовлетворения своих прихотей (в этом она сама признавалась нашей хозяйке).

В последнее время Саша лет около пяти не пьянствовала, и, несмотря на то, что содержала двух любовников, сколотила более шестисот рублей. Но она, как опытная баба, при себе денег не держала. Часть их находилась в сберегательной кассе, а другая – в процентных билетах, хранилась у хозяина-селёдочника, у которого она забирала товар.

В последнее время она уже не ходила торговать в разноску, а раскладывала свой товар в Стеклянном коридоре около прохода в свою квартиру на скамейках, и платила за это в домовую контору три рубля в месяц. Тут у неё были и селёдки, и табак, и спички, и подсолнухи, и разные сласти, и прочие снадобья. Квартирный хозяин, у которого Саша занимала угол, видя, что она хорошо торгует, стал налегать на неё – набавлять на квартиру. Да, к тому же сразу вышло так, что она в скором времени потеряла одного за другим своих любовников (один из них умер в больнице, а куда делся другой – не знаю).

И вот с горя Саша опять запьянствовала. Рассорившись со своим квартирным хозяином, она перебралась в наш коридор и пошла кружить во всю. Перебравшись на другую квартиру, Саша – опять же с горя – завела себе нового любовника, молодого, двадцатитрёхлетнего тряпичника, накупила ему одежды, поила его водкой, платила за квартиру и даже давала деньги на прогул. И так старушка врезалась в

своего нового возлюбленного, что почти совсем не пускала его и за тряпками, а если он бывало уйдёт на другую квартиру играть в карты, то она всю ночь сидит около него.

Кроме своего молодого любовника, Саша поила всю квартиру, а хозяевам накупила дорогих подарков и потому, менее чем в месяц, вытаскала от селёдочника все свои билеты, которые перешли к квартирному хозяину. Но этого ещё было мало. Квартирная хозяйка подговорила дать ей доверенность и получила остальные её деньги из сберегательной кассы. Как и куда расходовалась эти деньги – одному Богу известно, но только ещё чрез три недели Саша уже бегала по другим квартирам закладывать свои тряпки на выпивку.

На шестьсот рублей Саша пьянствовала полтора месяца. не выходя почти никуда из своего коридора. но свалившись однажды с лестницы, была отвезена в больницу и на четвёртый или пятый день окончила земное существование.

Впрочем, Саша не составляет исключения: здесь почти и все старушки, и квартирные хозяйки, и торговки, и тряпичницы, и нищенки – непременно живут с любовниками, которые за их любовь, чуть не ежедневно, их же и колотят.

19

В заключение нужно сказать о нашем коридоре.

Зимой все коридоры в нашем доме большей частью спокойны и необитаемы, но летом – совсем другое дело.

В нашем коридоре, в стороне к чердаку, имеется небольшое полутёмное пространство, которое летом каждую ночь бывает наполнено ночлежниками. Преимущественно тут ютятся спиридоны-повороты и те беспаспортные, которых квартирные хозяева, опасаясь обходов, не пускают ночевать в квартиры.

По зимам эти личности хотя и пребывают днём в нашем доме, но на ночь расходятся в ночлежные приюты или на постоянные дворы; летом же, наоборот, они стараются избегать этих мест, потому что там, хотя и не часто, но всё-таки бывают обходы. Летом они ночуют или за городом, или в каких-либо сараях и прочих укромных местах. Но высланные из Вяземского дома, возвращаясь обратно в столицу, не

покидают этого дома потому, что тут они находятся в своём обществе, с которым сжились.

Здесь есть мастера типографского и литографского дела, есть и другие мастеровые, есть и стрелки. Между этими ночлежниками можно встретить некоторых и из вышеописанных мною личностей, например, Собакина, Цымбульского со своими дружницами, Павлова и других, которые считают ночлег тут гораздо привольнее, чем в квартире.

Вместе с этими жильцами тут ночует также несколько беспаспортных и бесприютных женщин, которые за стакан водки и кусок хлеба готовы ночевать где угодно.

Коридор и описанный закоулок особенно оживлён бывает, также, как и квартиры на праздниках. Тут устраиваются попойки, картёжная игра, совершаются всевозможные оргии и такие бесчинства, что описывать их не согласится даже отъявленный циник.

Нередко случается, что в этот закоулок попадают и пришлые люди со стороны, под пьяную руку завлечённые вяземскими сиренами. Эти люди, попавшие в наш вертеп, никогда из него не выходят целыми. Если они сами не отдадут на пропой всего, что находится при них и на них, то, наверное, будут обобраны. Случалось, что иные являлись прилично одетыми и с деньгами, а на утро просыпались чуть не голыми.

Днём коридорные жильцы расходятся, но немногие из них выходят за ворота Вяземского дома, потому что большинство из них такие голяки, что и за ворота нельзя показаться.

Эти последние тут же на дворе трутся около пьяных и игроков-орляночников, сшибая себе на хлеб и водку.

Наш квартирный хозяин, хотя и имеет право уничтожить этот притон, но не находит это нужным, потому что коридорные жильцы нисколько не реже квартирантов заглядывают к нему в каморку и поддерживают его торговлю. Кроме того, Степаныч и побаивается коридорных обитателей. «Ведь это отчаянные, – говорит он, – им что, они и ножом пырнут».

И в самом деле, с этим народом нужно ладить и ладить. Степаныч только раза три в ночь выходит осматривать замки и дверь у чердака, опасаясь, чтобы не разломали его кладовую.

Прочие флигеля, квартиры и жильцы в них такие же точно, как и описанные мной.

Но всего, что творится в наше доме, не расскажешь, всей грязи его не исчерпаешь. Прежде этим домом интересовались: его посещали и литераторы, и санитарная комиссия, и сам градоначальник, но теперь, когда в этом доме, поселился участок, об нём точно забыли, или считают его уже отверженным. Хотя в нём и бывают обходы, только эти обходы не замечают главного зла. А между тем, дом этот не трудно было бы очистить: следует только уничтожить в нём торговлю водкой, уничтожить его сто кабаков, тогда сами собой разбредутся все эти отребья и паразиты рода человеческого, и дом сам собою и очистится и преобразуется.

Анатолий Александрович Бахтиаров
«Пролетариат и уличные типы
Петербурга. Бытовые очерки»
(избранные главы) [\[179\]](#)

Ночлежники и ночлежные дома

В Петербурге так много каменных домов и, однако, в столице есть люди, которым некуда голову приклонить, которые утром не знают, где они будут ночевать... Досадно в самом деле: и зверь имеет логовище, и птица – гнездо, а человек, выброшенный в большом городе на улицу, не имеет своего пристанища. Днём ещё можно провести время – на улицах, площадях, рынках и проч., но куда деваться ночью? Где укрыться от холода зимой? Спасибо добрым людям, которые устроили для бесприютных скитальцев ночлежные дома.

Как известно, бедняк, не имеющий своего собственного «угла» и ночующий в ночлежном доме, называется в Петербурге ночлежником. В столице пять ночлежных домов, из них первый ночлежный дом основан в 1883 г. на 70 человек (60 мужчин и 10 женщин)^[180], второй^[181] – в 1883 г. на 180 человек, (165 мужчин и 15 женщин), третий^[182] – 1884 г. на 200 человек (без женского отделения), четвёртый^[183] – 1886 г. на 300 человек и, наконец, пятый ночлежный приют^[184] основан в самое последнее время, в 1894 г. на 140 человек. Все эти дома устроены обществом ночлежных домов. Кроме того, есть ещё два-три ночлежных дома, которые содержатся частными предпринимателями, с целью наживы. По вечерам, на окраине города, вы нередко встретите знакомую фигуру ночлежника.

– Смилуйтесь, на ночлег!

– Подайте бедному на ночлег!

Немного надо ночлежнику, чтобы заплатить за ночлег в ночлежном доме: всего «пятачок». За этот «пятачок» его ещё и накормят.

Все ночлежные дома в Петербурге могут дать приют на 1000 человек. Между тем, в столице ежедневно насчитывается от 3000 до 4000 человек, не имеющих приюта. Не мудрено поэтому, что все ночлежные дома бывают переполнены и места берутся с боя. С наступлением сумерек, около ночлежного дома начинают появляться тёмные силуэты ночлежников. Они стоят у дверей приюта в ожидании, когда их начнут впускать. В семь часов вечера двери ночлежного дома открываются настежь. Самый большой ночлежный приют, на 300 человек, носит название Грессеровского, основанный при покойном

градоначальнике Грессере^[185]. Он помещается на Болотной улице, против Невской ниточной мануфактуры. Длинным узким коридором ночлежники проходят к кассе, где «смотритель приюта», седой старик в овчинном полушубке терпеливо раздаёт билеты. Впуск в приют продолжается с 7 часов и до 12 часов ночи. Если все «места» заняты, то двери приюта затворяются и ранее 12 часов. Стоя у кассы, вы можете наблюдать всех ночлежников, которые, проходя мимо вас, поднимаются во второй и третий этажи – на свои «места».

Здесь вы видите разные типы ночлежников. Большинство их пользуются приютом в ночлежном доме временно, до приискания подходящих занятий, или поступления на «место». Есть и «завсегдатаи», которые в ночлежном доме считаются своими людьми, и ночуют в нём постоянно, из года в год. В числе этих последних попадаются профессиональные нищие, промотавшиеся купцы, неисправимые алкоголики, подёнщики и, наконец «бывший студент» какого-нибудь факультета. Подобно тому, как во время оно, в Запорожскую сечь принимали всякого, не справляясь о его происхождении, так точно в ночлежные дома в Петербурге доступ открыт всем: не спрашивают никакого «вида», ни «свидетельства» на прожитие или паспорта. Милости просим, ночуйте, но если во время ночного полицейского обхода попадёте в руки полиции, то пеняйте сами на себя, зачем не имеете законного «вида» на прожитие.

Отсутствие всяких формальностей делает ночлежный дом доступным для всякого. Никого не спросят: кто вы такой? откуда? чем занимаетесь? и проч. Признаюсь, я с любопытством рассматривал ночлежников, проходивших мимо меня длинной вереницей, стараясь прочесть в глазах их «страницы злобы и порока». Некоторым из них я задавал вопросы, вступая в разговор.

О других мне сообщал краткие сведения сам «смотритель приюта». Вот, например, проходят мимо два деревенских парня. Свежие и румяные лица их красноречиво свидетельствуют, что они недавно приехали в Петербург.

– Откуда вы?

– Мы... рязанские!

– Чем занимаетесь?

– По извозничьей части!

– Приехали место искать...

– Целую неделю по постоянным дворам бродили...
– Да ну его, с вашим Питером то! – в сердцах проговорил один из парней, махнув по воздуху рукой.

– А вы чем занимаетесь?

– Подёнщик!

– Какая работа?

– Доски таскаю на бирже...

– Почём работаете?

– По 40 копеек в день...

– Вы чем промышляете?

– Христовым именем живу... Надо же **чем-нибудь** жить! Работать не могу; вот и хожу по мелочным лавкам, булочным, а то на улице постою... По праздникам около церкви верчусь...

Нищий, являясь в ночлежный дом, всегда приносил с собою образки булок, колбасы и прочую снедь, которую он день-деньской набирал, ходя по разным лавкам.

– А вы как сюда попали?

Этот вопрос относился к одному молодому человеку, одетому в форме одного высшего учебного заведения.

– Ваш костюм выдаёт вас!

Правда, этот костюм был сильно поношен и пообтёрт от безвременья, но все-таки бросался в глаза, среди разных зипунов, полушубков и проч.

– Я бы с удовольствием променял этот костюм на другой, но, к сожалению, не могу... Здесь, в ночлежном доме, он мне только мешает...

– Давно вы ходите по ночлежным домам?

– Нет, ещё новичок...

– Что же вас заставило идти сюда?

– Нужда!..

– Чем вы занимаетесь?

– Ничем!.. День кой у каких знакомых провожу, а на ночь – сюда...

– А раньше чем занимались?

– Корректуру держал... А теперь работы нет никакой... Я бы не прочь заняться каким-нибудь физическим трудом...

Мне жаль было этого молодого человека, и я не расспрашивал, что заставило его выйти из института. Пожелав ему выбраться поскорее из

этого омута, я распростился с ним.

Все ночлежные дома в Петербурге построены по одному типу. Разница только в числе этажей и размере помещения. Представьте себе обширное зало, в целый этаж. Посередине этого зала тянутся деревянные нары с уклоном в обе стороны. Продольной невысокой перегородкой нары разделены на две половины. Кроме того, поперечными перегородками нары разделяются на «места» для ночлега. Каждое место занумеровано. На нарах и располагаются ночлежники: от своего соседа, и справа, и слева, ночлежник отделён невысокой перегородкой. Ширина «места», занимаемого ночлежником, соответствует, приблизительно, ширине человека, а длина – около сажени. В общем – «места» для ночлежников напоминают ящики без крышек, поставленные с небольшим уклоном направо и налево. Нары и перегородки окрашены в жёлтую охру. Во избежание надоедливых насекомых, их моют ежедневно... Перед сном ночлежники поют общую хоровую молитву. Они спят на голых досках и при том не раздеваясь, как пришли с улицы: в одежде и сапогах. В изголовье кладут свои шапки. После 9 часов вечера всякие разговоры воспрещаются, чтобы не мешать спать другим. За этим следит смотритель. В полночь бывает иногда так называемый «ночной обход»: полицейские городовые обходят ночлежный дом, будят по очереди ночлежников и спрашивают у них паспорт. Если паспорта не оказалось, то ночлежника берут в «участок». Кроме ночлега, за пятак ночлежник получает вечером: тарелку какой-нибудь похлёбки, ломоть хлеба и кружку чая с куском сахара. Случается, что в какой-нибудь счастливый день все ночлежники впускаются в приют бесплатно. Это бывает тогда, когда какой-нибудь благодетель внесёт за них деньги: «на помин усопшей рабы Божией такой- то». При этом обозначается имя покойницы или покойника. В этом случае на стенах ночлежного дома вывешивается объявление «ночлег даровой – на помин рабы Божией NN». Ложась спать, ночлежник не раз скажет: «помяни, Господи, душу усопшей рабы Твоей...»

Пожертвования принимаются и натурой. Кто присылает чаю, кто булок и проч. – в пользу ночлежников. Все жертвования вписываются в шнуровую книгу с неизбежной припиской: «на помин раба Божьего N». По характеру своих посетителей ночлежные дома отличаются друг от друга: самой плохой репутацией пользуется

частный ночлежный дом на Обводном канале^[186]. Он имеет «дворянскую половину». Если в ночлежные дома, расположенные на окраинах столицы, приходит, преимущественно, народ трудящийся, и работающий, но лишившийся пока заработка; то в ночлежные дома в центре столицы, стекается, по выражению зрителя, народ потерянный... Они привыкли скитаться по ночлежным домам и ведут жизнь сущих дармоедов, паразитов-пролетариев. В пользу их каждый день собирают на соседнем Сенном рынке пожертвования натурой. Сторож приюта взваливает на спину большую корзину и отправляется с нею ходить по рынку. На корзине надпись: «в пользу ночлежного приюта». Торговцы бросают в корзину обрезки мяса, овощи и проч. В кухне ночлежного дома пожертвованное мясо моется в «трёх водах» и из него готовится ночлежникам хорошее сытное горячее хлебово.

По справедливости можно сказать, что третий ночлежный приют, помещающийся недалеко от Сенного рынка^[187], продовольствуется от щедрот этого рынка. У ворот приюта, на заборе, прибито объявление, что принимаются пожертвования натурой. Особенно большой прилив пожертвований бывает накануне праздника Светлого Христова Воскресения. Посыльные мальчики и «молодцы» от хозяев то и дело приносят корзины с разными продовольственными продуктами – для ночлежников. В первый день Св. Пасхи ночлежники получают розговенье, и кроме того, в первые три дня Св. Недели – даровой ночлег. Накануне праздника Светлого Христова Воскресения в третьем ночлежном приюте бывает большое оживление. Всю ночь с субботы на воскресенье ночлежники не спят. Заручившись билетами на ночлег, ночлежники выходят из приюта, потом снова приходят, посидят немного, и опять куда-то уходят. Только некоторые из них лягут вздремнуть часок, другой на нарах, да и то просят своих товарищей, чтобы они разбудили их, когда начнётся заутреня...

Вот в полночь с Петропавловской крепости грянул сигнальный выстрел. В многочисленных церквях столицы загудел торжественный благовест... Среди ночлежников третьего ночлежного приюта поднялась невообразимая сутолока. Ночлежники группируются в партии и куда-то идут. Кто не спит, тот будить своего товарища.

– Эй, ребята, вставай!..

– Из пушки палили!..

– В церковь благовестят!..

– Пора «стрелять» идти!..

Среди нищих и ночлежников слово стрелять употребляется в переносном смысле и означает: просить милостыню.

– Вы куда?

– Мы к Казанскому собору!

– А вы?

– К Спасу на Сенной!..

– А мы к Исаакию...

В Святую ночь, когда петербургские обыватели спешат в церковь, ночлежники уже заняли свои позиции: они стоят там и сям на панелях или возле церквей.

– Подайте ночлежнику – для праздника!

– Смилуйтесь бедному на ночлег!

У кого сердце чѣрствое, тот, конечно, откажет; но большинство подают ночлежнику, кто сколько может.

Да и как откажешь, когда среди ночи видишь человека, которому негде ночевать.

– Подайте бедному на ночлег!

Монотонно повторяет ночлежник одну и ту же фразу каждому прохожему. Кончилась заутреня, и «стрелки» с шумом и гамом возвращаются домой, т. е. в ночлежный приют, где для них уже приготовлено хорошее разговенье.

– Ты сколько «настрелял»?

– Рубль!

– А ты?

– Два рубля!

– Вы плохо «стреляете», братцы! Вы стреляйте по-моему, я три рубля «настрелял» у Спаса на Сенной...

Вскоре из соседней церкви пришёл в ночлежный дом священнослужитель. Он освятил трапезу, и ночлежники принялись за еду. На другой день ночлежники встали поздно. Смотритель едва поднял их. Некоторые из них побрели «к быкам», на скотопрогонный двор, где устроена народная столовая для бедных. Кто не может заплатить «пятак» за обед, тот получает обед даром... Ночлежники и здесь не упустили своего...

Татарин-халатник

Кто не видал юркого «князя», расхаживающего и в центре, и по окраинам Петербурга? В долгополом азиатском кафтане с длинными рукавами, подпоясанный красным кушаком, в меховой шапке, из-под которой выглядывает татарская тюбетейка, с котомкой за плечами – ходит он из одного двора в другой. Подняв голову, озирая окна верхних этажей, он кричит на весь двор:

– Халат, халат! Старые вещи продавать!

Но вот где-то в пятом этаже открылась форточка, высунулось чьё-то лицо, и раздался голос:

– Эй, «князь», поди сюда!

«Князь» побрёл по чёрной лестнице, в пятый этаж. А там в ожидании татарина, и двери отпёрты настежь.

– Не купишь ли поношенный сюртук, старые сапоги, шляпу?

«Князь» внимательно осматривает предлагаемый вещи, поглядел изнанку сюртука, попробовал оторвать подошвы у сапог...

– Что с тебя взять-то! Красненькую^[188] за все!..

– Дорого, барыня! Дорого...

– Ну, много ли?

– Полтора рубли – довольно будет!

– Что ты? Сюртук-то, ведь, почти новый!

– Был новый, а теперь вывороченный...

– Говори крайнюю цену!

– Два рубли – последняя цена!

Долго торговался татарин и наконец, скупил все вещи за бесценок...

Петербургские татары прибыли в столицу с берегов Волги: из симбирской, пензенской, нижегородской и казанской губерний.

Татарин-торговец существует двух родов: халатник и разносчик красного галантерейного товара. Татарин-халатник торгует старым платьем – скупает всякое – старье и сбывает его на толкучем рынке. Посещает татарин и «ссудные кассы под залоги вещей», скупает там у еврея просроченные вещи и тоже несёт их на толкучку.

День-деньской татарин-халатник слоняется по Петербургу и к вечеру возвращается домой – с ношей за плечами. Не столько он

продал халатов, сколько накупил всякого старья. И чего-чего у него только нет! Самое пылкое воображение не в состоянии соединить вместе всех тех разных вещей и предметов, какие, подчас, видишь у татарина в руках: гитара с оборванными струнами; поношенный офицерский мундир; медный подсвечник, покрытый зеленью; старые сапоги, модный франтовской цилиндр и т. п.

Татарин-разносчик мануфактурного красного товара представляет собою ходячую лавочку. Его товары – ситцевые платки, шерстяные шарфы, ремни и кушаки – отличаются яркими пёстрыми цветами, что, как известно, любит наш простой народ. Являясь в окрестные захолустья, например, на дачу, «князь» хорошо понимает, что его ходячая лавочка представляет собою целый «гостиный двор», и потому за свой незатейливый товар назначает цену по совести, руководствуясь принципом, что-де «за морем телушка – полушка, да рубль – перевоз».

– «Князь», покажи-ка платки-то!

– Изволь, барышня!.. Каких вам? Подешевле, или подороже?

– Самых лучших!

– Вот самые лучшие... с картинками...

– А нет ли у тебя – «по нетовой земле, да небывалыми цветами!»^[189]

– Есть, как не быть...

– Какие это платки?

– Московские!...

– Поди-ка, линяют?

– Нет, нет... только воды бояться!.. Мы говорим правду, не любим обманывать!

– Этот, что стоит?

– Полтина только! Задаром отдаю...

Заходят татары и в петербургские портерные и трактиры, продавая здесь казанское мыло и духи посетителям, прохлаждающимся за кружкой пива.

Татары в Петербурге живут артелями человек от 10-ти до 80-ти. Артель и староста зорко следят друг за другом: в квартире строго воспрещено не только являться пьяным, что возбраняется и Кораном, но даже и курить. Если артель заметит, что один из товарищей пришёл пьяным, то на первый раз делают ему словесное внушение. На второй раз виновного связывают и кулаками задают ему более осязательное наставление, а в третий раз «заблудшую овцу» выгоняют из артели.

Татары сильны коммунальным началом: если они, например, узнают, что какой-нибудь их товарищ торгует «на шею» т. е. в убыток себе, и если он не находит подходящего места, то артель посредством складчины сама высылает его на родину. Нищие из татар в Петербурге никогда не бывают.

Столичный Толкучий рынок^[190] представляет главную арену деятельности для татарина – старьёвщика. Еженедельно по воскресеньям на Толкучем рынке бывает так называемый развал, куда собираются тряпичники и татары-халатники со всего Петербурга. В это время фигурирует, главным образом, «голь перекатная» со всей столицы. Мастеровой и фабричный народ, свободный от работ, спешит на «развал» за покупками дешёвого товара. Торг начинается рано утром, ни свет, ни заря. Сутолока бываете страшная.

Бедняк, войдя на Толкучий рынок, может одеться с ног до головы за каких-нибудь 5 рублей: и дёшево, и сердито. Мало того, вся экипировка, кроме сапог, будет новая, точно сейчас с иголки. Тут можно купить и «жениховскую» меховую шапку и немного поношенные брюки с потёртыми на коленях, и вывороченную «пару» и почти новые сапоги, щедро вымазанные дёгтем!

После тряпичников, первенствующая роль на Толкучке принадлежит татарам-халатникам, стоящим на так называемой «татарской площадке», находящейся внутри Александровского рынка.

В лавках, окружающих «татарскую площадку», торгуют разным домашним скарбом, начиная от матрасов и подушек и кончая старым платьем, подержанной мебелью и даже каретами... Около каждой лавочки, у дверей, загромождённых разным старьём, стоят приказчики-крикуны, которые заманивают к себе покупателя.

– Эй, господин, пожалуйста к нам!

– Сапог не угодно ли вам?

– Пальто не требуется ли?

– Заверните к нам: у нас дешевле!

– Сударыня, кровати, матрасы не надо ли вам? Зайдите, останетесь довольны!

– А вот пальто «случайное» продаётся! Купите случайное: подешевле отдам!

Тут же в особых маленьких лавочках еврейки торгуют «бальными платьями», доставшимися им от прокутившихся господ.

К еврейкам понаведываются «кукольные швейи» для закупки бархата и шёлка – на отделку хороших дорогих кукол.

Выдержав перекрёстный огонь от назойливых приказчиков, вы, наконец, пробираетесь на «татарскую площадку». Здесь – шум, крик разношёрстной толпы, которая медленно движется, увлекаемая общим течением. Для безопасности следует опустить руки в карман, чтобы тут не заблудились случайно чьи-нибудь посторонние руки.

Группа татар в их национальных шапках выстроились рядами, в виде каре. Снаружи этого четвероугольника и движется главным образом толпа. Перед каждым татарин, на земле, лежит куча старья: шапки, сарафаны, юбки, сапоги, кафтаны и многое множество других предметов обиходной жизни, собранных сюда точно после сильного пожара в большом городе. У одного татарина накинута на плечи подержанная енотовая шуба, вынесенная тоже для продажи; у другого на голове надето несколько шапок...

Поминутно слышатся возгласы, обращённые к татарам:

– «Князь», продай!

– «Князь», что стоит?

– «Князь», Бога ты не боишься?

– «Князь», много-ли просишь за сапоги-то?

– Рубль – целковый!

– Дорогонько!..

– Купи! Хороши сапоги – козловые, со скрипом... Сам бы носил, да деньги нужны!

– Ну-ка, дай-ка, примерю!

– Как раз!.. Точно на тебя шиты!..

– А брюки почём?

– За все синюю^[191] бумажку!..

– Возьми зелёную^[192]!.. Брюки-то, ведь, старые! Уступи, «князь»!

– Были старые, а теперь за новые пойдут!

Покупатель-мастерской выворотил брюки на изнанку и торжественно поднёс их татарину почти под самый нос:

– А это что? Смотри, «князь», во!

– Что... ничего!.. Брюки!..

– Решето, а не брюки!

– Брюки хороши, хороши!

- Хороши, только починить надо! Зелёненькую, так и быть, «князь»!
- Нет, нет!.

Татары стойко держат свою цену, по временам отпуская остроты, нередко сопровождаемые энергическим «крепким подтверждением».

Простой народ покупает у «князя» то брюки – в три рубля, то зимнее пальто – в пять рублей. Попадается здесь и енотовая шуба, и фрачная пара, и другие принадлежности лучших условий жизни. Всё это так недавно было свидетелем хорошей жизни, но нужда не свой брат, и пришлось за грош спустить татарину. Таким образом, «порфира и виссон^[193]», поистрепавшись, с барского плеча идут на покрытие наготы столичных бедняков, и это перемещение платья с одного плеча на другое происходит при посредстве услужливого татарина.

Богатые татары промышляют на Петербургских аукционах, и занимают здесь видное место.

Как известно, «частный ломбард» и «общество для заклада движимых имуществ» имеют, между прочим, несколько аукционных зал, где производится продажа просроченных и невыкупленных вещей с публичного торга.

При отделениях аукционная продажа бывает два, три раза в неделю.

Кроме того, имеются специальные аукционные залы, в которых продажа просроченных вещей производится ежедневно.

Щегольской бальный фрак, заложенный «в минуту жизни трудную»^[194] в частный ломбард, или золотые часы, отданные «на сохранение» туда же, – испытывают следующую горькую участь, если они не были вовремя выкуплены.

Прежде всего они идут в продажу с аукциона по оценочной стоимости.

Аукцион производится при непосредственном участии «присяжного оценщика» от города, который контролирует добросовестность ломбарда. Если вещь не была продана на двух аукционах, то она поступает в собственность ломбарда, который распоряжается ею по своему усмотрению.

Сделавшись обладателем вещи, ломбард или продаёт её в своём собственном магазине, или-же снова пускает её на аукцион – «с предложенной цены».

Ломбард принимает для заклада всякие вещи и предметы, кроме жидких и сыпучих тел. В магазине ломбарда можно купить «по

сходной цене» и картины, и музыкальные инструменты, и бронзу, и золотые, и серебряные вещи, и одежды, и полотна, и меховые товары, красные товары и т. д.

В особенности – большой выбор готового платья. Прогулявшийся и промотавшийся Петербург снёс в ломбард всё, что возможно заложить – вплоть до бального и «стамесовой юбки^[195]».

Самая наименьшая ссуда – два рубля.

Множество вещей возвращают принёсшим их беднякам обратно, за малоценностью; за них не выдаётся никакой ссуды, даже 1 рубля.

В магазинах ломбарда можно наблюдать интересные типы покупателей и покупательниц, желающих приобрести по дешёвой цене какую-нибудь драповую тальму^[196] или пальто с чужого плеча.

Вот, например, чиновник с Петербургской стороны привёл сюда своих двух дочерей, купить каждой по пальто. С вешалки им то и дело подают пальто. В сотый раз они примеривают на себя, смотрятся в большое зеркало – и пальто оказывается «Тришкиным кафтаном»: то в талии узко, то в плечах широко, то в подоле коротко. Бедняжки уже устали, а не хотят уйти с пустыми руками.

Вон гимназист, быть может, будущий Ломоносов, тоже отыскивает себе пальто в пору.

Приходят сюда покупатели и с Александровского рынка.

Если в магазинах ломбарда покупателями бывает сама публика, зато на аукционах первенствующую роль играют татары и маклаки.

Вы входите в довольно обширное зало. Посреди эстрады навалены целые груды разной одежды, поношенного платья. Впереди расставлены параллельными рядами скамейки. На стенах навешаны таблицы с обозначением №№ просроченных вещей и с обозначением правил аукциона.

Скамейки заняты многочисленной публикой. Преобладают преимущественно хищные типы: торговцы, маклаки, евреи и татары.

Татары сидят отдельно от других и невольно останавливают на себе внимание. Перед вами – целый цветник татарских тюбетеек: и малиновых, и жёлтых, и красных, и зелёных, и бархатных, и простых, и шитых золотом. Все татары хорошо упитаны. Очевидно, покупка вещей на аукционах и перепродажа идёт им впрок. У многих на лицах плутовская, хитрая улыбка. У некоторых татар в руках и на

скамье – целый ворох благоприобретённых вещей. Среди шума и гвалта слышен татарский говор.

Продажа золотых и серебряных вещей только что кончилась. Бриллианщики и золотых дел мастера ушли. Теперь приступили к продаже так называемого красного товара и одежды.

Аукционщик то и дело выкрикивал название продаваемой вещи.

– Продаётся драповое пальто мужское, с предложенной цены.

– Рубль! – слышится чей-то голос.

– Гривенник – кричит кто-то.

– Пятак!

– Рубль пятнадцать копеек! Кто больше? – спрашивает аукционщик.

– Пятак! – раздаётся чей-то голос.

– Так!.. Так!.. – вторят все новые и новые голоса. Причём *так* есть не что иное, как сокращённое «пятак».

Вы то и дело слышите перестрелку: то тут, то там набавляют пятак. Долго продолжалась эта перестрелка, и цена вещи понемногу подымалась в гору... Так!.. Так!..

– Кто больше? – окликнул аукционщик и ударил молотком.

– Раз! Кто больше? Никто?

Вдруг среди всеобщей тишины, со стороны татар раздался чей-то голос – громкий, словно иерихонская труба.

– Полтынный!.. – крикнул один из татар.

– Пятак! Так!.. Снова возгорелась перестрелка, и когда она немного поутихла, снова раздался знакомый грубый голос татарина, с восточным акцентом:

– Полтынный!.. – победоносно выкрикиваете татарин.

– Никто больше?

Воцарилась тишина.

– Тайбулин! Вещь за тобой!

Рослый, толстый татарин, в бархатной тюбетейке, полез в бумажник, а ему в это время принесли с эстрады драповое пальто.

Перед началом аукциона каждая вещь тщательно осматривается маклаками и татарами. Подобно тому, как естествоиспытатель исследует в лупу какое-нибудь насекомое, так точно татары рассматривают на аукционе полотно, шёлковые ткани, одежду и проч. Купленный вещи они перепродают с хорошим барышом.

Этим делом занимаются исключительно нижегородские татары.

- Куда вы сбываете вещи?
- В Александровский рынок продаём!
- И больше никуда?
- В провинцию отправляем! В Новгород, в Псков!
- А на Нижегородскую ярмарку петербургская одежда идёт?
- Как-же! Идёт! Наши на ярмарке петербургским старьём торгуют!
- Где-же именно?
- А там есть «Ярославский ряд!» – одежей торгуют...
- Много отправляете?
- На десятки тысяч!

Долго ещё продолжался аукцион. На этот день пущено было в продажу 500 номеров, преимущественно одежды. Большинство №№ были куплены татарами. По окончании аукциона, когда все уже расходились, один из татар с самодовольной улыбкой рассматривал приобретённые вещи, стоя у окна.

– А что, «князь», дёшево купил?

На аукционе бывают почти всегда одни и те-же покупатели – маклаки и татары.

Фамилии каждого из них известны аукционщикам.

В столице насчитывается до десяти тысяч татар. Живя вдали от родины, татары, однако же, крепко держатся религии и обычаев своих предков и не смешиваются с другими элементами столичного населения. Так в Петербурге они имеют свои молельни, конебойни и мясные лавки.

На конебойне ежегодно убивается семь тысяч лошадей. Татары имеют четыре мясных лавки. При входе в татарскую мясную лавку вы заметите над дверями прибитую вывеску, на которой нарисован конь вместо нашего быка. На вывеске надпись: «Торговля мясом из татарской общественной конебойни». Отборная вырезка конины для бифштекса стоит 8 —10 копеек за один фунт.

Лошадей для убоя татары покупают на Конной площади^[197], где бывает торг лошадьми. Многочисленные барышники снуют около своих лошадей, расхваливая прекрасные качества их! Обыкновенно, каждый покупатель тщательно осматривает у лошади зубы, ощупывает мышцы, треплет лошадь по шее, тянет за хвост.

На Конной площади продают и старых заезженных лошадей, негодных более для работы. Этих «росинантов» покупают татары, но

только никому уже не перепродают, а оставляют для себя – на потребу, на убой.

Тридцать отборных кляч уныло стояли, повесив головы. Казалось, если они тронутся с места, то загремят своими костями. Подъезжает какой-то чухонец на малорослой лошадёнке с потёртыми до крови боками и с оттопыренными рёбрами. Не слезая с саней, чухонец начинает торговаться с татаринном.

– «Князь», купи рысака!

– Продай!

– Много-ли дашь?

– Три рубля!

– Мне за неё шесть давали...

– Давали, да, видно, денежки не считали! – бойко ответил татарин.

Чухонец поехал дальше. В это время привели рослую вороную лошадь, чёрную, как ворон. Некогда это была «буцефал», а теперь от него остался только один скелет, из больной ноги сочилась кровь. Татары окружили лошадь, осмотрели больную ногу и начали говорить между собой по-татарски. По-видимому, происходило нечто в роде консилиума.

– На убой! – решил один из татар.

– Как цена?

– Пятнадцать рублей.

– Пять рублей!

– Пять с полтиной!

– Шесть рублей!

Один за другим татары начали набивать цену.

С приподнятой больной ногой бедное животное своим печальным видом невольно вызывало к себе участие. Увидя большое стечение народа около хромой лошади, подошёл к ней и татарин-живодёр.

– Живодёр идёт! Живодёр идёт! – произнёс кто-то; толпа расступилась, давая дорогу.

Смотря на лошадь и опершись на свою длинную палку, живодёр громко и отчётливо произнёс:

– Кожа да кости!..

– Шесть с полтиной!.. Цена шкуры...

Все молчали.

– Никто – больше?

И лошадь осталась за ним.

К вечеру торг прекратился, и барышники – русские, татары, цыгане и чухны, – стали мало-помалу разъезжаться. Лениво переступая ногами, тронулись и лошади, предназначенные на убой.

– Ну, тругайтесь, на отдых! – крикнул татарин, хлестнув кнутом заморённых кляч.

Татарских молелен три: одна помещается на углу Николаевской улицы и Разъезжей^[198], другая – на Лиговке^[199] и третья – против Полицейского моста^[200].

Соответственно этому, все мусульмане, живущие в Петербурге, подразделяются на три прихода.

Первый приход – самый большой, к нему причислено около трех тысяч человек нижегородских, симбирских и пензенских татар – халатников, разносчиков, извозчиков, дворников.

Ко второму приходу причислены преимущественно касимовские татары: официанты разных петербургских ресторанов и буфетчики на станциях по Николаевской железной дороге. Все буфеты по Николаевской железной дороге, вплоть до самой Москвы, содержатся татарами; прислуга в этих буфетах, официанты и лакеи – тоже татары.

Весь этот лакействующий персонал причислен ко второму магометанскому приходу в Петербурге и в религиозно-нравственном отношении подчиняется ахуну Атауди Баязитову. Этот, так сказать, лакейский приход – самый богатый в материальном отношении.

Наконец, в Петербурге живёт немало татар, состоящих на государственной службе, например, солдаты из татар.

Для них учреждён особый «военный магометанский приход».

Одна из самых больших татарских молелен в Петербурге помещается над трактиром – факт, вызнающий невольную улыбку^[201].

Татары сами сознают это неприятное соседство молельни с трактиром, но мирятся с этим неудобством, потому что трудно найти большое помещение за такую, сравнительно, недорогую цену, какую они платят.

Каждую пятницу, ровно в полдень, в молельню собирается от трехсот до шестисот человек татар. Это все – старые наши знакомые, которых мы каждый день видим на улицах: халатники, торговцы платками и казанским мылом, дворники и т. п.

Нарядившись в праздничные костюмы, татары, миновав трактир, поднимаются вверх, в молельню. Некоторые из них одеты в шёлковые пёстрые халаты, на голове – белая чалма: верный признак, что «правоверный» побывал в Мекке и Медине на поклонение гробу Магомета.

Поднявшись наверх на площадку лестницы они снимают калоши или валенки и входят в молельню.

Молельня представляет собою большое зало, с невысоким потолком. На полу постланы ковры. В переднем месте, обращённом на юг, стоит стол, покрытый зелёным сукном. Здесь лежит алькоран – священная книга мусульман.

Каждый татарин, входя в молельню, приносит с собой коврик, который он расстилает на полу, и становится на него сам.

Богомольцы становятся в молельне параллельными рядами. Кто пришёл раньше, тот занимает свободное место в первых рядах; опоздавшие стоят позади и не лезут вперёд, не толкают своих товарищей. На стенах молельни нет никаких украшений, если не считать нескольких изречений из Корана, начертанных золотыми буквами на арабском языке.

Большую часть времени, когда совершается богослужение, татары сидят, поджавши ноги – по-восточному и нагнувши головы вперёд, на грудь, в созерцательном настроении. Некоторые из них закрывают глаза.

Звуки трактирного органа слабо долетают в молельню...

Мулла одет в белую, как снег, чалму и в пёстрый шёлковый халат.

В молельне, среди всеобщей тишины и воздыханий, раздаётся заунывное, печальное пение муллы: это он поёт стихи из алькорана.

Все татары сосредоточенно слушают...

У кого нет чалмы, те сидят в шапках. Вход женщинам в молельню безусловно воспрещается. Посторонними лицам, из русских, вход не возбраняется.

Группа петербургских татар, «халатников», в своей молельне производит своеобразное впечатление. Воображение невольно переносится к временам давно минувшим, к временами Куликовской битвы, когда, по выражению Карамзина, «инди татары теснили россиян, инди россияне теснили татар».

Кончилась молитва и татары стали расходиться. При выходе из молельни на лестнице стояло несколько татарских мальчишек-нищих, которые плаксивыми жалобными голосами выпрашивали у «правоверных» милостыню. Татары, что побогаче, охотно подавали.

Гражданские «ахуны» избираются на этот пост самими татарами; они же платят им и жалованье. На наём приходской молельни и содержание ахуна каждый татарин уплачивает по 20 копеек в 1 месяц. Богатые татары жертвуют больше, смотря по усердию.

Раз в месяц ахун обходит квартиры «правоверных», собирая с них добροхотную лепту.

В административном отношении, ахуны подчиняются оренбургскому муфтию, который экзаменует их и утверждает в соответствующих должностях.

Татары давно уже хлопчут об устройстве в Петербурге своей собственной мечети. Устройство мечети разрешено им^[202].

С 1882 года между татарами производится сбор денег – на мечеть. До сих пор собрано 20,000 рублей.

Татарский ахун совершает и разные «требы», например, обряд бракосочетания. По словам ахуна, в Петербурге большинство татар – холостые; редкий из них женатый. Кто имеет две жены, тот одну из них оставляет на родине, чтобы она смотрела за хозяйством, а другую берёт с собою в Петербург. В Петербурге двух жён не держит почти ни один татарин, потому что и одну жену прокормить тяжело.

Татарской школы в Петербурге нет, а магометанский ахун обучает татарских ребятишек и грамоте.

Книги, молитвенники и алькоран печатаются или в типографии при Академии наук, которая, как известно, имеет восточные шрифты, или при университетской типографии в Казани.

Лакейский приход представляет собой своего рода аристократию среди петербургских татар.

В то время, как татарин-халатник трётся преимущественно около бедного столичного люда, татарин-лакей имеет дело с богатой состоятельной публикой.

В самых людных кухмистерских и ресторанах столицы прислуга состоит из татар. Они даже содержат татарский трактир «Самарканд».

Являясь в ресторан в качестве лакея, татарин облачается во фрак и крахмальную рубашку, но и в этой новой шкуре вы сразу отличите

знакомого татарина по его физиономии.

Буфет на Николаевском вокзале, где в течении дня перебивает тысячи народа, содержится касимовскими татарами.

Здесь татары имеют свои погреба и склады продуктов. Уплачивая около десяти тысяч рублей в год администрации железной дороги аренды, татары-лакеи все-таки имеют хорошие барыши: шесть касимовских деревень кормятся на эти деньги, собираемые в буфете с публики за «рюмку коньяку» или «порцию чаю».

Кроме того, бывает ещё подачка «на чай». Должно быть, эти «чайные» деньги очень велики, если у татар-лакеев имеется общая кружка, куда опускаются только полтинники. Подачку же меньше полтинника каждый лакей берёт себе, как мелочь.

Разбогатев в Петербурге, татары-лакеи не приобретают здесь дома и прочее недвижимое имущество, подобно другим; нет – все богатство, накопленное трудом и счастьем, они отправляют в свой родной Касимов. В Петербурге нет ни одного татарина- домовладельца.

Они не питают к столице особенных симпатий и на свою жизнь здесь смотрят как на временное пребывание ради заработка.

Крючошник

В Петербурге тысячи мелких тружеников заняты собиранием костей и тряпок. Благодаря тряпичникам, разные кухонные отбросы от великого города снова поступают в обращение – на фабрику, где из них продуктируют разные полезные стоимости.

Если в каждой отдельной семье неизбежно бывают отбросы костей и обносков тряпья, то что сказать про нашу северную столицу с её миллионным населением?

Не мудрено поэтому, что в столице тряпичное дело разрослось до больших размеров, и оно будет увеличиваться ещё более по мере роста столичного населения.

Многочисленные труженики, которые кормятся благодаря тряпичному и костяному промыслу, подразделяются на несколько типов. Так, например, известны «крючошники», тряпичники, хозяева – маклаки, «тряпичные тузы» и т. п.

Все эти типы резко отличаются один от другого, как по внешнему быту, так и по своему экономическому положению.

Обозрение наше мы начнём с самого младшего члена тряпичной корпорации, именно – с крючошника.

Вероятно, некоторым читателям неизвестно и самое слово *крючошник*.

Этим именем в Петербурге называют тряпичников, которые ходят по мусорным ямам, отыскивая в них разные отбросы.

Не следует смешивать крючошников с крючниками, которые на Калашниковской пристани таскают кули с мукой.

Покойный профессор Лесного института Лачинов^[203] написал, между прочим, химический анализ мусорных ям. Эта его работа специалистами считается одной из самых капитальных.

Фи! Какая мерзость! – скажет «приятная дама во всех отношениях», не нашёл профессор предмета, более достойного исследования...

Смею уверить прекрасную читательницу, что петербургская мусорная яма представляет большой интерес не только для учёного химика или гигиениста, но и для бытописателя-этнографа.

Как известно, мусорная яма имеется в каждом доме, будь то хоть пышные палаты богача, или убогая лачуга бедняка.

Обыкновенно, мусорная яма помещается где-нибудь на задворках, но тем не менее от неё идёт аромат на весь двор. Со двора этот аромат подымается в воздух – для удовольствия петербургских обывателей.

Проходя мимо неё, каждый благородный человек, конечно, поспешит зажать себе нос. Накопляясь с годами, аромат от мусорных петербургских ям грозил бы совсем задушить обывателя, если бы не западные ветры с моря, которые несколько освежают городскую атмосферу.

Мусорная яма создается дворниками, при деятельном участии жильцов. Ежедневно по утрам дворник обходит по «чёрной лестнице» квартиры и собирает разные кухонные отбросы, которые и относить в мусорную яму.

Так как в некоторых домах насчитывается сотни квартир, то можно себе представить, какую массу мусора наносит дворник в мусорные ямы.

Кроме учёных специалистов, гигиенистов и бытописателей, единственный человек, который интересуется мусорной ямой, это – крючошник.

Крючошники живут где-нибудь на окраинах города, в «углах», платя за «угол» каких-нибудь полтора рубли в месяц. У крючошника имеется маленький сарайчик для склада добычи. В этом сарайчике у него висит его рабочий костюм – грязное, рваное рубище.

Отправляясь на работу, крючошник одевается в рубище. С просторным мешком за спиною и железным крюком, насаженным на древко, он идёт в первый попавшийся двор и пробирается к мусорной яме.

Пока обыватели столицы ещё спят, крючошник уже орудует в мусорных ямах.

Положив мешок на землю, крючошник принимается разрывать мусорную яму при помощи своего железного крючка, отыскивая в ней добычу.

В это время к мусорной яме то и дело подходят дворники, выбрасывая разный мусор.

– Бог помощь, старина!

– Благодарствуй... А ты меня чуть не облил давеча...

– Да ты так притаился тут, что тебя и не заметишь.
– Ничего, ничего... Назвавшись груздем, полезай в кузов...
– Вот тебе добыча! Сказал дворник, выбрасывая мелкие отрезки тряпья.

– Откуда это?

– Из белошвейной мастерской! Крупные-то обрезки в человеколюбивое общество отсылают, а мелочь бросают!

– Пошли им Господь всего хорошего!

– А что, старик, правда ли, что вы иногда серебряный ложки находите?

– Серебряные! Хе, хе, хе... Где их найти-то?

– Случается, что кухарка с салфетки стряхнёт ложку в мусор...

– Другие находят, а я нет... Зато раз я нашёл такую находку, что редкость.

– Какую же?

– Отгадай-ка!

– Бумажник с деньгами?

– Нет! Лучше!

– Что бы это такое?

– Не угадаешь.

– Ну скажи!

– Ребёнка нашёл, малютку!

– В мусорной яме!

– Да! Новорождённого младенца!

– Бросил кто-то, как щенка...

– Экие люди на свете Божиим есть...

– Ну, что же ты?

– Пошёл, заявил в полицейский участок!

– Ну-с, дальше что?

– Что? Известное дело! Подкидыша взяли, составили протокол и отослали в Воспитательный дом!

Крючошник, нагрузив мешок и сгибаясь в три погибели под тяжестью добычи, пошёл в следующий двор.

На пути он встретил другого крючошника.

– Здорово, товарищ!

– Рыбак рыбака видит издалека!

– Что, все обобрал?

– Ступай, ещё хватит и на тебя!

Что добывает крючошник из мусорных ям?

Всё, что попадает: кости, тряпки, рваную бумагу, битое стекло, жестяные коробки, старое железо, пробки, шпильки, булавки и т. п.

Таким образом, видно, что крючошник получает свой товар даром, не платя за него ни гроша. Посещают крючошники и загородную свалку городского мусора, копаясь в нём, точно гиена.

Ежедневно, рано утром, можно видеть, как по улицам Петербурга, точно трудолюбивые муравьи, пробираются к себе домой крючошники, с громоздкою ношею за плечами. Роясь в грязи, крючошник и сам бывает грязен.

Лицо и руки у него в грязи. От рваной одежды, у которой «возле каждой дыры по заплате» разит зловонием. Чтобы своим прикосновением невзначай не испачкать какого-нибудь мимо проходящего столичного франта или франтиху, крючошник никого не решится идти по панели, он идёт посредине улицы.

Вернувшись домой, крючошник уселся на тумбе, возле сарая и принялся сортировать своё добро, при этом на весь двор заливался звонкой песней, видимо довольный своим дневным заработком.

По субботам крючошник сбывает свой товар маклакам, которые дают ему дальнейшее направление: кости продают на костеобжигательные заводы, холщовые тряпки и рваную бумагу – на писчебумажный фабрики, шерстяные тряпки – на ткацкие фабрики, железо тоже находит свой сбыт.

Любопытно, что пробки из мусорных ям снова поступают в обращение: именно тщательно промываются и продаются в портерные лавки – для закупорки бутылок.

Ежедневный заработок крючошника, средним числом, достигает 50 копеек, что составляет 15 рублей в месяц, каковые деньги добываются из мусорных ям.

В течение года все петербургские крючошники выуживают из мусорных ям на два миллиона рублей разных отбросов и прочей дряни. Вот какие богатства заключаются на дне помойных ям! Иногда крючошник ходить вместе со своей женой, причём жена, обхаживает рынки, собирая рваную бумагу, а сам крючошник промышляет по мусорным ямам.

Тряпичник (Костяник)

Кроме крючочников, которые шныряют по задворкам, по мусорным ямам, в Петербурге есть многие тысячи тряпичников, которые ходят по дворам «на крик» и покупают костяной и тряпичный товар за деньги. Петербургский тряпичник – самый обыденный, уличный и дворовый тип нашей столицы.

С просторным мешком в руках тряпичник входит во двор первого попавшего здания.

– Костей, тряпок!

– Бутылок, банок!

Монотонно выкрикиваете тряпичник, озирая окна пятиэтажного здания.

Раз двадцать окликнул он всё одним и тем же голосом, но ответа не было.

– Ну-ка, кликну в последний раз: Костей, тряпок! Бутылок, банок!

– Эй, тряпичник!

– А-а! Зовут!

– Поди сюда!...

Тряпичник глядит вверх, стараясь разглядеть, где это его окликнули.

Наконец, в шестом этаже, под самой крышей, увидел отворенное окно, откуда высовывалось полное и красное лицо кухарки.

– Эй, костяник, поди сюда, аль не слышишь?

И тряпичник, потряхивая мешком, торопливо побрёл на чёрную лестницу.

В ожидании тряпичника, в шестом этаже, в квартире № 000 и двери отворены настежь.

– Здравствуй! Давно тебя ждали! Вот не купишь ли?

На полу стояла целая батарея пустых бутылок, корзинка с костями, в мочальном куле – разное тряпье.

Тряпичник окинул товар опытным взглядом.

– Много ли за все?

– Да что с тебя? Рублик не дашь?

– Рублика много, а гривенничек возьми!

Кухарка и тряпичник начинают горячо торговаться и наконец кости, тряпки и бутылки куплены были за бесценок.

Нагрузив всё это в мешок, тряпичник побрёл в следующий дом.

Целый день тряпичник слоняется по дворам; к вечеру, с тяжёлой ношей он возвращается домой.

Тряпичники живут артелями у хозяина, какого-нибудь маклака, или тряпичного туза.

Экономическая зависимость от хозяина заключается в том, что тряпичник, отправляясь на промысел, берёт от него деньги на покупку товара.

Затем весь накопленный товар, кости, тряпки и проч. дрянь, сбывается хозяину – по рыночной цене.

Сам же тряпичник покупает от обывателя кости и тряпки почти за бесценок.

Разница между покупной ценой и рыночной составляет чистый барыш тряпичника. Обыватель в большинстве случаев не знает рыночных цен на кости и тряпки. Его нисколько не интересует, что дают за эти отбросы на фабрике или заводе. Это на руку тряпичнику.

Обыкновенно по субботам тряпичники сдают добытый за неделю товар хозяину.

Кости и тряпки сбывают на вес, а бутылки счётом.

Как велик размер деятельности тряпичников? Сколько они собирают костей, тряпок, бутылок, банок?

Прежде всего заметим, что вообще тряпичники весьма неохотно делятся сведениями о своей профессии. Свой промысел они хотят сохранить втайне от взоров любопытного.

По словам одного тряпичника, в течение недели каждый из них набирает:

тряпья10 пудов;
костей.....8 пудов;
бутылок..... от 200 до 300 штук.

Рыночная цена тряпья в Петербурге от 1 до 2 руб. за 1 пуд, смотря по качеству, кости – 40 копеек за 1 пуд и бутылок – 3–5 копеек за штуку.

Таким образом, видно, что в течение недели тряпичник набирает от петербургских обывателей костей, тряпок и прочих отбросов – рублей на двадцать пять.

Конечно, львиная часть барышей попадает в руки хозяина. За вычетом стоимости содержания за стол, квартиру, у тряпичника

остаётся 10–15 рублей чистых ежемесячно, которые он и отправляет на родину в деревню.

Летом тряпичники ходят по городу с просторными мешками. Зимой каждый из них везёт за собою небольшие санки – для склада товара. Войдя во двор, тряпичник на время оставляет санки у ворот, на панели. В особенности много тряпичников бывает зимой. Окончив свои полевые работы, многие крестьяне приходят на зиму в Петербург на костяной и тряпичный промысел. Приходят и из далёких мест, например, из Костромской губернии.

В Петербурге насчитывается 31 крупных тряпичников, «хозяйчиков», проживающих в 26 пунктах города.

Эти «хозяйчики» одних только костей перекупают от тряпичников от 2,000 пудов до 100,000 пудов в год. Один из крупных хозяйчиков живёт на Петербургской стороне на Посадской улице. Зимой у него живёт до 150 тряпичников. С утра они разбредутся по городу, идут и через Неву, а к вечеру возвращаются с добычею. На Посадской улице то и дело видишь тряпичников. Некоторые из них везут поклажу на двухколёсной тележке, а то и на ломовиках. Здесь же, на Посадской улице есть и трактир, исключительно посещаемый тряпичниками. Под вечер, когда тряпичники возвращаются с работы, он бывает битком набит ими. Во дворе у «хозяйчика» устроены огромные каменные амбары для склада тряпья, костей, железа, битого стекла, бутылок и прочего...

Упомянутый хозяйчик одних только костей покупает и продаёт до ста тысяч пудов в год, а тряпья, железа, битого стекла и прочего неизвестно сколько. Главными источниками, откуда идут кости, можно назвать следующие: 1) черные лестницы, помойные ямы и городские свалки; 2) казармы, больницы, учебные заведения; 3) рестораны, кухмистерские и разные столовые; 4) колбасные и гусачные^[204] заведения; 5) мясные лавки и 6) частные кухни.

Кроме каменных амбаров, каждый тряпичник имеет маленький деревянный сарайчик, сколоченный из досок и нередко покосившийся на сторону.

Сарайчик это – кладовая тряпичника.

Здесь собраны более или менее ценные предметы, начиная от старых сапог и кончая какими-нибудь поношенными брюками цвета «наваринского дыма»^[205] с искрой». Даже крыша сарайчика и та занята:

нагромождены в беспорядке ломанные железные кровати о трёх ножках, умывальники и т. п.

По субботам вечером, вы непременно встретите тряпичника по окончании дневных работ у него в сарайчике. Он готовится на «развал» на Толкучий рынок. Из груды старых сапог выбирает ту, в которой поменьше заплат.

Кроме «хозяйчиков», которым тряпичник продаёт кости, тряпки, бутылки и банки, он имеет дело ещё и с петербургскою беднотой: на «развале» он продаёт беднякам разное поношенное старье.

Старые сапоги скупаются от тряпичников оптом и отсылаются в село Кимры Тверской губернии – тамошним сапожникам.

Каждый «хозяйчик» содержит у себя несколько бедных женщин, «сортировщиц», которые сортируют тряпье по качеству. Холщовую льняную тряпку отделяют от шерстяной – первая идёт на писчебумажную фабрику, а вторая – на ткацкую фабрику. Летом сортировщицы работают во дворе: весь двор бывает завален тряпьем, которое в то же время и просушивают на солнце, в ясную погоду. Сортировку тряпья я видал, например, на Гутуевском острове, на самом взморье. Здесь тряпичник рассортировывает тряпье для отправки за границу.

Чтобы судить о размере костяного дела в Петербурге заметим, что на том же Гутуевском острове имеются костеобжигательные заводы. Один из них, самый большой, обжигает костей 1 миллион пудов в 1 год. Во дворе завода навалены такие кучи костей, которые по своим размерам превосходят всякое воображение...

Взобравшись на одну из этих куч, можно обозреть окрестности столицы: сперва видны финские болота, а дальше, на взморье, – рыбацкие тони, и наконец на самом горизонте – синева неба сливается с синевой воды. У подошвы горы, точно гномы, копошатся рабочие, которые лопатами накладывают кости на носилки и уносят их в помещение костеобжигательного завода.

Тряпья добывается в Петербурге ещё более, чем костей: тряпье идёт на писчебумажные фабрики.

Грязные старые бутылки промываются и снова сбываются на водочные заводы.

Таким образом, стеклянные бутылки совершают следующий круг: из пивоваренного или водочного завода они идут в портерные и прочие

подобные заведения, из портерных их вместе с водкой или пивом покупает обыватель; из рук обывателя они попадают в руки тряпичника, а от этого последнего — снова на водочные и пивоваренные заводы.

Все это делается при посредстве услужливого тряпичника.

Нищие

Нищенство в Петербурге год от году усиливается и становится явлением самым обыкновенным. Кроме дряхлых стариков, нищенством промышляют дети и даже женщины с грудными младенцами.

На любой улице Петербурга вы непременно встретите нищих. Но особенно много их бывает зимой, преимущественно накануне рождественских праздников. Знакомая сцена: во время праздничной сутолоки среди шумных улиц столицы, на панели, торчит печальная фигура нищего, свидетельствуя своим умоляющим взглядом, что ему не хватило места на жизненном пиру. Или вы идёте вечером, и видите, что на панели сидит какое-то человеческое существо в рваной одежонке. Шапка с головы снята и лежит на панели. В шапке несколько монет. Для привлечения внимания прохожих, это существо то и дело крестится, как только кто-либо проходит мимо его. Но взгляните на эту жалкую фигуру – и вы тотчас же увидите на её физиономии следы пьянства, бессонных ночей и тому подобные признаки разгульной жизни.

Как только вы поравнялись с нищим, сидящим на панели, он начинает усиленно творить крестное знамение.

– Что ты молишься, ведь я не Бог!

– Подайте убогому, несчастному!...

При этом одна нога у него скорчена и согнута так, что вы готовы поверить, что он, действительно, калека. Но стоит только сказать – вон «городовой» идёт, мнимый калека моментально вскакивает с панели, схватывает свою шапку с монетами и убегает прочь. Несмотря на явное шарлатанство, многие легковверные люди охотно верят мнимому калеке и подают, особенно женщины.

Чтобы разжалобить прохожих и расположить их к себе, профессиональный нищий зимою усядется прямо на снег, ворот рубахи нарочно раскроет и снимет шапку с головы, положив её на панель.

Промышляют нищенством и женщины: те ходят с грудными детьми, которых они взяли у кого-нибудь на прокат. Если ребёнка «по сходной

цене» не окажется, то вместо него за пазуху можно положить и полено. Истинный филантроп никогда не будет наводить справку.

Особенно нищие любят промышлять по кладбищам: например, на Смоленском кладбище, Волковом и т. д.

Нищие, избравшее своею резиденцией кладбище, имеют, так сказать, особый нюх. Они за несколько дней вперед уже знают, что будут богатые похороны, и собираются толпами, точно шакалы.

В изорванных одеждах, нередко с разными физическими недостатками, нищие и нищенки стоят целыми вереницами, выстроившись сплошными шпалерами по сторонам кладбищенских дорожек.

Все они молчаливо ожидают подачки на помин рабы или раба Божьего...

– Смилуйтесь убогому на пропитание!..

– Подайте Христа-ради!

Под влиянием элегического настроения, прохожие, пришедшие: отдать «последний долг», или вспомнить «здесь лежащих», щедро одевают нищую братию. Подавая милостыню, называют и имя усопшего.

– За раба Божьего Ивана!

– За рабу Божию Елизавету!

– Помяни, старичок, раба Божия Николая! – кричит кто-то.

Приняв монету, нищий творит крестное знамение, и возведя глаза к небу, набожно произносит:

– Упокой, Господи, душу раба Твоего... во царствии Твоем! Сотвори ему, Господи, крепкое лежание. Пошли ему, Господи, крепкое лежание!..

Нищая братия пользуется всевозможными видами благотворительности. С утра начинается обход «грошовых благотворителей»: так они называют лавочников разных торговых заведений, которые, обыкновенно, подают «по грошику», и грошик с копейки непременно требуют сдачи.

Некоторые лавочники подают нищим только раз в неделю, по субботам.

– У нас по субботам подают, не прогневайся...

Если в каждой лавке подадут «по грошику», то нищий насобирает немало, потому что лавок в столице многое множество.

В булочных и мелочных лавках нищим подают натурой и никогда не отказывают. На рынках тоже подают натурой: кому луковицу, кому картофелину и т. п. Отправляясь на рынок, нищие берут с собою просторные мешки.

В праздничные дни многие торговые заведения запираются по утрам, и тогда нищие промышляют около церквей, на папертях церковных.

Вытянув руки для приёма подаваний, они стоят у церковных дверей.

Нищенство в Петербурге представляет профессиональный промысел, которым занимаются тунеядцы, отвыкшие от работ.

Стоит только присмотреться к разным представителям петербургского нищенства, чтобы заметить, что этим промыслом занимаются, преимущественно, все одни и те же лица. Разница только та, что в одну неделю вы встретите знакомого субъекта на одной улице, а на другую неделю, смотришь, он уже торчит на другой улице.

Впрочем, некоторые нищие отличаются замечательными постоянством – к одному и тому же месту.

Вот вам, например – благообразная, слащавая старушка. Одета весьма прилично. Её вы встретите на одной из самых лучших улиц Петербурга. Она постоянно стоит около какого-нибудь парадного подъезда роскошного многоэтажного дома и терпливо поджидает свою жертву. Как только к парадному подъезду подкатит карета и из неё выйдет кто-нибудь, нищенка-старушка моментально бросается к карете.

– Не будете ли так добры, подать от щедрот ваших бедной старушке, на пропитание!

Точно также, кто выходит из подъезда, старуха опять тут, как тут. «Господа» подают ей серебряными монетами. Нищенский промысел около парадных подъездов богатых домов настоль выгоден, что у старухи водятся деньжонки.

Полицейские городовые обязаны забирать нищих и отправлять их в участок – для дальнейшего следования в «Комитет для призрения и разбора нищих»^[206]. В течение года в «Комитет» поступает с улиц Петербурга до двенадцати тысяч нищих – мужчин, женщин и детей.

В канцелярии «Комитета нищих» каждому вновь прибывшему нищему составляют так называемый «разборный листок», в котором имеются следующие рубрики: имя и фамилия, звание, возраст, особые

приметы, состояние здоровья, вероисповедание, причины, побудившие к прошению милостыни, ремесло, место нищенства. Еженедельно, по четвергам, происходит заседание администрации комитета, которая производит сортировку, разбор нищих. Дряхлых и больных отправляют в богадельни и больницы, здоровых – на фабрики и заводы, праздношатающихся и бродяг – к мировым судьям, которые обыкновенно за бродяжничество приговаривают их в тюрьму. Отбыв наказание, праздношатающиеся и замеченные в прошении милостыни отсылаются – по этапу на родину.

Но вернувшись оттуда, они снова принимаются за нищенство.

Кухня гусачника

Как известно гусачником называют в Петербурге торговца, который торгует гусакom, «бычачьими потрохами», или ливером как они выражаются, а именно: лёгкими, селезёнкой, сердцем, печёнкой^[207]. Кроме того, им же идёт и бычачья «башка» и оболочки желудков (рубцы, сычуги).

Гусачник – главный и единственный поставщик мясных продуктов для «съестных лавок», «дешёвых закусочных», «уличных ларей» и, наконец, для пресловутого обжорного ряда на Никольской площади.

Таким образом, гусачник поставляет мясо по сходной цене для петербургских бедняков, фабричных рабочих, мастеровых, мужиков и т. п.

В Петербурге насчитывается 6 гусачников, которые имеют гусачные заведения или кухни для вываривания дешёвого мясного товара. Двое гусачников – на Петербургской стороне – на Белоозерской^[208] и Олонецкой^[209] улице; один – на Ямской^[210]; один – за Нарвской заставой^[211], один – в Московской части^[212] и один – на Васильевском острове^[213].

Гусачники получают товар на городской бойне.

Обыкновенно, каждый гусачник заключает с «быкобойцем» контракт на определённое время, например, на 1–2 года; в силу этого контракта быкобоек обязан все потроха с убитых быков сбывать гусачнику по известной цене, раз установленной на целый год.

Сколько бы быков быкобоек не убил, он обязан сдавать гусаки гусачнику по 3 рубля 50 копеек с одного быка. Принимая во внимание, что в Петербурге ежегодно убивается около двести тысяч быков, надо допустить, что годовой оборот всех петербургских гусачников простирается до весьма почтенной цифры, именно шестисот-семисот тысяч рублей.

Вследствие упомянутого контракта, ни в одной мясной лавке вы не купите, например, бычачьего языка, а должны отправиться за ним к гусачнику, потому что бычачья башка, вместе с гусакom, тоже попадает к гусачнику. Хотя «лёгкие» и «печёнка» наравне с говядиной, продаётся почти в каждой мясной лавке, но и эти продукты попали

сюда не иначе, как опять-таки через руки гусачников. Словом, гусачники постарались, чтобы их продукт, в сыром или варёном виде, поступал для публики не иначе, как через их кухню.

Что же касается количества гусачного товара, то приведём следующие цифры. Гусак черкасского быка даёт:

лёгкое с дыхательным горлом.....	10 фунтов;
сердце.....	6,5 фунтов;
печенка и селезенка	15,5 фунтов;
рубец.....	16 фунтов.

Итого.....48 фунтов.

Вместе с бычачьей «башкой» гусачник получает с бойни с каждого быка около двух – трех пудов мясных продуктов. Все гусачники столицы вывозят с бойни к себе в заведения около пятсот-шестьсот пудов мясного товара.

Размер производства не у всех гусачников одинаков. Между ними есть такие, которые ежедневно вывозят с бойни по 10 телег, нагруженных бычьими сердцем, лёгким, печёнкой, селезёнкой, рубцом и «башкой».

Другие же гусачники довольствуются 3–4 телегами в сутки. Для перевозки «гусака» с бойни на кухню гусачника устроены особого рода телеги, обитые внутри цинковым железом, в устранение того, чтобы неизбежная при товаре свежая кровь не расплескалась по городу. Телеги снаружи окрашены в ярко-красный цвет, чтобы замаскировать кровавые пятна с наружной стороны телеги. На задке телеги начертаны инициалы имени и фамилии гусачника и его адрес.

Отправимся к гусачнику.

Не всякий гусачник вас и впустит к себе во двор, подозревая в каждом любопытном – какой-нибудь злой умысел, или опасного конкурента. Может быть, вам даже придётся употребить в дело какую-нибудь стратегическую хитрость, чтоб взглянуть на кухню гусачника. Но коль скоро вы сюда попали, – увидите здесь много интересного. Не забывайте, что на кухне гусачника готовятся дешёвые мясные продукты для беднейшего столичного населения. И смотрите на всё с этой точки зрения. Не возмущайтесь, если уже издали, когда вы будете подходить к кухне гусачника, неприятный запах ударит вам в нос.

Двор у гусачника вымощен плитняком, посредине – решётка для стока нечистот. Плитняк кое где перепачкан запёкшеюся кровью, кое-

где валяются мелкие кусочки лёгких, печёнок и т. п. Во дворе стоят красные телеги, покрытия рогожей. Гусачник только что привёз с бойни свой товар. Рабочие перетаскивают этот товар на кухню.

Перед вами – оригинальная кухня гигантских размеров. Вы входите в большой каменный сарай.

Пол в сарае тоже вымощен камнем. Посредине – отверстие для стока нечистот. Возле стены в сарае стоят четыре огромных котла, вмазанные в печи. В каждый котёл вливается до 30 ушатов воды, в которую валом валят или гусаки, или бычачьи башки.

В одном котле варят щековину, в другом – лёгкое и т. д. В котёл опускают сразу от 50 до 60 бычачьих голов, из которых вываривают сало. Вываривание продолжается часов 7–8, до тех пор, пока не убедятся, что сало с башки сошло «на нет», и когда мясо на голове приняло вид мочала. С бычачьей башки мясо, главным образом, добывают со щёк, отчего оно и называется щековиной. От каждой башки получается около 20–30 фунтов щековины.

Эта хорошо проваренная щековина и идёт в «съестные лавки», «дешёвые закусочные», «обжорный ряд» и «уличные лари», рассеянные в разных местах города.

Можно представить себе, какова должна быть питательность щековины! В своих интересах, гусачник варит ее до тех пор, пока не получит с неё всего.

Бычачья башка даёт сала около 3 фунтов. Головное бычачье сало в продаже считается самым лучшим и продаётся по 22 копейки за 1 фунт.

Гусачник с бычачьей башки получает следующие продукты: 1) язык, который они продают по 60 копеек, и даже до 1 рубля за штуку, 2) бычачий мозг – 25 коп., продают в мясные лавки; бычачьи языки идут в колбасные лавки; 3) щековина – в закусочные и съестные лавки для простонародья, по 5–7 копеек за 1 фунт; 4) сало на разные заводы, по 15–20 коп. за 1 фунт и, наконец, 5) кости по 1 копейке за 1 фунт, на костеобжигательные заводы.

Приготовление «рубцов» происходит особым образом. Сперва бычачью требушину кладут в особый чан с кипятком, чтобы содержимое её, которого иногда бывает до двух пудов, отошло, отстало поскорее. Вынув из чана, её вешают на крюк возле стены, которая обита листовым цинковым железом – в видах гигиенических. На двух

стенах вбито до 20 крючков. Вдоль стен, на земле стоят длинные колоды. Посредством металлических пластинок требушину очищают от содержимого, которое падает в колоду. Содержимое «рубца» у гусачников называется «очисткой». Эта «очистка» зря тоже не пропадает. Полсотни рубцов дают около семи ушатов «очистки», которую покупают немцы-колонисты, по 30 копеек за 1 ушат, для откармливания свиней^[214].

Сильные руки рабочего свёртывают сычуг на столе, в виде скатанного солдатского плаща, и перевязывают в нескольких местах мочалами из мучных кулей.

Золотая бахрома рубца обыкновенно обращена во внутрь. Когда наберётся до 100 рубцов, то эту гору опускают в котёл, где её время от времени мешают. Для этой цели служит огромная деревянная мешалка с поварёшкой соответствующих размеров на конце.

В самой кухне стоит непроницаемый пар. У дверей кухни – большая куча костей и несколько бочонков с топлёным салом. Далее – огромные весы для взвешивания отпускаемых товаров. Во дворе рабочие на особых деревянных тумбах разрубая топором бычачьи башки и вынимают оттуда мозги и языки.

У каждого гусачника имеются свои места, куда он сбывает изготовленные продукты. Три раза в неделю, в скоромные дни, нагрузив телегу рубцами, щековиной и печёнкой, гусачник отправляется ездить по городу, завёртывая в каждую съестную лавку и останавливаясь перед каждым уличным ларём – с предложением, не надо ли чего купить? При этом гусачник посетит и городские окраины, проберётся куда-нибудь на Охту или в Новую деревню, где только обитает бедный люд. В одних телегах он развозит варёные продукты его кухни; в других же телегах развозит эти же самые продукты в сыром виде по мясным лавкам. Мясной торговец из своей лавки эти продукты продаёт уже покупателям, тоже преимущественно беднякам.

Гусачник отправляется ездить по городу со своим товаром рано утром, часов в 6 утра, и возвращается поздно вечером.

В постные дни, по средам и пятницам, он не ездит, потому что в эти дни спрос на его продукты бываете меньше. Простонародье нередко соблюдаете в эти дни пост.

Гусачники наживают с бедного люда огромные барыши. Достаточно заметить, что из всего «гусака» одна бычачья башка не только окупает

стоимость гусака, но может в оборотах гусачника принести даже чистый барыш.

Башка даёт ему не мало, а именно: щековина (30 фунтов, считая только по 5 копеек за 1 фунт) 1 руб. 50 копеек, язык 80 копеек, мозги 25 копеек, сало около 60 копеек; остаются ещё кости, по 1 копейку за 1 фунт – около 25–30 копеек. Итого одна бычачья башка даёт ему уже уплаченные за гусак 3 с половиной рубля., считая почти по самым низким ценам. Теперь можно представить себе барыши гусачников, если каждый из них в течение года обрабатывает по несколько десятков тысяч гусаков, вместе с бычачьими башками!

Оттого в короткое время все они составили себе хорошие состояния, тем более, что гусачников на весь Петербург насчитывается только шесть человек, а дело само по себе огромное. Все они между собою солидарны, и цен друг другу не сбивают.

Если к стоимости гусачного товара на бойне, т. е. на рынке, в первых руках, прибавить ещё и выручаемые гусачниками барыши, то надо допустить, что гусачное дело в Петербурге оценивается гораздо более чем в 1 миллион рублей! Вот какова кухня гусачника.

Обжорные ряды

Из кухни гусачника дешёвые мясные продукты поступают в Обжорный ряд, уличные лари и закусочные заведения.

Как известно, «обжорным рядом» называется всенародная дешёвая кухня под открытым небом, в которой бедняк может по самой низкой цене найти себе пропитание. Сообразно карману покупателя, цены на продукты – самые дешёвые, общедоступные.

Обжорный ряд помещается в центральной части города, на Никольской площади.

Никольская площадь – эта биржа для найма чернорабочих – каменщиков, плотников, землекопов, дворников, кухарок, горничных, подёнщиц, капорок^[215] для огородов, ломовщиков и проч. В особенности много народа бывает в летнее время, с мая по сентябрь месяц. Из внутренних губерний России по Николаевской железной дороге с дешёвыми поездами, в так называемых «воловых вагонах», приезжает на летние заработки до шестидесяти разного чернорабочего люда.

Всё это преимущественно мужики, крестьяне. По приезде в столицу, кто не поступил «на место» прямо к хозяину, те идут на Никольскую площадь наниматься.

С котомками за плечами, с топорами, пилами и прочими инструментами стоят на площади многочисленные рабочие, в ожидании найма.

С другой стороны, столичные бедняки, угловые жильцы, обитатели подвалов, разного вида пролетарии идут в обжорный ряд – пообедать.

Чернорабочие, каменщики и плотники нанимаются рано утром; капорки – по воскресным дням. Разного рода прислуга, кухарки, горничные, няньки и т. п. нанимаются с утра до полудня.

Кто не нанялся никуда, те стоят на площади целый день. Правая половина площади всегда полна народом.

Вот здесь то и помещается обжорный ряд. Для него выстроены от города деревянные балаганы, окрашенные охрой, которые сдаются городской думой в аренду торговцам и торговкам.

Всего три балагана, с шестнадцатью «номерами».

В главном большом балагане насчитывается десять номеров, которые сдаются с аукциона рублей по пятьдесят в год.

Торговый «номер» в обжорном ряду есть ничто иное, как отдельный стол, человек на 30–40, куда садится публика.

Около этого стола, на переднем конце, стоит кухонный стол, где навалены целыми грудями мясные продукты: щековина, рубец, сычуг, лёгкое, печёнка, сердце, горло и дешёвая колбаса. Тут же стоят весы.

На табуретке, для подогревания кушанья, стоит медная четырёхугольная жаровня с довольно вместительным цинковым противнем наверху. Внизу жаровни постоянно тлеют уголья, которые нагревают противень и кипятят «бульон». В противне лежат куски щековины, легкого, сердца, рубца, перевязанного мочалом, колбасы и т. д. По мере расходования бульона для приходящих покупателей-едаков, торговец то и дело подливает из ведра воды, которая и пополняет все время расходуемый бульон. Для придания ему желтоватого цвета, бульон «подкрашивается» мелко искрошенным поджаренным луком.

На деревянных столбах, подпирающих крышу, висят связки колбасы. На столах, обитых клеёнкой, стоят глиняные чашки, лежат в беспорядке деревянные ложки. В бутылках разведена жидкая горчица. В деревянных солонках – соль.

В обжорном ряду чернорабочий или какой-нибудь бедняк может пообедать за 5 копеек, и именно: 2 копейки стоит хлеб и 3 копейки щековина с бульоном. Обыкновенно, покупатель, подойдя к дымящейся жаровне, и глядя на плавающие куски щековины, печёнки и т. п., говорит, что ему надо, какой кусок.

– Щековины на копеечку!

– Печёнки на копеечку!

– Колбаски на копеечку!

Торговец вынимает из жаровни облюбованный «лакомый кусочек», кладёт его на деревянную доску и, обходясь без помощи вилки, режет его на мелкие куски, кладёт их в чашку и подливает деревянным уполовником «бульону». Товар отпускается «на глаз»: на копейку – поменьше, на две – побольше, а на три – ещё побольше. Некоторые посетители садятся за стол и едят тут же, другие берут с собой печёнки или рубца, и уносят на квартиру куда-нибудь в «угол», в

подвальный этаж. При этом мясной товар, изрезанный на куски, завёртывается в бумагу.

Когда сычуг или печёнка покупается «на вынос», то торговец непременно спрашивает у покупателя, не надо ли «погорчить и посолить»? Получив утвердительный ответ, он даёт покупателю щепотку соли и подливает разведённой горчицы – из бутылки заткнутой пробкой – с маленьким отверстием посередине для выхода горчицы.

В каждом «номере», около стола, прислуживают два человека: один отпускает товар, а другой помогает.

Случается, что товар берут и на вес, по следующим ценам: щековина 8 копеек за 1 фунт, рубец 8 копеек/фунт, лёгкое 5 копеек/фунт, студень 4 копеек/фунт, сычуг 8 копеек/фунт, колбаса 8 копеек/фунт, печёнка 10 копеек/фунт и сердце 12 копеек/фунт.

Торговля в обжорном ряду начинается с 6 часов утра и до 10 часов вечера. Посетители сменяются беспрестанно: одни приходят, другие уходят.

Но в особенности много народа бывает к обеду, в 12 часов, и к ужину, в 8 часов вечера. В это время все столы сплошь заняты простонародьем, серым людом.

По вечерам балаганы освещаются свечами в фонарях, привешенных к стене.

В обжорном ряду торговля – «копеечная», на копейку – сычуга, на копейку – хлеба, на копейку – квасу и т. п. Редко, кто берёт более. К празднику торговцы запасаются «и свининкой, и ветчинкой».

Один из гусачников арендует для себя в обжорном ряду особый балаган, с 4 столами.

Торговля хлебом производится из ларей.

Четыре ларя содержатся одним торговцем, который платит за право торговли городу 375 рублей арендной платы.

Ежедневно «на копеечку» продаётся от 20 до 30 пудов чёрного хлеба.

Как велики размеры «копеечной» торговли в обжорном ряду?

В главном, большом балагане 10 номеров. По словам самих торговцев, каждый из них ежедневно торгует, средним числом, на 10 рублей, в праздничные дни побольше: рублей на 12, на 15, а то и на 20 рублей.

Значит, ежедневно обжорный ряд в Петербурге торгует свыше, чем на 100 рублей. Это только мясными продуктами. Хлеба идёт рублей на 25 на 30 в день.

Копеечная торговля, в своей массе, обращается уже в сотни рублей, а в течение года – в десятки тысяч рублей. Большинство торговцев промышляют в обжорном ряду очень давно. Один из них торгует с 1847 года.

Бок о бок с обжорным рядом устроена «чайная общества трезвости».

Здесь торговля тоже «копеечная». Простонародье приходит сюда пить чай, пообедав в обжорном ряду.

На стенах заведения вывешены объявления: «посетитель получает за 1 копейку кусок сахара и чаю вволю».

Ежедневно в «чайной» перебивается от 700 до 1000 посетителей. Чайная открывается в 5 часов утра и до 9 вечера.

Кто привык видеть «обжорный ряд» с его незатейливою и неряшливою кухней, на того он не производит ничего особенного: на человека же свежего обжорный ряд производит неприятное впечатление. Уже один специфический аромат, разносящийся в воздухе от гусака, и т. д., заставляет вас держаться подальше.

Вместо обжорного ряда, желательно было бы видеть общедоступную народную столовую, организованную на иных началах. От этого бедняк и чернорабочий только бы выиграли в деле своего питания.

Общедоступная народная столовая имела бы экономию в топливе: многочисленные жаровни концентрировались в одной плите. Затем целый штат торговцев и торговок, наживающихся от бедняка сократился бы.

Зимою бедняку не пришлось бы есть свой «хлеб насущный» на холоду и дрогнуть от мороза. Наконец, самый вид обжорного ряда, с его пёстрой, разношёрстной толпой, более приличен для какого-нибудь азиатского города, а не для Петербурга.

Всеволод Владимирович Крестовский
«Петербургский типы» (избранные
главы) [\[216\]](#)

Гнилушница с Чернышева моста

Ещё не так давно было время, когда Фонтанка украшалась старыми Екатерининскими мостами, в том самом роде, образцами которого остаются нынешние мосты Чернышев и Калининский. Мне, и сам не знаю почему, с детства ещё нравились эти мрачной тяжёлой формы гранитные башенки с тяжёлыми цепями. В них есть что-то своеобразное, характерное, что-то стариной веющее.

Я весьма был недоволен, когда переделывали мосты: Семионовский, Семёновский и Измайловский. Правда, они теперь очень легки, широки и даже по-своему изящны, но, увы! это какое-то казённое изящество: гладенькое, безличное, бесхарактерное, которое невольно претит каждому человеку, чувствующему хотя бы какое-нибудь влечение к характерным формам. И часто случается, когда я прохожу по Чернышеву мосту, мне приходит на ум: вот и за тебя, старик, скоро примутся, и тебя похерят, а с тобой и ещё один памятник петербургской старины уничтожат. Конечно, хотя ещё у Петербурга и не Бог весть какая старина, да все-таки пусть уж лучше будет эта, чем вовсе никакой.

Чернышев мост наиболее успел сохранить до наших дней свою старую самобытность и характер. По Чернышеву, от раннего утра и до позднего вечера, не перестаёт сновать и перетасовываться прохожий люд – потому место-то уж очень бойкое. Чернышев мост представляется своего рода торговым пунктом. Особенно по утрам проявляется в нём эта промышленно-торговая сторона. Тут барышники-перекупщики или «*мешки*», как называют их мазурики, у тёмного люда «*вольный товар*»^[217] с рук на руки перекупают, тут появляется лоток, покрытый тряпицей, из-под которой пробивается пар с запахом съестного, а над лотком – промышленно-лукавая рожа нараспев выкрикивает фальцетом:

– Пирог, горячи! С лучком, с квасом, с рыбицей-капустой, с честною говядиной, с тугою начинкой. Пожалуйте-с, с почину!

Рядом с пирогами другой лоток и другая промышленно-лукавая рожа, и другое опять выкрикивание:

– Калачи горячи, что ни есть из печи, сайки московские. Пожалуйста-с!

А на другой стороне, у гранитных перил, старикашка-торговец располагает свою выставку с яблоками, орехами и всяким пряником. Рядом с этим десертом помещается другая выставка, содержание которой нетрудно за несколько шагов угадать по одному только запаху – это изделия «метрдотелей» из гусачных^[218] заведений Вяземского дома^[219], изделия сии суть бычьи внутренности: печёнка и рубцы, которыми можно полакомиться не только за копейку серебром, но и за грош, даже отрежут их, коли угодно, и на медную денежку. Немножко подальше от рубцов и печёнок у спуска набережной останавливаются ручные тележки, и на каждой из этих тележек толстая баба в платке и шугае^[220]. Бабы эти необыкновенно бойки и задирчиво-тараторливы, они то и дело брехают да переругиваются между собой, и каждая старается перекричать друг дружку.

– «Кавалер» или «мужичок поштенный», – кричит обыкновенно такая баба прохожей «сермяге^[221]» или солдатскому «пальту». – Слышишь ты, кавалер! Картофельцы не хошь ли варёной? Только что наварила. Сама варила, вон сейчас вывезла!

«Пальто» или «сермяга» подходит и останавливается перед бабой.

– Картошка что ль? – вопрошает он, хотя сам вполне убеждён, что это именно не что иное, как только картошка.

– Картошка, родимый, картошка, – приветливо отвечает баба.

– Варёная, что ль?

– Варёная, родимый, варёная.

– Да, может, не доспела?

– Ну, вот те и на! Пёс экой, право пёс! Чего лаешься тут? Ты напреж купи да отведай, а потом давай хаять да лаяться. Видно, в карманах-то *звякало* не ночевало? Свищет?

– А ты молчи! Потому – как ты баба – одно слово торговка, так ты и молчи. Покупателей не забижай!

– А сам чего лаешься? Что ж за эфто вашего брата хвалить, что ли?

– Не хвалить, а сказано – покупатель, потому, значат, я и могу.

– Покупатель! Чего кочевряжишься-то? Покупатель... Хорош покупатель, а сам ещё и денег на ладоху не выложил.

– Ну, не сумлевайся! Вот те и деньги. Небось про весь твой товар, пожалуй станет, да ещё и тебя в придачу прихватим.

– Ну да, как же, прихватите! Чего голчить-то! Ты деньги выкладывай! На сколько те картошки-то?

– Вали на копейку!

– Ишь, чёрт! Купил на копейку, а на пятак наругался! Ну уж народец, право! – тараторит торговка, подымаясь с тележки, и из-под седалища своего, коим служил чугунок, наполненный её товаром, и покрытый тряпицей, вынимает она в горсти пять картофелин, кои тут же с рук на руки передаёт своему покупателю.

– Ты что ж это, тётка, сама так на товаре-то и сидишь? – вопрошает он балагурочным тоном, облушивая кожицу.

– Ну так что ж? Сам видишь – сижу! – возражает баба, которая никогда не прочь поболтать или поругаться.

– Греешь его что ль?

– Конечно, грею! Пар мене выходит, – объясняет торговка, упрятывая в карман приобретённый капитал за продажу пяти картофелин.

По утрам около всех этих снабдителей пищей голодного человечества постоянно пребывает серая толпа рабочего люда, алчущего пирогов, печёнки или картофеля. К десяти часам утра толпы этой уже нет, она малу по малу рассеивается, опустошив пирожные лотки и тележки с картофелем, после чего коммерсанты эти удаляются восвояси, либо почить от торговых дел своих, либо запастись новым товаром. Остаются весь день при своих выставках только старикашка с десертом, печёнки с рубцами да саечник.

Но около этого времени на середине моста под сквозными его башенками появляется новая отрасль коммерции, пребывающая тут в неизменном положении до заката солнечного.

Все вышеописанные коммерсанты и коммерсантки – люди более или менее самостоятельные, чувствующие необходимость своего товара для потребителя, и потому они всегда бойки и довольны собой. Это, так сказать, негоцианты-аристократы и капиталисты Чернышева моста. Но кроме них есть ещё своего рода мизерабли, парии Чернышевской торговли; эти-то парии появляются на мосту под башенками в одиннадцатом часу утра для производства своих оборотов. Парии принадлежат исключительно к прекрасному полу. Это тощие хилые согбенные старухи в каких-то лохмотьях вместо одежды, с драночной корзинкой в пол-аршина, или уж много, коли в аршин

длины, – вместилищем её скудного товара. Около девяти часов утра эти жалкого вида существа плетутся нога за ногу своей трясущейся старчески-немошной походкой в направлении к толкучешному переулку. Они пробираются под Щукин^[222], в ягодный ряд, за приобретением необходимого им товара.

Придёт, например, такая старушонка к какой-нибудь ягодной лавке, станет смиренно у входа, перекрестится на икону – и затем поясной поклон господам-торговцам.

– Чего тебе, карга? Зачем пришла? – спрашивает разбитной приказчик в чуйке^[223] и белом фартуке.

– За товарцем, батюшка! За товарцем, родненький! Не откажи, – кланяется ему старуха.

– Зачем отказывать? Товар продажу любит! Какого же тебе товарцу требуется?

– Вестимо, родненький, нашего фрухтового.

– Заплатанного, дырявого, что ли? Ступай в лоскутный, там те отмерят и отрежут, и выдадут сполна, – шутит приказчик.

– Зачем в лоскутный? Мы по малости, насчёт фрухты разной.

– Пониматцы! Стало быть, тебе насчёт фрухтовых удовольствий?

– Оно самое и есть, батюшко, оно самое.

– Ты так и говори! Что ж тебе свежего али тухлого, прокислого?

– Ты мне, батюшко, тронутого положи, порчи этой самой по малости...

– Стало быть, гнилья? Ладно! Чего да чего тебе?

– Ну вот, хоша бы пыльцынчиков.

– Можно! Таких отпущу, что за корольков сойдут! Ещё чего?

– Ну, вишенья, примерно...

– И этого добра можно! Давай три копейки да подставляй корзинку, все за раз вытрушу!

И торговец за какие-нибудь две – три копейки наложит разного бракованного гнилья, которое следовало бы выбросить: апельсинов, прогорклых и до зелёного моху заплесневелых; вишен душенных или, смотря по времени года, груш, слив, яблоков (зимой обыкновенно мёрзлых), и вот с этим дешёвым товаром торговка отправляется себе помаленьку той же самой приниженно-немошной походкой к Чернышеву мосту. Тут уже у неё испокон веку есть одно насиженное местечко под которой-нибудь из четырёх башенок. Местечко,

занимаемое ею постоянно изо дня в день в течение нескольких лет, так что кажется, будто ни это место без неё, ни она без этого места даже и немыслимы, невообразимы.

Вот прибрѣдет себе эта старушенция под башенку, перекрестится на все четыре стороны – чтобы торговля спорее шла, и садится у своей корзинки обчищать плесень, пересчитывать наличное число фруктов и раскладывать товар для привлечения покупателей её, показною, т. е. менее тухлой и гнилой стороной.

С вишнями и красной смородиной поступается обыкновенно таким образом: вынимает старуха предварительно из кармана или из-за пазухи опорок старого нитяного чулка, затем отбирает смородину по пяти веточек, а вишни по пяти ягод, делает из них пучочки, которые обматывает чулочной ниткой и раскладывает по порядку на дне своей убогой корзины, затем, чтобы по денежке, и много уже если по грошу, продать каждый такой пучочек охочему покупателю.

Как скоро товар обчищен, пересчитан, разложен, торговка прислоняется спиной к гранитной стене Чернышевской башенки и в этом спокойном положении, кажись ни разу не изменив своей позы, сидит себе целый день до заката солнечного, и разве только наклонится немного вперѣд, чтобы подать покупателю гнилой апельсин, или пучочек своих вишен.

Зимой мороз и стужа донимают её зябкое тело, а она знай себе сидит посинелая от холоду, да в лохмотья закутаться старается. Осенью дождливой ещё хуже, чем зимой иной раз приходит, потому – дождик как зарядит на целые сутки не переставая, так всю одежину промочит на ней, словно бы она полдня в ушате мокла, а старуха все сидит перед своим товаром, потому ей делать больше нечего, как только сидеть, ибо хозяйка, у которой она привита за полтину в месяц, даёт ей место на полу у печки, где старуха может себе лечь да выспаться ночью, а днём для неё угла не полагается, так как она человек торговый и день при своей коммерции проводит. Вот уж летом так совсем лафа для неё, потому солнышко с утра до вечера припекает и распаривает её древние кости. Чем жарче, тем для неё лучше. Сидит себе старуха, повернѣт свою спину под солнце, и как только проберут её горячие лучи, так и покажется у неё на старческом, безжизненном лице тихо-самодовольная улыбка несмышлёного младенца.

Эти старухи-торговки всегда почти круглые сироты: нет у них ни близких, ни родных, ни знакомых; сами по себе и призор, и забота; некому о них подумать, некому приютить; живёт она себе – и никому до неё нет дела, а умрёт – полиция похоронит. Поэтому ей в её одинокой, холодной и бесприветной старости некого любить, не к кому привязаться – ну вот она и любит Чернышев мост, который приютил её, да солнце, которое порой пригревает её.

Так как она принадлежит к чернышевским париям, то поэтому ни с кем не тараторит, не голчит, а пребывает в ненарушимом уничиженно-смирненном молчании. Она не кричит о своём товаре, и не зазывает покупателей подобно толстой картофельнице. Она молчалива и покорно ждёт той минуты, когда покупатель сам подойдет к ней и спросит:

– Почем пильцыны?

– По грошу штука, батюшка, по грошику по медному.

– Что так дорого?

– В такой уж цене товар стоит, батюшка. Время ноня, сам знаешь, какое!

– Да вишь, ты, гнилой он у тебя совсем!

– Нет, батюшка, он не то, что гнилой, так, порча маленькая есть! Уж что есть, то есть! Про то и спорить не стану.

– Идёт что ли за грош пара? А то и покупать не стану!

– Ну уж что с тобой, бери, батюшка, бери, пожалуй, и парочку, товар хороший, хвалить станешь.

И старуха необыкновенно рада лишнему грошу, ибо грош – это чуть ли не высшая сумма до которой простирается поштучная цена её товара. Торговый оборот такой старухи простирается в день от 6 до 10, и много-много если до 15 копеек, из которых она должна ещё копейки две-три уделять иногда градскому стражу, чтобы тот пребывал к ней благомилостив и не сгонял её с моста. Поэтому неудивительно, что картофельница смотрит с презрением на гнилушницу (о саяичниках с пирожниками я уже и не говорю)! Оборот картофельницы простирается в утро от тридцати до пятидесяти копеек, следовательно, она богачиха и имеет полное право тараторить и сцепляться зуб за зуб со своими товарками и со своими покупателями.

Покупатели гнилушницы в то же время и враги её; это почти исключительно те оборвыши – мальчишки и девчонки – который

неотвязно пристают к каждому прохожему и, попрыгивая у него сбоку, ноют самым надоедливym образом: «Барин миленький голубчик, сироте копеечку Христа ради!»

Такой оборвыш, пользуясь своей неотвязностью, бежит за вами до тех пор пока вы, ради того только, что бы он отстал, дадите ему какую-нибудь мелочь. Как только почувствует он в руке своей монету, так тотчас и бежит либо в лавочку мелочную за леденцом, либо к гнилушнице за апельсином. Чуть вздремнет себе самую малость эта гнилушница, как к ней подкрадется её обычный покупатель и цапает из корзинки первый попавшийся фрукт, что обыкновенно вызывает одобрителный хохот негоциантов-аристократов: они очень любят, когда нищие ребяташки подшучивают над гнилушницами. И гнилушница никогда не побежит в погоню за похитителем, во-первых, не догнать, во-вторых – тронься она только от корзинки, остальные ребяташки тотчас же весь её товар расхватывают; поэтому она ограничивается только шамканьем какой-то должно быть очень сердитой брани, да угрозой своим трясущимся старческим кулаком, что обыкновенно очень утешает вышесказанных аристократов.

Судьба гнилушницы – очень грустная судьба. Впереди для неё – болезнь и похороны в общей яме от полиции, в настоящем – еле хватает на хлеб насущный, а в прошедшем...

В прошедшем гнилушница обыкновенно была одним из двух: либо она обреталась в звании солдатки, жила с мужем в казармах за отдельными ширмами, имела когда-то чепец с розовыми лентами и пила кофе, а соседки с почтением именовали её Ниловой или Прокофьевной. Но умер муж, ресурсов никаких не осталось, подошла старость, немочь, болезнь; в богадельню попасть не всегда удастся, и вот, чтобы не ходить с сумою по миру, Ниловна избрала себе Чернышев мост, завела на нём коммерцию и стала гнилушницей. Это одно, чем она могла жить до настоящего поприща.

А бывает и так, что лет тридцать-сорок тому назад эта самая торговка блистала красотой и нарядами, каталась в экипажах, потом спускалась все ниже и ниже, с Морской улицы переезжала к мадам на Мещанскую, меняла очень много квартир и все-то ниже и хуже, пока, наконец, за наступившей старостью держать больше нигде не стали, а тут подступила болезнь да больница. И затем, малу по малу, дошла до Чернышева моста.

Сидит себе тут такая гнилушница, понуря свою дряхлую удрученную нуждой да беспомощностью голову, сидит и в зной, и в стужу, и на безжизненном лице её ничего не выражается, кроме животного физического ощущения холода или ощущения солнечных лучей. А, может, только от старости это лицо заскорузло и потеряло способность отражать нравственные впечатления дум и воспоминаний, тогда, как и эти думы, и эти воспоминания копошатся в мозгу старухи; проходит перед ней: то позор с нищетой, то позор с блеском её прежних лет и невольно предстает действительность настоящего. И каким бы хохотом ответила она в те далекие времена тому, кто решился бы предсказать ей её же собственную старость на Чернышевом мосту с гнилыми апельсинами.

Кухарка с Гильдейского двора

Отправьтесь летом в шесть утра (а зимой в начале восьмого) по набережной Фонтанки от Чернышева к Семеновскому мосту, и у ворот Мещанской гильдии^[224] вы непременно увидите значительную толпу серого народа, расположившегося кучками вдоль каменной ограды гильдейского дома. Загляните в ворота и там во дворе вам представится другая разнокалиберно-пёстрая толпа женщин. Толпа серая состоит из всевозможных подёнщиков: тут и пыльщики с землекопами, и плотники с каменщиками, и носильщики, и прочий работающе-кочевой люд. В толпе разнокалиберно-пёстрой и необыкновенно тараторлевой – всякого рода женская прислуга низшего, дешёвого разбора, стоящая тут в чаянии места. Есть и горничные, и няньки с мамками, но большинство составляет класс кухарок.

Петербургская кухарка тип совершенно особого рода.

Весь средний небогатый слой петербургского населения, вроде различных немцев, чиновников, ремесленников, магазинщиков, ограничивается обычно одной прислугой. Прислуга эта – кухарка, справляющая дело и за горничную, и за лакея. Поэтому кухарка – необходимое звено в жизни этого среднего небогатого слоя.

У Марьи Ивановны отошла её Мавра. Марья Ивановна в большой досаде, потому – этакое горе – надо идти и отыскивать новую кухарку, да невесть ещё на какую-то на набредёт, просто беда, да и только.

И направляет Марья Ивановна стопы свои во двор Мещанской гильдии. Марью Ивановну тут же со всех сторон обступает уже известная читателю разнокалиберно- пёстрая и тараторливая толпа:

– Вам матушка-сударыня прислугу?

– Кого надоть, куфарку аль девушку? Аль, может, нянюшку требуется?

– Эй! Алёнка! Авдотья! Филипповна! Тетушка Дарья! Подите сюда! Барыня куфарку ищет!

– Извольте, сударыня, я куфарка для вашей милости!

– Эх, ты, ноздри, какая ты куфарка? Тебе в судомойки впору!

– Кто? Я-то? Известно куфарка, я у немцев жила!

– У немцев? Эка невидаль! А я у енерала!

– Не верьте им, сударыня, оне колотовки^[225] с Таировского переулка^[226], я семь лет на одном месте выжила у господ и тестат при себе имею, меня возьмите!

Марья Ивановна совсем с ног сбита от этого всестороннего напора пёстрой толпы и удушающего перезвона сотни крепких фальцетовых горлышек. Наконец, ей удастся заметить одну, которая показалась посуразнее прочих, и кое-как с помощью локтей и кулаков избранного субъекта выбралась она из этой давки и толкотни в сторону на просторное местечко.

– Ишь ты, барыня, чиновница, мразь какая-то!

– Надо быть шушера, огрызок обглоданный, коли такую прислугу выбрала!

– Ну, вестимо, по баране и кухарка – на пятак говядины кошачей покупать вместе станут! – со смехом раздаются во след Марьи Ивановны язвительные замечания толпы, словно бы этой толпе всем разом хотелось попасть в кухарки к Марье Ивановне.

– Свины! – отстреливается назад избранный субъект и очень услужливо обращается к нанимательнице. – Извольте рядиться, сударыня, вам куфарку стало быть требуется?

– Куфарку, моя милая.

– Значить, стряпать надобно? Это можно, сударыня. Я на хороших местах жила и стряпать умею. А ещё что потребуется? Полов там нового у вас?

– Три комнаты, моя милая...

– Так-с, а стирки много ли?

– Нет, немного, так разве постирушка какая-нибудь маленькая. Ну, комнаты подмести, постель убрать, барину сапоги вычистить. Вот только и всего, семейство у нас маленькое, а жалованье три рубля в месяц.

– Маловато, сударыня, нониче места-то какие, сами изволите знать. Мне, вон, купцам место выходила, пять рублей в месяц с хозяйским горячим, Так, собственно, потому не пошла, что стряпни много: на целую артель готовить.

– Ну, потом к празднику и в именины подарок – ситцу на платье, – продолжала Марья Ивановна, поманивая своего субъекта.

– Так-то так, сударыня, – возражает субъект. – Однако ж нам никак невозможно, потому я вашей милости буду хорошая кухарка. Я в чепцах могу ходить и к кофиям привыкла. Поэтому мне нельзя, как вот тем свиньям, что стоять-то. А ежели милость ваша будет положить четыре рубля, да полтину на горячее, так мы порядимся.

– Да ты что, моя милая, готовить-то умеешь?

– Уж не извольте беспокоиться сударыня, всё, что вашей милости завгодно будет, всё умею. Суп, примером сказать, щи там что ли какие, пироги спечь, бишкек зажарить – всё это могу.

– И пирожное, и слоёное тесто умеешь?

– И пирожное могу – всё могу, потому как я у немцев жила и у полковника тоже жила, так всему этому я обучена значить.

Марья Ивановна, соблазненная приятной перспективой пирогов, «биштеков» и даже пирожного со слоёным тестом, почти соглашается на условия избранного субъекта и даёт ей три с половиной жалованья и полтину на горячее. Субъект согласен и вслед за Марией Ивановной отправляется на место нового своего служения.

Но первый дебют оказывается вполне неудачным: поданный суп является какой-то пресно-помойной бурдой грязного цвета с дымным запахом, «бишкек» с успехом может играть роль гарнирной подошвы или топора зажаренного, а слоёное тесто сильно смахивает на подсушенный и запечённый комок клейстера. Марья Ивановна сначала в недоумении, потом в досаде при виде добра столь много перепорченного, и, наконец, в сердцах, ибо Мария Ивановна голодна и всё её семейство тоже голодно.

– Уж вы извините, сударыня, на первый-то раз не совсем удалось, потому – не огляделась я ещё, да и дело это спешное, – оправдывается кухарка.

– Да как же ты, моя милая, говорила, что всё умеешь?

– Ну что ж, оно и точно, что умею, а только не удалось... Кто ж его знал, что оно не удастся?

– Да ты умеешь, например, сделать драчёное^[227]?

– А что это такое драченное?

– Как что? Известно что – кушанье такое! Ведь ты кухарка, стало быть, должна знать.

– Нет, матушка сударыня, таких кушаньев я и не слыхала; а вы извольте сказать, что оно такое, так я вам состряпаю в лучшем виде,

как быть следует.

– Ну а шмандкухен^[228] умеешь?

– Как вы изволите сказать-то-сь?

– Шмандкухен!

– Это что же такое? Мне и не выговорить-то. Отродясь не слыхала.

– Ты же у немцев жила, сама говоришь!

– Так что ж, что у немцев? Я точно у немцев жила, только в нянюшках служила и у полковника тоже служила... А вы уж, матушка, это не дело требуете. Я как есть куфарка, так вы мне закажите биштек али суп – я вам изготавлю.

– Ну вот ты дрянь и изготавила!

– Это уж, матушка, не от меня, а от Бога, потому – случай такой вышел, я вам и докладываю. А только вы не дело требуете и я не знаю, как вам угодить, потому как я всегда на хороших местах жила и все были мною навсягды оченно довольны.

– Ты сколько сегодня говядины купила?

– Сколько приказывали – пять фунтов значить.

– Сколько же ты дала за неё?

– Шесть гривен, матушка. Всё равно, что на суп, то и на биштек брала.

– Да ведь ты это не филей зажарила.

– Какой это филей? Я просто, матушка, говядину зажарила.

– Что ж ты, значит, грудинку или завиток взяла?

– Я, матушка, и не знаю, что это вы только спрашиваете? Какой такой завиток? Я просто говядины спросила пять фунтов, как приказать изволили, мне и отпустили.

– Да ведь это не первый сорт!

– Доподлинно не знаю, матушка, может и первый, спорить не хочу!

– Да как же ты по двенадцать копеек заплатила, если не первый?

– Уж не взыщите, матушка, опростоволосилась! Проштрафилась на первый раз, простите!

– Ты, как видно, в кухарках-то никогда не живала, матушка! Вот оно что! А нанимаешься!

– Оно точно, что в куфарках не живала, а жила в нянюшках, да в судомойках; иначе же и в кухарках могу жить, потому мудрости тут никакой большой нету и я это всё могу. Вы только растолкуйте да покажите, а там уже не ваша забота – останетесь довольны.

Марья Ивановна в большом горе; однако – нечего делать, надо пока на время помириться и с этой, до приискания новой, более подходящей. Под вечер, убравшись у себя на кухне и перебив посуду, кухарка просится «со двора на полчаса, не боле, потому; на фатеру надо за пожитками сбегать – сундук там оставлен. А уж вы не извольте беспокоиться, беспрерывно приду впору, вот и пачпорт свой вам оставляю».

Покопавшись ещё несколько времени, пока господа соснуть легли, кухарка, наконец, удаляется. Но проходит не полчаса, а целые полтора, а её всё нет, как нет. Марья Ивановна в тревоге и досаде: самовар некому поставить, сама должна уголья подкладывать и в булочную сбегать.

Проходит ночь – кухарка всё-таки не возвращается. Марья Ивановна ума никак не приложит, чтобы это значит могло? Случайно заглядывает она в буфет – хват! – двух-трех серебряных ложек и не оказывается, нескольких салфеток и скатерти недостаёт. Бурнус^[229] старый в передней на вешалке висел – и того тоже нет. Марья Ивановна взбешена, озадачена, потрясена и хочет достойным образом наказать виновную: в руках у ней, слава Богу, кухаркин паспорт остался. Вместе со своим благоверным и с этим паспортом бросается она в полицию, начинается розыск – и паспорт оказывается фальшивым, вроде таких, которые очень искусно фабрикуются в различных кабаках и в трущобах Вяземского дома по удешевлённой цене: рубль денег и полштофа крымской. А похитительницы и след давным-давно простыл.

Извозчик Ванька

Городские окраины, вроде Измайловского и Семёновского полков, Ямской^[230] и Выборгской^[231] и тому подобных мест, где лепятся ещё, цепляясь друг за дружку покосившиеся деревянные домишки наружности весьма мизерной – все эти окраины заняты по преимуществу извозчичьими постоями. Загляните в калитку любого из этих домишек (ворота в них почти всегда на запоре) и взору вашему во внутренности двора представятся кучи навоза, грязь и лужи, да ряды сгроможденных дрожек и саней с оглоблями, поднятыми вверх, между которыми проглядывают две-три апатичные морды понурых кляч.

Хозяин таких постоев по большей частью сам извозчик, который силой каких-нибудь особых счастливых обстоятельств выбился из работников в хозяева и сам теперь содержит своих собственных работников. Нанимается к нему обыкновенно его односельцы или по знакомству переходят от других хозяев. Если же нет ни того, ни другого; если хозяин – человек «вновь», к делу непривычен, какой-нибудь отставной унтер или мещанин, то к услугам его для найма батраков является тотчас же конный сводник, маклак, коими изобилует зимняя Конная^[232] и почерпнуть коих весьма удобно можно в любом окрестном заведении за парой чая и преимущественно на Невском, близ Знаменья в доме Лопатина^[233], где есть харчевня известная в барышническом мире под именем «биржи», необходимый эпитет который совершенно невозможно выразить в печати.

Такой вот конный сводник обыкновенно и подбирает батраков для нуждающегося хозяина «вновь». Обыкновенные условия найма – пять рублей в месяц, хозяйские харчи и гривенник в день на пару чая из «выездного», то есть из суммы, которую батрак выездит в течение дня; иногда из «выездного» же и харчи полагаются.

Занимаются здесь легковым извозом по преимуществу крестьяне трех губерний: Петербургской, Новгородской и Псковской; около трети между ними чухон, главный притон которых по первоначальному прибытию из деревни составляет «чухонское подворье» близ Невского монастыря, где обычно они находят своих факторов^[234] и сводников. Из «чухонского подворья» или через его сводчиков, можно добывать

лучших лошадей-шведок, Это составляет почти главный промысел означенного подворья.

Вот по большей части начало извозчичьей карьеры. В одно прекрасное утро к хозяину, какому-нибудь начинающему лосниться и жиреть Ивану Савельевичу, является в Ямскую парнишка лет пятнадцати-шестнадцати, его односелец и приносит с собой грамотку от родственников, в которой кум Степан да сват Василий с тёткой Маврой посылают милостивому государю Иван Савельевичу свой нижайший с любовью поклон и просят пристроить у себя насчёт извоза ихнего парнишку Миколку, и отечески бить его буде забалует. Милостивый государь Иван Савельевич принимает к себе парнишку Миколку и на первое время, для приглядки, заставляет его конюшни чистить да дрожки мыть. Когда Миколка немного приобвыкнет, он вручает ему закладку, дает наставление, чтобы в длинные концы за пятиалтынный не рядился, да по мостам с церквями – места и улицы замечал, и затем Миколка, благословясь, выезжает с девяти часов утра на промысел.

Малый он ещё несмышлёный и потому городские улицы для него хуже лесу потёмного. По всему заметно, что новичок. Нет у него ни закидки, ни глазу, ни руки извозчичьей, ни сесть, ни вожжи взять, ни править не изловчился ещё; одним словом, не выработал себе этого форсу извозчичьего, в некотором роде своеобразного дендизма, которым всегда отличаются езжалые и бывалые.

Встречные товарищи зубоскалят над ним и обзывают «желтоглазым» – специально-общеупотребительная брань между извозчиками, обращённая по преимуществу на чухон; брань, которая употребляется ими только для своего же брата и никогда для человека другого промысла.

– Извозчик! – раздаётся вдруг у него под ухом. – На Васильевский в пятнадцатую линию пятиалтынный.

– Извольте садиться, – с готовностью откликается Миколка при всеобщем смехе товарищей, которым в самом деле смешно, что мальчуган порядился в чёртов конец за такую плату, а Миколка знай себе погоняет. Он сконфужен и поэтому ему хочется поскорее выбраться из-под глаз и насмешек товарищей.

– Далеко это, сударь? – оборачивается он к седоку.

– Нет, не так далеко, – цедит седок сквозь зубы.

– Вы уж покажите мне дорогу-то, потому я вновь, второй день как выехал, концов-то ещё не знаю, – просит доверчивый Миколка.

И вслед затем в расчёте на недалёкий путь хочет седаку угодить и пускает во всю рысь свою несуразную лошаденку. Но лошаденка уже давно уморилась и даже взопрела, а конца пути нет как нет. Миколка начинает роптать. Седок упорно и сурово молчит и только на поворотах лаконически замечает своему вознице: «Направо! Налево!» – и возница потрухивает мелкой усталой рысцой. Наконец-то раздаётся давно желанное: «Стой».

Седок молча вручает ему пятиалтынный.

– Что же, сударь, прибавить бы нужно! Экой конец ведь дали! – жалобно умоляет Миколка, но седок со спартански-сосредоточенным видом в глубоком молчании скрывается под воротами дома.

А в удел огорчённому Миколке остаются опять-таки смешки товарищей, которым он рассказывает своё горе: «ничего, паря, хоша хозяин и накомылит тебе по загривку, зато впредь наука!». Хозяин, действительно, на первый раз, ограничивается длинной рацией^[235] да одним подзатыльником. Однако же Миколке и горько, и обидно, и перед другими-то стыдно простоволосым оказаться.

На другой – на третий день часов около двенадцати дня, видит он, идёт ему на встречу, посвистывая под нос, франтик какой-то с хлыстиком. Махнул Миколке рукой, да и прыг, не торгуясь, в дрожки.

– Куда прикажете?

– Пошёл прямо! Да гляди у меня – пошибче. Езды много будет – на чай полтину получишь. Ну! Поворачивай! Живо!

Доверчивый Миколка приятно осклабляется от одного уже посула начайной полтины, и то и дело похлестывает кнутиком свою лошаденку. Езды действительно много. Франтик задаёт изрядные концы, заезжает в рестораны, останавливается по получасу у разных знакомых своих; в одном месте из Большой Подъяческой Миколка по его приказанию какую-то барыньку к Гостиному двору туда и обратно свозил. Заезжал даже лошадь покормить, пока франтик находился у этой барыньки и часов в девять вечера свез его домой, к одному огромному домищу на углу канала^[236] и Вознесенского проспекта. Франтик скок с дорожек и говорит:

– Сейчас вышлю... Подожди немного!

Миколка ждёт с добрых четверть часа – не высылают. Прошло человек с пять различных нанимателей – Миколка поневоле отказывается от езды, потому – денег не получил ещё.

– Да ты чего ждёшь-то? Слышь, ты, – окликнул его дворник.

– Да вот денег барин не высылают... Поискать бы его, что ли забыл, надо быть...

– Эге, брат, ищи-свищи, найдёшь ты его, чёрта в ступе, – замечает с улыбкой дворник. – Он, поди-чай, давным-давно стрекача дал на канаву^[237]: двор-то ведь тут сквозняк – двое ворот значит...

– Ах ты, дело-то какое! – сокрушается перепуганный Миколка и в ожидании хозяйской гонки с щенячим сердцем и пустой мошонкой отправляется голодный на замученной кляче к себе восвояси. Хозяин на этот раз уже не ограничился энергической рацеей да подзатыльником, а взял вожжи и отвозил ими по спине безвинного Миколке, а энергическая рацея пошла уже на придачу к возке.

Товарищи продолжают смеяться. Оскорблённое сердце Миколки начинает понемногу ужесточается, а ум работает над изысканием способов, какими бы это судьбами поскорее вогнать ему себя под общую статью с остальными товарищами, которым весело живётся и всё удаётся. Миколка начинает перенимать извозчицьи ухватки, учится хитрить и торговаться с седоками, он кое-какие улицы и концы различает и зубоскалит уже понемногу. Он почти опытен – да только не совсем.

Заезжает раз чаю напиться в одну харчевню, «не в обышнюю», то есть не в одну из тех, где обыкновенно собираются чаевать извозчики, а таковыми местами в центре города являются три наиболее популярные в извозчиьем мире «заведения» – это именно «Александрия» в Толмазовом^[238] переулке, «Ерши» у Пяти углов^[239] в Разъезжей, и «Одесса»^[240] в Стремянной улице.

Заехал наш Миколка в харчевню (дело уже зимой было), лошадь поставил под навес, а сам греться за чайником. Подсела к нему какая-то чуйка^[241]:

– Ты из каких?

– Я из ямбургских^[242]. А ты с каких?

– А я с под Рамбова^[243].

Слово за слово и разговорились.

– Однако, пора мне, – говорит чуйка, всласть накалякавшись с парнем, и убрался себе подобру-поздорову.

Парень во двор к лошадке – хватъ – полость новая и подушка с саней пропали. Он туда-сюда, и в харчевню, и к дворнику, и на улице. Куда тебе, и след давным-давно простыл. Взвыл мой парень у ворот стоячи, слезами взвыл. Собралась кучка, народ кое-какой серый, да свой брат-извозчик мимоезжий, окружили парня, расспрашивают:

– Что случилось, робя?

– Да вот у парнишки, пока чай пил, «мякоть» сжулили, – замечает один извозчик другому.

Надо заметить, что очень многие из езжалых извозчиков маракуют кое-что «на байковом языке» – аргю наших мошенников, а некоторые даже любят между собой пускать в ход иногда кое-какие байковые термины, когда дело касается покраж. Так, в этом случае, слово «мякоть» означает «подушку экипажную».

– «Мякоть»? Эй, глянь-ка, паря. Да у него и «рогожи»^[244] нет. Благо, что «скамейку»^[245] ещё не угнали. Теперь, значит, беда в полбеда, а то и совсем беда была бы.

Во всём это мало утешительного. На месте действия появляется градский страж, коего привлекло сюда любопытство при виде скопища. Является он как некий Зевс-громовержец и выдворяет порядок, то есть разгоняет толпу, садится в Миколкины сани и хочет вести его в часть. Миколка чует над собой ещё новую беду, взмаливается, чтобы страж отпустил его. Но страж непреклонен и неумолим, начальство де разберёт. Однако ещё и начальство не вдруг разбирает, и Миколку по ходатайству стража сажают в «сибирку». Сидит Миколка сутки, сидит другие, на третьи является извещённый хозяин, милостивый государь Иван Савельевич, и выручает Миколку из беды: от пилки дров до таскания воды в частном^[246] доме.

А дома – гонка. Опять хозяйская вожжа гуляет по миколкиной спине, опять длинная рация и покоры товарищей. Да в придачу ко всему этому четырёхмесячный вычет из жалованья за утраченные вещи. Тут уже всё припомнил Иван Савельевич: и конец на Васильевский за пятиалтынный, и фертика, что «дал стрекача на сквозняку», и иные недочёты – всё, как есть дочиста припомнил, на костяшках отчислил, да и поставил в строку: «за всё, мол, вычту теперь одним счетом разом».

Миколкино сердце окончательно уже ожесточилось, да и двухсуточное сидение в арестантской, где всякого народа вдоволь, а больше всего шатаек-бездомных да мазуриков, тоже не прошло ему без пользы. Понял Миколка, что простота в извозничьем промысле самое неподходящее, самое последнее дело и повернул на новую дорогу. Опытность приходит к людям не сразу, а мало-помалу, вприглядку, ковыляя да спотыкаясь. Пришла она так и к Миколке несуразому. Постиг и Миколка, наконец, всякую хитрость и всякую штуку извозничью. Стоит он, например, у Технологического института и видит, что спешит наниматель:

- На царскосельскую машину^[247], – кричит ему.
- Только туда? – вопрошает, лихо подкатив Миколка.
- Только туда. Что возмёшь? Поскорее надо.

Миколка очень хорошо чувствует, что за расстояние в какие-нибудь двести сажень^[248], если ещё не менее, по совести больше гривенника взять не приходится, а уж много-много коли пятиалтынный ради скорый езды. Но он видит, что нанимателю дело к спеху, что наниматель торопится застать поезд железной дороги, и потому с любезной наглостью оскалив свои белые зубы, Миколка заламывает неслыханную цену:

- Тридцать пять копеек положите, – говорит он.
- Да ты с ума сошёл! – возражает наниматель.
- Как угодно-с... меньше нельзя, зато лихо предоставим.

В это время подкатывают ещё два-три близстоящих извозчика и, узнав, куда рядиться наниматель, заламывают ту же цену, а один из них даже нагло запросил сорок копеек.

– Тридцать копеек положьте-с, ваше сия-с! – предлагает снова Миколка, подкатив ещё лише прежнего.

Наниматель, боясь опоздать и надеясь на бодрую рысь Миколкиной лошади, соглашается на его цену:

- Только, мол, поживее, ради Бога.

Но у лошади рыси словно и не бывало: потрухивает себе по мостовой нога за ногу, так что даже Миколка, понунив голову, кренделем несчастным сгорбился.

- Да прибавь же ты шагу, любезный! – упрашивает наниматель.

Извозчик никакого внимания не обращает, будто и не слышит, будто это совсем не до него касается.

- Да слышь ты, чёрт, ведь я опоздаю! Пошёл живее, говорят тебе!
- Я и то живо...еду ведь! Чего ещё? – сквозь зубы цедит Миколка.
- Разве так ездят? Ударь её кнутом.
- Зачем кнутом? Она и так идёт, – продолжает он ворчать нелюбезным тоном, – какой там ещё езды! И то едешь, как надо, по цене и езда.
- Да ведь ты же рысью подкатывал ко мне.
- Ну рысью! Ну так что же?
- А теперь точно нарочно везёшь так, что опоздать придётся.
- Положите тридцать пять копеек, не жалейте, так предоставляю, – говорит он.

Наниматель очень хорошо видит, что всё это штука, что это делается нарочно с умышленной целью, Но из-за пяточка не стать с ним спорить, когда опоздать боишься – он обещает прибавку и извозчик вмиг доставляет его к дебаркадеру. Откуда и рысь взялась? А попробуй-ка он не додать пяточка, добытого таким вымогательством, извозчик наделает такого скандалу, что и не приведи Бог – при публике оконфузит, обругает что ни есть хуже, чем-нибудь вроде «голоштанника», «мазурика», «христарадника» и тому подобное. А не то иной раз попытается проникнуть за ним и за стеклянную дверь, чтобы там со слезливой наглостью продолжать своё требование.

Миколка – человек очень мстительного нрава; таким сделал его закал петербургско-извозничьего быта. Одной барыни, которая никак не желала прибавить ему, вероятно, обещанный пятак, он послал вдогонку с помощью своего сапожного носка весьма изрядный комок подворотной грязи. Удар оказался весьма удачен – у барыни весь шлейф её платья, вся юбка и часть бурнуса были перепачканы, а Миколка, боясь преследования, скорее в дорожки, да и тягу с улицы, чтобы скрыть концы в воду.

Вообще, он нагло блудив как кошка, и труслив как заяц. Это общая характерная черта почти всех петербургских ванек.

Подрядился он раз за тридцать копеек с Васильевского острова в Семёновский полк двух барынь свести. Довёз благополучно, барыни заплатили и проходят себе спокойно в калитку деревянного дома. Не тут-то было, извозчик за ними:

- Обещали, мол, прибавку, заплатите сорок копеек, потому – далече.

Те не слушают и входят во двор своей квартиры – извозчик врывается за ними и начинает шуметь в кухне. Предполагал он, что барыни тут одни, сами по себе живут, и что, значит, наглостью и криком от них лишний гривенник выманить можно, как вдруг выходит муж одной из них, чиновник, и требует билета.

– Какого билета? Ступай к дорожкам и гляди билет, коли хошь. Пущай они деньги заплатят, когда обещали, а обижать-то нашего брата зачем же? – возражает извозчик, однако тоном пониже.

Чиновник предлагает ему убраться.

– Нет, я не пойду, а вы деньги сперва заплатите, я денег не получал ещё.

– Тебе ведь заплачено.

– Когда заплачено? Кто платил? Кто видел, где свидетели? Я хошь под присягу пойду, – хорохорился Миколка.

– А не хочешь ли сперва со мной в часть? – предлагает ему чиновник и велит прислуге кликнуть дворника.

Миколка вдруг бац на колени и начинает плакать:

– Батюшка! Голубчик! Отпустите, простите, заставьте вечно Бога молить! В части ведь трое суток продержит! Больше не буду. Видит Бог не буду.

Чиновник отпускает с миром умолившего Миколку.

Везёт он раз седока часу в двенадцатом ночи по Петровскому острову, мимо него пролетает, обнявшись с нежной дульцинеей, знакомый извозчик, горланя развесёлую песню:

– Здорово, Миколка!

– Здорово»! Ты куда?

– В Колтовскую^[249], к нашему трактиру, на всю ночь закачусь... Езжай, что ли со мной – любо будет.

– Ладно, приеду.

И знакомый извозчик скрывается за поворотом в переулок к Ждановскому мосту. Не проехал вслед за тем Миколка и двадцати шагов, как лошаденка его стала, закружилась на месте и заметалась в стороны. Тот её кнутом, кляча брыкается, а сама ещё пуще кружится да дрожжи своротить в канаву норовит.

– Задурила, сударь, никак не идёт! Надо слезть будет, – убеждает извозчик седока, а тот, нечего делать, слезает. – Положите, что ваша

милость будет. Совсем ничего не выездил, хозяину отдать, – жалобно выпрашивает он, тогда как лошадь продолжает крутиться.

Выклянчив наконец какой-либо двугривенный, Миколка даёт вожжи, быстро поворачивает назад и ещё быстрее с присвистом исчезает за Ждановским мостом вслед за своим знакомым товарищем. А седок в двенадцать часов ночи изволь идти пешком по пустынному парку, и пока-то попадётся новый извозчик за Тучковым мостом.

В другой раз по тому же Петровскому парку и точно также глубокой ночью вез он какого-то пьяного господина. Оборачивается – господин спит себе, усердно раскланиваясь во все стороны. Парень и пересел к нему с козел, поехал потише, залез осторожно в карман, вынул бумажник, а зачем, недолго думая, пустил во всю прыть лошаденку и одним ловким ударом столкнул пьяного на дорогу. Пока тот прочухался и крикнул: «Караул», Миколки уже и след простыл.

Очень уж понравилась ему это лёгкое и прибыльное занятие, и стал он изобретать другие, новые и более осторожные средства для поддержки означенного занятия. Пьяных он очень любит возить, но только сам по себе, а не тогда, когда городской положит упившееся тело поперёк дорожек и сам усядется с боку на крыле для законного препровождение оно́го тела в часть. Этого последнего пассажа извозчики вообще сильно недолюбливают, и стоит только городскому показаться около пьяного тела, чтобы все близстоящие извозчики в тот же миг дали стрелка. Свести куда-нибудь городского или пьяного в часть считается у них скверной приметой – непременно над головой в тот день беда какая ни на есть стрясётся или, уж по малой мере, выручка больно плоха к вечеру будет.

Нашёл Миколка средство добывать себе постоянно от одного разлюбезного человека «двойчатки», то есть фальшивые жестянки^[250], помимо своей настоящей, и стал с такими «двойчатками» выезжать к Варшавской, а не то к Московской железной дороге, где всегда перед прибытием поезда толчется огромная гурьба извозчиков и их экипажей.

– Пожалуйте, сударь со мной, – кричит он приезжему, у которого заметил в руках саквояж или небольшой чемоданчик. – Извольте билетец, а мне вещи пожалуйста, я до санок донесу, – предлагает он, сунув приезжему свою «двойчатку» и вырвав у него из рук чемоданчик.

Как только почувствует он на себе эту приятную ношу, так тотчас норовит юркнуть в толпу и затеряться между экипажами. Добравшись до своих саней, Миколка проворно суёт «благоприобретенную» поклажу вниз под полость и удирает восвояси, то есть в какое-нибудь заведение хорошо знакомое, где он может беспрепятственно, по дружбе да по секрету, «переколотить» маклаку-буфетчику либо маклаку-половому свой «вольный товар» на чистые денежки.

– Хочешь, что ль, к молодцам нашим присламитесь^[251], – предлагает маклак Миколке, – ты парень клёвый^[252], и на эфти дела, кажись, больно шустёр.

– А что делать понадобится? – вопрошает клёвый парень.

– Да немного. Клей^[253] один выгорает нонешней ночью – так надо будет с жоржем^[254] одним ухрять^[255] от фараонов^[256] при вольном товаре. Третий slam получишь^[257]. Идёт что-ли?

– Зачем нейдти? Идёт, только чарку магарычного на впрыски для зарученья поставь, – соглашается Миколка, и, хлопнув по ладоням, заручается в воровскую шайку со специальной целью увозить покражу и мазуриков от места преступления.

Впрочем, это последняя профессия относится преимущественно к так называемым лихачам, которые сами заслуживают отдельного очерка.

Итак, Миколка делается негодяем. Но виноват ли в этом Миколка?

Библиотека серии

❁ Повседневная жизнь ❁

петербургской сыскной полиции

НЕПАРАДНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

в очерках
дореволюционных
писателей

Составление и комментарий:
Валерий Введенский,
Иван Погонин, Николай Свечин

Том 3



Примечания

1

Печатается по: *Животов Н. Н.* "Петербургские профили": В 4 вып. Вып. 1–4. – Санкт-Петербург: типо-лит. А. Винеке, 1894–1895. – 4 т.; 22 см.

[Вернуться](#)

2

Тик – прочная льняная или хлопчатобумажная ткань (здесь и далее, если не оговорено особо, комментарии составителей)

[Вернуться](#)

3

Изношенные сапоги с отрезанными по щиколотку голенищами.

[Вернуться](#)

4

Кафе-шантан и театр-варьете. Размещался на набережной реки Фонтанки, дом 9. В связи с изменением нумерации ныне этот участок занимает дом 13.

[Вернуться](#)

5

Гостиница и кафешантан «Пале де Кристаль» размещалась в доме № 8 по Обуховскому (ныне Московскому) проспекту.

[Вернуться](#)

6

В описываемое время на углу Лиговки и Обводного имелось множество трактиров, например, купец Евтихий Васильев содержал трактир по адресу Лиговская ул., 130 (первый дом за Ново-Каменным мостом), купец Петр Матвеев – по адресу Лиговская ул., 132 (второй дом за Ново-Каменным мостом), купец Михаил Кобызов два трактира по адресу Лиговская ул., 155–157 (второй и третий дома от Ново-Каменного моста по другой стороне Лиговского канала)

[Вернуться](#)

7

Улица Глазовская (ныне Константина Заслонова), 1

[Вернуться](#)

8

Ныне переулок Бринько. В этом небольшом переулке размещалось несколько публичных домов. Подробнее – в главе «География зла» 1-го тома.

[Вернуться](#)

9

В 1893 году часть Лиговского канала (от Обводного канала до Таврического сада) был заключен в трубу и засыпан. На месте старого русла разбили бульвар с небольшими скверами. Однако их облюбовала местная шпана, и в начале XX века бульвар ликвидировали.

[Вернуться](#)

10

В 1881 году в Петербурге на углу набережной реки Монастырки и Переяславской улицы (ныне ул. Хохрякова) по проекту архитектора Н.Л. Бенуа был выстроен первый в России арестный дом для заключенных лиц по приговорам мировых судей, в простонародье именовавшийся «Казачий плац». Ныне в этом здании располагается областная больница им. Ф. П. Гааза Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

[Вернуться](#)

11

Водка фирмы «Вдова М.А.Попова». За отменное качество эту водку ещё называли «Вдовьей слезой».

[Вернуться](#)

12

Пей из горлышка (прим. автора)

[Вернуться](#)

13

Купец М.Н. Кобызев владел четырьмя участками за №№ 153–159 на Лиговской улице (сразу за Ново-Каменным мостом через Обводный канал). На участке № 157 (на углу с Воронежской улицей) в 1881 году по проекту архитектора П.Ю.Сюзора был построен каменный 4-х этажный дом, в первом этаже которого размещались бани и два трактира, а на втором находился ночлежный приют, в простонародье именовавшийся «кобозевской/кобызевской лаврой». Здание сохранилось, ныне в нём общежитие Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. Приют состоял из двух отделений: мужского на 163 человека (площадь 125,6 м², высота потолка 3,8 метра) и женской на 58 человек (площадь 69,7 м², высота потолков 3,8 метра). В каждом помещении по пять окон, пол асфальтовый. Отопление паровое, но использовалось редко,

так как приют был расположен прямо над парильными отделениями бани, и даже зимой было так душно и жарко, что приходилось отворять окна. Нары были двухярусными. В этом же здании Кобызов содержал два трактира.

[Вернуться](#)

14

Комплекс зданий между Сенной площадью, Фонтанкой, Забалканским (ныне Московским) проспектом и улицей Горсткина (ныне Ефимова), где обитало огромное количество бродяжек. Подробнее см. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СВЕШНИКОВ «Петербургские Вяземские трущобы и их обитатели»

[Вернуться](#)

15

0,6 литра

[Вернуться](#)

16

Шкалик или косушка – бутылка емкостью в 60 мл.

[Вернуться](#)

17

Стрелять – попрошайничать

[Вернуться](#)

18

Нищенствовал (прим. автора)

[Вернуться](#)

19

Воришка (прим. автора)

[Вернуться](#)

20

Кабак (прим. автора)

[Вернуться](#)

21

Помещение с двумя входами-выходами на улицу. Состояло из одной комнаты, стены которой были выкрашены масляной краской или оклеены обоями. В одной стороне комнаты был установлен прилавок, за которым стоял шкаф с бутылками разнообразных дешевых водок, там же ящики с пустыми бутылками и боченки с водкой и пустые. На прилавке на грязном железном подносе лежал нарезанный кусочками хлеб, стояли солонка с солью и чашка с горчицей. Разлив водки осуществлялся за прилавком приказчиками, причем бутылки перед использованием не мыли.

[Вернуться](#)

22

Продавец в питейном заведении или в кабаке. При устройстве на службу клялся честно исполнять свои обязанности и в подтверждение клятвы целовал крест.

[Вернуться](#)

23

Ночлежные приюты по адресу Измайловский полк, 6 рота (ныне 6-ая Красноармейская), 24, и Воронежская, 22, которыми владел купец

Георгий Поликарпович Макокин. Позднее он или его наследники продали этот промысел Ефиму Кузьмичу Алешкевичу. В начале XX века приют из 6-ой роты переехал на 7-ую, в дом номер 23 (на углу улицы Гарновского (ныне Советского переулкa)). Приют был рассчитан на 400 человек, имелось отделение для дворян (они платили не пять копеек, как остальные, а десять). При приюте имелась съестная лавка.

[Вернуться](#)

24

Посредник

[Вернуться](#)

25

Тарханов (Тарханишвили) Иван Рамазович (Романович) (1846–1908) – ученый-физиолог, профессор Медико-хирургической академии, приват-доцент Санкт-Петербургского университета.

[Вернуться](#)

26

Верхняя распашная короткая кофта

[Вернуться](#)

27

Дома трудолюбия – возникшая в XIX веке форма благотворительной помощи беднейшим слоям населения путем предоставления им работы, пищи, иногда и жилья. В описываемое автором время в Петербурге действовал только один Дом трудолюбия, находившийся на Большом Сампсониевском пр., 97. Еще один Дом Трудолюбия находился в Кронштадте, который входил в состав Санкт-Петербургской губернии.

[Вернуться](#)

28

Колтовская слобода располагалась в западной части Петербургской стороны между нынешними улицами Пионерской, Корпусной, Большой Зелениной и набережной Адмирала Лазарева.

[Вернуться](#)

29

См. сноску 7

[Вернуться](#)

30

Жуир – весело и беззаботно живущий человек.

[Вернуться](#)

31

См. сноску 7

[Вернуться](#)

32

Владимир Александрович Ратьков-Ражнов (1834–1912) – русский общественный деятель, предприниматель и промышленник, сенатор, действительный тайный советник.

[Вернуться](#)

33

Рахит
[Вернуться](#)

34

Подробнее о них см. очерк А.А.Бахтиарова *Ночлежники и ночлежные дома*

[Вернуться](#)

35

Приют Общества доставления дешевых квартир находился по адресу Измайловского полка 3-я рота (ныне 3-ая Красноармейская),7. Дом сохранился.

[Вернуться](#)

36

Подробнее о них см. очерки А.А.Бахтиарова *Крючошник и Тряпичник (Костяник)*

[Вернуться](#)

37

Толкучий (Ново-Александровский) рынок в описываемое время располагался вдоль Вознесенского проспекта между набережной реки Фонтанки и Садовой улицей.

[Вернуться](#)

38

До 1825 года на месте казарм располагался винокуренный завод Дерябина, фамилия бывшего владельца закрепилась и за казармами.

[Вернуться](#)

39

По иронии судьбы, в сентябре 1918 года Дерябинские казармы моряков стали тюрьмой – в них содержались заложники из числа бывших, арестованные после убийства М.С. Урицкого.

[Вернуться](#)

40

В справочниках «Адресная книга Санкт-Петербурга под редакцией П.О. Яблонского» за 1893 год указано, что по адресу Галерная гавань дом Дерябина размещался 18-й флотский экипаж, а 9-й флотский экипаж имел адрес Б. Морская, 69 (у Поцелуева моста).

[Вернуться](#)

41

Тогдашний адрес Большой проспект В.О., 93–95, на углу с улицей Опочинина. Вопреки утверждению автора, эти строения принадлежали не Морскому ведомству, а городской управе, в справочнике «Весь Петербург» за 1894 год обозначены как «Караульный дом», принадлежащий городу.

[Вернуться](#)

42

Тогдашний адрес Большой проспект В.О., 94, прямо на берегу Финского Залива. Здание сохранилось в надстроенном виде. Нынешний адрес Большой пр. В.О., 102.

[Вернуться](#)

43

Ныне площадь Победы.

[Вернуться](#)

44

Трактир на Петергофской дороге (нынешний проспект Стачек, возле Красненького кладбища). Существовал с начала XVIII века по 1917 год.

[Вернуться](#)

45

Николай Некрасов. «Сеятелям».

[Вернуться](#)

46

Яков Полонский. «Поэт и гражданин, он призван был учить.....»

[Вернуться](#)

47

Название происходило от землевладельца действительного статского советника Я.И. Сукина. В 1902 году было признано неблагозвучным, переулок был переименован в Рыбинскую улицу.

[Вернуться](#)

48

«Дюссо» – фешенебельный ресторан на Большой Морской ул., 11

[Вернуться](#)

49

Эртелев переулок, ныне улица Чехова. Согласно справочника «Весь Петербург» за 1894 год, трактир в Эртелевом переулке был один – в доме № 4.

[Вернуться](#)

50

Вступление, появление.

[Вернуться](#)

51

Домовладельцы Целибеевы владели на Загородном проспекте следующими домами: №№ 15,17,21 и 23. Трактир размещался лишь в одном из этих строений – в доме № 21 (дом не сохранился). В 1894 году трактиром владел Григорий Михайлович Волков.

[Вернуться](#)

52

Простонародные трактиры размещались либо в подвалах, либо в первых этажах. Обычно состояли из 5–6 комнат, полы в них были деревянные, некрашенные, грязные, потому что подметались и мылись редко. Стены оклеены дешевыми обоями, покрытыми жирными пятнами и пылью, потолки плохо выбелены и покрыты копотью от керосиновых ламп. Столы, стулья и комоды грязны и пыльны. Буфет, состоящий из стойки, обычно был обит клеенкой, часто рваной, на ней стояли грязные тарелки с закусками. Рядом с ними – медный таз с холодной водой, в котором мылась посуда, вытирали её грязным полотенцем. Кухня содержалась ещё более неряшливо: на стенах паутина, на потолке мухи, на полу тараканы. Провизия была ничем не прикрыта и потому кишела насекомыми.

[Вернуться](#)

53

Тушеные на постном масле овощи (капуста, лук, картошка) с мясом или мясными изделиями (ветчина, колбаса).

[Вернуться](#)

54

Больше сорока, сорок с лишком.

[Вернуться](#)

55

Редакция еженедельного журнала «Стрекоза» находилась по адресу наб. реки Фонтанки,80 (ныне этот участок имеет номер 86)

[Вернуться](#)

56

Ныне улицы Социалистическая и Правды.

[Вернуться](#)

57

Пятнадцать копеек

[Вернуться](#)

58

Десять копеек.

[Вернуться](#)

59

Ресторан «Палкин» находился на углу Невского и Владимирских проспектов по адресу Невский пр. 47/1.

[Вернуться](#)

60

Гостиница Ф.И. Ротина «Москва» находилась напротив ресторана «Палкин», так же на углу Невского и Владимирских проспектов. Тогдашний адрес Невский пр. 49/2

[Вернуться](#)

61

Литейный проспект

[Вернуться](#)

62

Гостиница «Славянская» находилась по адресу Невский пр.,67.

[Вернуться](#)

63

Банкирская контора купца 1-й гильдии Антона Зингера размещалась по адресу Невский пр., 12. На привлеченные у клиентов вклады А.А. Зингер играл на бирже акциями железнодорожных компаний. В октябре 1889 года контора разорилась, Зингер был задержан и водворен в «Кресты».

[Вернуться](#)

64

Комическая опера Шарля Лекока «Дочь мадам Анго».

[Вернуться](#)

65

Рестораны Лейнера и Лежена располагались по адресу Невский пр.,18.

[Вернуться](#)

66

Невский.48.

[Вернуться](#)

67

Театр и сад с рестораном «Аркадия» располагались на Новодеревенской набережной,15 (ныне Приморский пр., 13)

[Вернуться](#)

68

Ресторан по адресу Большая Морская ул., 8-10.

[Вернуться](#)

69

Шпагой (примечание автора).

[Вернуться](#)

70

Персонаж древнегреческой мифологии, многоглазый страж.

[Вернуться](#)

71

Церковь расположена на Невском пр., 40а, в непосредственной близости от самых больших магазинов Петербурга Пассажа и Гостиного Двора. По бокам церкви построены два доходных дома.

[Вернуться](#)

72

Невский пр., 27. В доме арендовали помещения множество торговых лавок: аптека Б. Шаскольского, фотографическая мастерская И.Г. Грюнберга и т. п.

[Вернуться](#)

73

Невский,86. Правильное название – Петербургское собрание сельских хозяев.

[Вернуться](#)

74

Ныне переулок Джамбула.

[Вернуться](#)

75

Исходя из описания, выдвинем предположение, что Животов остановился у Зала общедоступных увеселений, который располагался по адресу наб. реки Фонтанки, 86(ныне этот участок имеет номер 80).

[Вернуться](#)

76

Предположительно, Лиговская ул.(ныне проспект),138, трактир назывался «Ростов-на-Дону».

[Вернуться](#)

77

Лиговская ул, 45.

[Вернуться](#)

78

Такое наименование было у двух трактиров: на Ивановская ул.,19, и по Забалканскому (ныне Московскому) пр., 62.

[Вернуться](#)

79

Стремянная ул.,4

[Вернуться](#)

80

Наб. р. Фонтанки, 93.

[Вернуться](#)

81

Далее в тексте Н.Н. Животов сообщает, что трактир «Персия» не имел лицензии на продажу спиртных напитков. Таких трактиров в 1893 году было немного и лишь один из них находился на Николаевской улице – в доме № 31.

[Вернуться](#)

82

Толмазов (ныне Крылова) пер., 2.

[Вернуться](#)

83

13,5 квадратных метров

[Вернуться](#)

84

1 сажень = 2,13 метра.

[Вернуться](#)

85

Церковь Святой Троицы на углу Стремянной и Николаевской улиц была построена в 1890–1893 гг. по проекту Н.Н.Никонова. Снесена в 1964 году.

[Вернуться](#)

86

Предположительно, Стремянная, 9.

[Вернуться](#)

87

Рубль одной монетой

[Вернуться](#)

88

См. сноску 78

[Вернуться](#)

89

Ныне Московского.

[Вернуться](#)

90

Согласно питейного устава, принятого в 1874 году, трактиры с продажей крепких напитков должны были иметь вывески красного цвета.

[Вернуться](#)

91

Торговые заведения на вынос, торговавшие, кроме водки, заграничными винами.

[Вернуться](#)

92

Юлий Эдуардович Янсон (1835–1893) российский экономист и статистик, действительный статский советник.

[Вернуться](#)

93

Извозчицьи дворы – были узкими и длинными, часто выходящими на соседнюю улицу. Они были застроены с двух сторон конюшнями, сараями, навесами для экипажей и одно-двухэтажными флигилями, в которых жили хозяева и находились помещения для отдыха извозчиков. Как правило, это помещение состояло из большой комнаты с русской печью с двумя рядами нар. Поднарные пространства были

заняты сундуками и мешками с вещами работников. Около печи из досок устраивали что-то вроде шкафа, в котором сушились вещи.

[Вернуться](#)

94

В портерных лавках торговали пивом. Обычно они размещались в помещении из 2–3 комнат, потолки и стены в которых выбелены, а полы покрашены. Обстановка состояла из столиков, иногда даже мраморных, и венских плетеных стульев. У задней стены помещался прилавок с закусками: моченым горохом, сметками, сухариками из белого и черного хлеба. В некоторые портерные был проведен водопровод, в остальных посуду мыли в тазиках с мутной, редко обновляемой воде и вытирали грязными тряпками.

[Вернуться](#)

95

Капорский чай – чай из растения кипрей узколистный, в простонародье именуемого иван-чаем.

[Вернуться](#)

96

Длинные дрожки, на которых можно было усесться по обе стороны, спинами друг к другу.

[Вернуться](#)

97

Ныне Ушаковский мост

[Вернуться](#)

98

В описываемое время Каменноостровский проспект начинался от Кронверского проспекта. В свою очередь Троицкий плашкоутный мост тогда заканчивался не в створе нынешнего Каменноостровского проспекта, а на пляже Петропавловской крепости у Государева бастиона.

[Вернуться](#)

99

Большая Дворянская улица, ныне ул. Куйбышева.

[Вернуться](#)

100

Их было две: Большая Вульфова ул. – ныне ул. Чапаева; Малая Вульфова ул. – ныне ул. Котовского.

[Вернуться](#)

101

Мост через речку Карповку в створе Каменноостровского проспекта. Ныне – Силин мост.

[Вернуться](#)

102

Архиерейская (ныне Льва Толстого) ул., 4.

[Вернуться](#)

103

Большой Сампсониевский проспект, д.5. Лейб-медик Яков Васильевич Виллие([1768](#)—[1854](#)) завещал своё состояние на постройку

больницы, которая открылась в 1873 году и до революции именовалась «Михайловской клинической больницей баронета Виллие».

[Вернуться](#)

104

Предположительно: сад на Новодеревенской набережной (нынешний адрес: Приморский пр.,12), конкурировавший с «Аркадией». Почти каждый год по желанию антрепренеров менял названия: «Ливадия», «Кинь-Грусть», «Фоли-Бержер» и т. д.

[Вернуться](#)

105

Каменноостровский пр., 10. Ныне – киностудия «Ленфильм»

[Вернуться](#)

106

Ресторан по адресу Набережная реки Мойки,24.

[Вернуться](#)

107

Ресторан по адресу Большая Морская ул., 36.

[Вернуться](#)

108

Ныне переулок Сергея Тюленина.

[Вернуться](#)

109

В связи с отсутствием в большинстве домов канализации вывоз нечистот осуществлялся ассенизационными обозами.

[Вернуться](#)

110

Ныне улица Профессора Попова.

[Вернуться](#)

111

Гостиница «Караванная» по адресу Караванная ул., 10.

[Вернуться](#)

112

Владимирский пр., 7.

[Вернуться](#)

113

Казанская ул, 43, дом на углу с Вознесенским проспектом.

[Вернуться](#)

114

Офицерская (ныне Декабристов) ул., 39

[Вернуться](#)

115

Ныне улица Ломоносова.

[Вернуться](#)

116

Печатается с сокращениями

[Вернуться](#)

117

Так в тексте

[Вернуться](#)

118

Выдуманное Н.Н.Животовым название ресторана.

[Вернуться](#)

119

Три рубля

[Вернуться](#)

120

Десять рублей

[Вернуться](#)

121

То есть, рубля от десятки.

[Вернуться](#)

122

Водка П.А.Смирнова, которая выпускалась под названием
«Столовое вино № 21»

[Вернуться](#)

123

Водка М.А.Кошелева, которая выпускалась под названием
«Столовое вино № 20»

[Вернуться](#)

124

Ныне улица Лизы Чайкиной.

[Вернуться](#)

125

Мышкин – уездный город Ярославской губернии.

[Вернуться](#)

126

Ведро – 12,3 литра.

[Вернуться](#)

127

Училище евангелическо-лютеранской церкви святой Анны,
Фурштадская,7.

[Вернуться](#)

128

Согласно справочника «Весь Петербург» за 1897 год это Общество содержало пять столовых.

[Вернуться](#)

129

Согласно справочника «Весь Петербург» за 1897 год это Общество содержало две столовые.

[Вернуться](#)

130

Переиначенная пословица «кому мертвец, а нам товарищ».

[Вернуться](#)

131

Канторы по продаже гробов Ильи и Николая Шумиловых размещалась по адресу Литейный пр., 50–52.

[Вернуться](#)

132

Мастерская по изготовлению гробов и кантора по устройству похоронных процессий Егора Архипова размещалась по адресу Троицкий пр., 16.

[Вернуться](#)

133

«Первое бюро товарищества похоронных процессий» было основано в 1892 года. Учредители: Николай Павлович Быстров, Александр Евгеньевич Волков и Иван Ильич Белкин. Кантора

первоначально размещалась по адресу Пантелеймоновская ул., 23,
затем – Владимирский пр., 9.

[Вернуться](#)

134

Ледящий – плохой, негодный, дрянной.

[Вернуться](#)

135

Ныне переулок Бойцова

[Вернуться](#)

136

Десять рублей

[Вернуться](#)

137

54,5 м²

[Вернуться](#)

138

Купец Евтихий Филиппович Васильев держал кабак по адресу
Малков пер., 4.

[Вернуться](#)

139

В Петербурге было два гробовщика с фамилией Филиппов. Иван Дмитриевич держал контору по адресу Гороховая ул., 50; Павел Дмитриевич – Большая Садовая ул., 46 и Большая Конюшенная ул., 8.

[Вернуться](#)

140

Ныне кладбище «Памяти жертв 9 января».

[Вернуться](#)

141

Следовательно (лат.)

[Вернуться](#)

142

Печатается по: *Карабчевский Н.П.* Около правосудия: Ст., сообщ. и судеб. очерки / Н.П. Карабчевский. – Санкт-Петербург: тип. СПб т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1902. – LXXX, 460 с.; 23 см. С. 407–447.

[Вернуться](#)

143

В то время знаменитый «Дом предварительного заключения» предназначенный для содержания всех подследственных арестантов, ещё только возводился; а об особом «арестном доме», возведённом впоследствии на Казачьем плацу, – не было ещё и помину (примечание автора).

[Вернуться](#)

144

Третье сословие (фр.)

[Вернуться](#)

145

В настоящее время лица, подлежащие „передаче в распоряжение судебной власти“, остаются „по предварительному задержание“ в полицейском доме в течение 2–3 суток, и более, пока о них производится первоначальное полицейское дознание.(Примечание автора)

[Вернуться](#)

146

Добычу

[Вернуться](#)

147

Кафешантан, располагавшийся в разные годы по адресам Вознесенский пр., 37 и Лиговский пр., 42.

[Вернуться](#)

148

Кафешантан, располагавшийся по адресу Владимирский пр., 12.

[Вернуться](#)

149

Газированный лимонад.

[Вернуться](#)

150

См. сноску 63

[Вернуться](#)

151

Портной пытается напевать арию заговорщиков из финала второго акта оперы «Дочь мадам Анго», перевирая слова. В оригинале: «Quand on conspire, Quand, sans frayeur».

[Вернуться](#)

152

Окончание арии «Perruque blonde Et collet noir».

[Вернуться](#)

153

Хороший парень, активный, но опасный

[Вернуться](#)

154

«Я мать девицы Анго». На этот раз портной перевирает слова из арии матери Анго – Клареты – из третьего акта оперы.

[Вернуться](#)

155

1 фунт равен 410 граммам.

[Вернуться](#)

156

Ресторан на Большой Морской ул., 8.

[Вернуться](#)

157

См. сноску 47.

[Вернуться](#)

158

Породистый (фр.)

[Вернуться](#)

159

Ржавчина

[Вернуться](#)

160

Площадям или улицам.

[Вернуться](#)

161

Петергофское шоссе, 140.

[Вернуться](#)

162

Мелкий чиновник.

[Вернуться](#)

163

Без прощения. Такие уволенные лишались права вновь поступить на коронную службу.

[Вернуться](#)

164

Проявляли терпимость, толерантность.

[Вернуться](#)

165

blind – слепой (примечание автора).

[Вернуться](#)

166

Печатается по: *Свешников Н.И.* Петербургские Вяземские трущобы и их обитатели: ориг. очерк с натуры. СПб.: Е.А. Иванов, 1900.

[Вернуться](#)

167

Бутылка емкостью 3,1 литра.

[Вернуться](#)

168

Сенная пл, 3 (ныне дом 5). На втором этаже размещался трактир, в котором собирались воры и грабители. На третьем этаже было несколько публичных домов. «Малинник» подробно описан в романе

В.В. Крестовского «Петербургские трущобы» и в главе «География зла» 1-ого тома.

[Вернуться](#)

169

См. сноску 7

[Вернуться](#)

170

Табуретках.

[Вернуться](#)

171

См. сноску 125

[Вернуться](#)

172

См. сноску 165

[Вернуться](#)

173

См. сноску 7

[Вернуться](#)

174

6,52 пуда, 104,32 кг.

[Вернуться](#)

175

9,52 пуда, 153,52 кг.

[Вернуться](#)

176

См. сноску 153.

[Вернуться](#)

177

Тонкая металлическая нить.

[Вернуться](#)

178

Ныне город Раквере, Эстония.

[Вернуться](#)

179

Печатается по: *Бахтиаров А.А.* Пролетариат и уличные типы Петербурга: Быт. очерки / А. Бахтиаров. – Санкт-Петербург: тип. Контрагентства ж. д., 1895. – [4], 231 с.; 18 см.

[Вернуться](#)

180

Находился на Никольской площади.

[Вернуться](#)

181

Находился по адресу Демидов (ныне Гривцова) переулок, 18.

[Вернуться](#)

182

Находился по адресу наб.р. Фонтанки 113/13.

[Вернуться](#)

183

Находился по адресу Малая Болотная (ныне Красного текстильщика), 13.

[Вернуться](#)

184

В одном из хлебных амбаров на Калашниковской (ныне Синопской) набережной

[Вернуться](#)

185

Генерал-лейтенант Петр Аполлонович Грессер (10.08.1833—29.04.1892), Санкт-Петербургский градоначальник с 1883 по 1892 г.

[Вернуться](#)

186

Подробнее см. сноску 12

[Вернуться](#)

187

Вблизи Сенного рынка находились два ночлежных домов: в Демидовом переулке и по наб. р. Фонтанки, 113/13. Здесь повествуется о последнем.

[Вернуться](#)

188

См. сноску 119

[Вернуться](#)

189

В словаре В.И. Даля эта поговорка приведена в несколько иной форме: «в нетовой земле да небылыми цветами», т. е. узор, изображающий землю, которой нет (не существует) с растущими на ней незримыми цветами.

[Вернуться](#)

190

Ново-Александровский рынок располагался между улицей Большой Садовой, набережной реки Фонтанки, Вознесенским проспектом и Малковым переулком.

[Вернуться](#)

191

Пять рублей

[Вернуться](#)

192

См. сноску 118

[Вернуться](#)

193

Порфира – в древности царское одеяние пурпурного цвета. Виссон – очень тонкая, тоже царская и древняя, одежда белого или кремового цвета.

[Вернуться](#)

194

Цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Молитва»

[Вернуться](#)

195

Предположительно: нижняя юбка. Стамет – шерстяная ткань саржевого плетения, которая использовалась в качестве подкладок.

[Вернуться](#)

196

Дамская безрукавная накидка.

[Вернуться](#)

197

Находилась между улицами Переяславской (ныне Хохрякова) и Кременчугской. Ныне территорию Конной площади занимает отделение реанимации инфекционной больницы имени С.П.Боткина.

[Вернуться](#)

198

Ул. Николаевская (ныне Марата), 54.

[Вернуться](#)

199

Ул. Лиговская, 81.

[Вернуться](#)

200

Наб. р. Мойки, 22.

[Вернуться](#)

201

На Николаевской, 54 находился трактир, которым владела Анна Оленчикова.

[Вернуться](#)

202

Строительство Санкт-Петербургской соборной мечети было начато 03 февраля 1910 года. Торжественное открытие состоялось 22 февраля 1913 года.

[Вернуться](#)

203

Дмитрий Александрович Лачинов ([1842](#) -1902) физик, электротехник, метеоролог и климатолог, изобретатель и популяризатор науки. Основатель кафедры физики Петербургской Лесной академии.

[Вернуться](#)

204

Гусак – говяжьи легкие, сердце, печень и селезенка. Вместе с остальными субпродуктами – головой, ногами и желудком – с бойни Скотопригонного двора поступали в так называемые гусачные заведения. Подробнее о них в очерке А.А. Бахтиярова *Кухня гусачника*.

[Вернуться](#)

205

Темный оттенок серого – модный цвет сукна, который появился после победы русских над турками в Наваринской бухте в 1827-м году.

[Вернуться](#)

206

Размещался по адресу Английский пр..36. Официальное название «Высочайше утвержденный комитет для разбора и презрения нищих».

[Вернуться](#)

207

А также вымя, почки, хвосты и кишки.

[Вернуться](#)

208

Адрес – ул. Большая Белозерская (ныне Воскова), 5; владелец – Прасковья Сумкина. Все данные по адресам и владельцам на 1896 год.

[Вернуться](#)

209

Адрес – ул. Олонецкая (ныне Маркина), 12; владелец – Лука Яковлев.

[Вернуться](#)

210

Адрес – ул. Ямская (ныне Достоевского), 26; владелец – Сергей Москин.

[Вернуться](#)

211

Вероятно, имеется ввиду заведение на Измайловском пр., 18; владелец – Михаил Новиков.

[Вернуться](#)

212

В Московской части в 1894–1896 гг. гусачно заведений было больше, чем указывает А.А. Бахтиаров: на территории Скотопригонного двора (угол Забалканского (ныне Московского) пр. и Обводного канала) располагались предприятия Эдмунда Вюста, Павла Паульсона и Генриха Чашке, по адресу Киевская, 8 – Евдокии Михайловой; а в доме 134 по Забалканский проспекту – Николая Павлычева.

[Вернуться](#)

213

Адрес – Тучков пер., 11, владелец – Михаил Марков.

[Вернуться](#)

214

Для корма поросят предназначались лишь счистки с внутренней стороны. Счистки же с наружной стороны рубца (выдерки), содержащие сало, шли на салотопенный завод.

[Вернуться](#)

215

Капорки или копорки – женщины, которых нанимали для работы на огородах. От названия села Копорье Петербургской губернии.

[Вернуться](#)

216

Печатается по: Собрание сочинений Всеволода Владимировича Крестовского / С биогр. В.В. Крестовского и его портр., под ред. [и с предисл.] Ю.Л. Ельца. Т. 1–8. Т. 2

[Вернуться](#)

217

Краденое

[Вернуться](#)

218

Подробнее см. очерк А.А. Бахтиярова *Кухня гусачника*.

[Вернуться](#)

219

См. сноску 13

[Вернуться](#)

220

Верхняя одежда – короткая приталенная кофта с рукавами.

[Вернуться](#)

221

Сермяга – кафтан из грубого сукна, простонародная одежда.

[Вернуться](#)

222

Щукин двор или Мариинский рынок – ныне часть Апраксина двора (несколько рядов, начиная от Чернышева переуллка (ныне улицы Ломоносова).

[Вернуться](#)

223

Длинный кафтан из сукна.

[Вернуться](#)

224

Наб. Реки Фонтанки, 80 (теперь этот участок имеет номер 86)

[Вернуться](#)

225

Вздорная, сварливая женщина.

[Вернуться](#)

226

См. сноску 7

[Вернуться](#)

227

Блюдо из яиц. Рецепт из *«Опытной поваренной книги»* / Пер. с пол. А.З.; Изд. В. Гольдиштейном. – Воронеж: тип. В. Гольдиштейна, 1865:»Дроченое жирное – пять желтков, четыре ложки муки, полстакана воды, ложка сахара стереть крепко, из белков сбить пену, вымешать осторожно в распущенное в кастрюле масло, как зарумянится, перевернуть в другую сторону, поджарить и выдать подсыпанный сахаром и корицей. Пропорция на шесть персон».

[Вернуться](#)

228

Сметанник.

[Вернуться](#)

229

Верхняя женская накидка.

[Вернуться](#)

230

Ямской слободы

[Вернуться](#)

231

Выборгской стороны

[Вернуться](#)

232

Конная площадь. Подробнее о ней в очерке А.А. Бахтиарова
Татарин-халатник

[Вернуться](#)

233

Невский пр., 98

[Вернуться](#)

234

См. сноску 23

[Вернуться](#)

235

Внушением

[Вернуться](#)

236

Имеется ввиду Екатерининский (ныне Грибоедова) канал.

[Вернуться](#)

237

На Екатерининский канал.

[Вернуться](#)

238

См. сноску 81

[Вернуться](#)

239

Пересечение четырех улиц: Загородного проспекта, Чернышева (ныне Ломоносова) переулка, Троицкой (ныне Рубинштейна) и Разъезжих улиц.

[Вернуться](#)

240

См. сноску 78

[Вернуться](#)

241

Чуйка – длинный, до колен, суконный сюртук. Имеется ввиду крестьянин (именно они одевались в чуйку) приехавший на отхожий промысел в столицу.

[Вернуться](#)

242

Город Санкт-Петербургской губернии, ныне – Кингисепп.

[Вернуться](#)

243

Неофициальное название города Санкт-Петербургской губернии Ораниенбаума – ныне город Ломоносов (теперь входит в состав Санкт-Петербурга).

[Вернуться](#)

244

Полости (примечание автора)

[Вернуться](#)

245

Лошадь (примечание автора)

[Вернуться](#)

246

В съезжем доме полицейской части

[Вернуться](#)

247

На Царскосельский (ныне Витебский) вокзал. Машиной тогда называли поезд.

[Вернуться](#)

248

Сажень равна 2 метрам 13 сантиметрам. Т. е., по мнению В.В.Крестовского, расстояние между Технологическим институтом и

Царскосельским вокзалом составляет около 450-ти метров. На самом деле оно в два раза больше, примерно километр.

[Вернуться](#)

249

См. сноску 27

[Вернуться](#)

250

Каждый извозчик имел номер.

[Вернуться](#)

251

Войти в долю (примечание автора)

[Вернуться](#)

252

Подходящий (примечание автора)

[Вернуться](#)

253

Воровское дело (примечание автора)

[Вернуться](#)

254

Вором (примечание автора)

[Вернуться](#)

255

Ускакать (примечание автора)

[Вернуться](#)

256

Городовых (примечание автора)

[Вернуться](#)

257

Треть добычи (примечание автора)

[Вернуться](#)